РЫЛЕЕВ

Виктор Афанасьев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Эта книга — биография К.Ф.Рылеева, выдающегося представителя декабристской поэзии и одного из основных деятелей Северного общества. Автор показывает окружение Рылеева, говорит об общественных проблемах России первой четверти XIX века, которые нашли отражение в литературной и политической деятельности поэта-декабриста.

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

        - 6
        - 7
        - 8
        - 9
        - 10
        - 11
    - ЧАСТЬ ПЯТАЯ
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 3
    - ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
    - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К.Ф. РЫЛЕЕВА
    - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11

Памяти литератора и библиографа
Игоря Сергеевича ПАВЛУШКОВА

(1904–1953)

Все действия Рылеева ознаменованы были печатью любви к Отечеству.

Н.А. Бестужев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

По велению старинного русского обычая супруги, у которых дети умирают в младенчестве, должны пригласить в крестные первых встречных. Рылеевым, у которых уже умерло несколько детей, попались на дороге отставной солдат и нищенка. Так приветила и восприняла Россия младенца, лежавшего в храме на руках беднейшей из ее представительниц, так получил он имя Кондратий от солдата, вымотанного двадцатипятилетней службой.

Родился Кондратий Федорович Рылеев 18 сентября 1795 года [1]. Его отец — подполковник, командир Эстляндского егерского батальона, кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени, данного ему за исполнительность и храбрость Екатериной Второй, Федор Андреевич Рылеев, мать — Анастасия Матвеевна, урожденная Эссен. Оба Дворяне.

Где они жили до 1800 года — неизвестно. Поэтому неизвестно, где родился Рылеев. Может быть, в Тульской губернии, так как поместья Рылеевых согласно шестой части родословной дворянской книги Тульской губернии находились в Крапивенском и Богородицком уездах этого края.

Дворянство Рылеевых было не старинное, первым его носителем в их роду был Фома Рылеев, на долю которого досталась одна из тех неожиданных фортун, которые в петровское время, случалось, не обходили солдат и людей простого звания. Кондратий Федорович был правнуком этого Фомы.

Отец Рылеева был человек суровый, если не сказать — самодур. Неизвестно, какими мерами он «привел в исправность» свой батальон, за что особым указом благодарила его в 1790 году императрица, но в семье, будучи уже в отставке, он тиранствовал — колотил жену, запирал ее в погреб, а маленького сына сек розгами гораздо чаще, чем считалось разумным в те времена. Кроме того, у Федора Андреевича была — даже и не слишком тайная — любовная связь, а свою побочную дочь Аннушку он навязал жене, которая, впрочем, по душевной своей доброте искренне ее полюбила.

Позднее Анастасия Матвеевна признавалась сыну, что у мужа ее, несмотря на обещания «вечно любить», «рано любовь отлетела». Горько ей было и оттого, что Федор Андреевич совершенно промотался, не оставил детям «ни мальчика, ни девки, все продал, спустя руки», как писала она.

Когда над Анастасией Матвеевной и детьми — Кондратием и Аннушкой — нависла угроза настоящей нищеты, ее богатые родственники приняли решительные меры. Генерал-майор Петр Федорович Малютин, обласканный императором Павлом, и инспектриса Воспитательного общества благородных девиц Мария Осиповна Дешан (в каком именно родстве они были с Анастасией Матвеевной — неизвестно) продали Рылеевой имение Батово, располагавшееся на речке Оредеж в Софийском уезде Петербургской губернии. Денег, обозначенных в купчей крепости, четырех тысяч девятисот рублей, они с нее, разумеется, не взяли, имение, по сути, было ей подарено. Не напрасно Анастасия Матвеевна называла Батово в своих письмах к сыну Петродаром, по имени *Петра* Федоровича Малютина, а его самого — благодетелем. Рылеев, уже будучи артиллерийским офицером, писал, что он «облагодетельствован Петром Федоровичем на всю жизнь». Без его «совета и благословения» Рылеев не считал возможным ни жениться, ни выйти в отставку. Малютин умер в 1820 году, и Рылеев стал опекуном его пятерых детей.

В 1800 году Рылеева порвала с мужем и уехала в Батово. «Местоположение там чудесное, — писал впоследствии А.А. Бестужев. — Тихая речка вьется между крутыми лесистыми берегами, инде расширяется плесом — инде подмывает скалы, с которых сбегают звонкие ручьи. Тишь и дичь кругом». В деревне было тринадцать дворов и тридцать три крестьянина, из которых

Анастасия Матвеевна троих взяла в дворовые, прочие «никакими рукомеслами не занимались, кроме хлебопашества». Еще были в Батове двадцать две женщины и тридцать семь детей разного возраста. Если говорить о дальнейших подробностях, то можно отметить, что на каждом крестьянском дворе имелись одна лошадь, две коровы, пять кур. Четыре избы топились по-белому, остальные — по-черному.

Быт новой барыни оказался не роскошным. Ей достался старый одноэтажный дом зеленого цвета, с красной железной крышей и обшитый досками поверх бревен. Холодные сени делили дом на две половины — в одной четыре комнаты, в другой две. Анастасия Матвеевна не смогла даже новой мебели купить, пришлось мириться с протертыми креслами и диванами, облупившимися столами, ветхими кроватями, мутными от времени зеркалами, расшатанными стульями. На усадьбе были и службы, как водится, — конюшня, каретный сарай, флигель, где помещались людская, кладовые, мастерские, кухня, — все покосившееся, потемневшее, печальное. Зато прекрасны были могучие тополя и липы, заросли сирени в парке, спускавшемся к реке. Тут-то и полюбил бегать и играть пятилетний Коня, как называла Анастасия Матвеевна сына.

Батово почти не приносило дохода, так как пашни его были невелики, а земля не щедра, лес больше чем наполовину заболочен, речка Оредеж для сплава и судоходства не годилась, не было и удобных проселочных дорог. Очень скоро имение пришлось заложить в Петербургский опекунский совет, а потом и перезаложить, и в течение двух с половиной десятилетий Рылеевы с трудом сводили концы с концами, выплачивая проценты.

Невдалеке от Батова, на том же Оредеже, впадающем в Лугу, лежало старинное село Рожествено, принадлежавшее некогда царевичу Алексею Петровичу, сыну Петра Великого, издалека виднелись построенные на холме церковь Св. Екатерины и большой барский дом с колоннами. Деревья подходили с обеих сторон к скалистым берегам реки:

Между гор, как под навесом,
Волны светлые бегут
И вослед себе ведут
Берега, поросши лесом,

— напишет Рылеев позднее в думе «Царевич Алексей Петрович в Рожествене», в которой изобразит тайное совещание царевича с монахом в ночном лесу. Под шум ветра и плеск реки монах убеждает Алексея восстать против отца:

Видишь сам, — уж все презренно:
Предков нравы и права,
И обычай их священный,
И родимая Москва!
Ждет спасенья наша вера…

Впоследствии на этих берегах и сам Рылеев немало передумает мучительных дум о судьбах России…

Только одно лето маленький Коня, красивый мальчик с большими темными глазами, провел в Батове, привыкнуть к новому месту как следует не успел. Едва началась зима, как Петр Федорович Малютин повез его в Петербург и определил в Первый кадетский корпус —

«рыцарскую академию», привилегированное учебное заведение, основанное в 1732 году под названием Сухопутного шляхетского кадетского корпуса.

2

Корпус располагался на Васильевском острове в бывшем дворце Меншикова, занимая все его строения. Окна главного здания, выходящие на Неву, смотрели с противоположного берега прямо на Сенатскую площадь, в грозные глаза Медного всадника.

В XVIII веке, по словам Екатерины Второй, кадетский корпус был «рассадником великих людей», из его стен вышли знаменитые писатели Херасков и Сумароков, историк Елагин, полководцы — фельдмаршалы Румянцев и Каменский, мореплаватель Коцебу. Здесь возникло первое в России литературное содружество — Общество любителей российской словесности. В классах нередко читались произведения Руссо, Локка и Вольтера.

Первым генерал-директором корпуса был фельдмаршал Миних. Позднее эту должность занимал будущий герой Отечественной войны 1812 года фельдмаршал Кутузов. Но наибольшей популярностью у кадет пользовался бывший начальником корпуса в 1780-х годах граф Федор Евстафьевич Ангальт, который старался сделать своих воспитанников истинно просвещенными людьми. «Огромные богатства заключены в сердце человека», — говорил он кадетам. При нем в корпусе среди преподавателей были драматург Княжнин и автор известной в то время хрестоматии по русской словесности Железников. Адъютантом у Ангальта был известный впоследствии драматург Озеров. Ангальт пригласил актера Плавильщикова читать в классах оды Ломоносова и «Россиаду» Хераскова, приказал разложить на столах в общем зале сочинения Гуго Гроция, Плутарха, Бильфельда и других историков и философов, устроить в саду сельскую ферму для кадет, чтобы сами они засевали маленькие участки рожью и ячменем. При Ангальте корпус получал иностранные газеты и журналы, периодические издания Новикова, крыловского «Зрителя». В корпусе у стен стояли бюсты знаменитых мужей древности. В одной из комнат демонстрировался образец вобановой крепости, помещенный в огромный ящик. По мысли Ангальта, каменная стена сада была вся изрисована и исписана, чтобы кадеты и гуляя учились. Тут были чертежи, математические формулы, всевозможные изречения на разных языках, сведения по части наук и русские пословицы вроде «Тише едешь — дальше будешь», «Век живи — век учись», «Дело мастера боится», «Беда — глупости сосед». Тут было и изречение самого Ангальта, его девиз: «Деспотизм азиатский вреден и в делах человеческих и в области учения». Ангальт собрал все это в особую печатную книжку под названием «La miraille parlante» («Говорящая стена»), которая давалась на память выпускникам.

После 1789 года, начала Великой французской революции, Ангальт впал в немилость у императрицы как слишком усердный почитатель просветителей-энциклопедистов Вольтера и Руссо, не будь которых, как она думала, не грянула бы эта ужасная буря. В корпусе начались перемены, особенно радикальные после смерти Ангальта, последовавшей в 1794 году. «Какая-то невидимая рука в нашей зале, — писал Сергей Глинка, учившийся в корпусе, — с окон и столов отбирала книги и газеты и снимала со стен все собственноручные памятники графа Ангальта. Постепенно исчезли со стен нашего сада и надписи, и эмблемы, и изображения систем Тихобрага, Птоломея и Коперника… Не стало у нас ни французских журналов и никаких заграничных газет». Ко времени поступления Рылеева корпус из «рыцарской академии» превратился уже в почти заурядное военное училище.

12 января 1801 года Рылеев был зачислен волонтером, то есть учеником приготовительного класса, а с 12 марта того же года — в Малолетнее отделение. Эконом подобрал ему по росту форменное обмундирование — фуражку, куртку и брюки, а также сюртук, все темно-зеленого цвета, только околыш фуражки и воротник сюртука были красные.

Малолетнее отделение состояло из шести дортуаров. За кадетами-малышами

присматривали дамы — директриса и шесть начальниц, все важные и строгие барыни. Директриса мадам Бертгольд собственноручно секла детей. В столовую дамы водили свои отделения строем по длинной наружной галерее, зимой сами они при этом надевали меховые салопы и теплые капоры, а дети шли в куртках и мерзли. Считалось, что будущие воины должны закаляться. Всего возрастных групп в корпусе было пять — такая структура училища была создана при Екатерине Второй по идеям Руссо, высказанным в его «Исповеди» (об особенностях каждого возраста человека в детстве).

С 1801 года генерал-директором Первого кадетского корпуса стал генерал-майор — с 1811 года генерал-лейтенант — Фридрих Максимилиан Клингер (1752–1831), с 1785 года он был в корпусе офицером-воспитателем. Это был человек необыкновенной судьбы. Сын дровосека и прачки, выросший в нужде, он в 1770-е годы стал крупнейшим немецким писателем, одним из идейных вдохновителей периода «Бури и натиска» — само это течение получило название по трагедии Клингера «Буря и натиск». Он был товарищем Гёте, Гердера, Шиллера, Бюргера, Ленца. Вместе с ними он боролся за национальное единство Германии, за ее демократизацию. В 1780 году после попыток найти службу на родине Клингер вступил в русскую армию и скоро достиг генеральского чина. Он женился на русской — Елизавете Александровне Алексеевой. Его сын, русский офицер, погиб в 1812 году под Бородином. С 1801 года Клингер занимает одновременно ряд высоких должностей — главноначальствующего Пажеского корпуса в Петербурге, директора Первого кадетского корпуса, попечителя Дерптского учебного округа, где настойчиво добивался улучшения преподавания русского языка и русской словесности. Александр I ввел Клингера в совет при министре просвещения графе Завадовском. Профессора Дерптского университета — в основном немцы — обвиняли Клингера в том, что он «ставленник русских», что «немец в нем совершенно обрусел», что он замещает профессорские должности русскими людьми, например Кайсаровым.

Живя в России, Клингер создал ряд значительных произведений — несколько драм и цикл социально-критических романов, занявших видное место в классической литературе Германии. Как пишет немецкий историк литературы нашего времени, романы Клингера «показывают, как сильно его волновали социальные и политические противоречия феодального общества, как глубоко было его отвращение ко всяким формам угнетения, как его возмущало в особенности ограбление трудящихся народных масс узким кругом феодальных эксплуататоров и правителей. Литература, по крайней мере немецкая литература классической эпохи, не знает другого писателя, который бы так открыто и беспощадно критиковал социальные основы феодального строя». Клингер писал, что «всякая система угнетения людей, установленная правителями, какой бы характер она ни носила — политический или религиозный, — должна в конце концов уступить дорогу свободным, вечно живым, не дремлющим духовным силам человечества».

Немецкая писательница Фанни Тарнов, побывавшая в Петербурге, сообщала в своей книге о России: «Одна светская петербургская дама с благонравным ужасом заявила мне, что она не прочла ни одной строчки, написанной Клингером. Его произведения считаются богохульными и пользуются слишком дурной славой, чтобы она отважилась их прочитать».

Клингер был, конечно, выдающийся, замечательный человек. Но в России он вынужден был вести как бы Двойную жизнь: Клингер-генерал был на виду, Клингер-писатель скрыт от окружающих. В России были запрещены все его лучшие романы — «Жизнь Фауста, его Деяния и гибель в аду», «История Рафаэля де Аквилья», «Путешествия до Потопа», «История современного немца» и «Светский человек и поэт».

В своих «Наблюдениях и размышлениях» Клингер так охарактеризовал эпоху, сменившую «дней Александровых прекрасное начало»: «Всё для глаз, всё для уха! Для первого — роскошные церемонии, для второго — звучные слова без политического смысла. А для языка —

решетка, для ума — грозный, страшный надсмотрщик».

В 1816 году Клингер был лишен должности по министерству просвещения. Карамзин писал по этому поводу Дмитриеву: «Клингер уволен, мне сказывали, что он считается вольномыслящим».

В 1820 году Клингер был отставлен от всех должностей, в том числе и от директорства в кадетском корпусе.

В России Клингер звался Федором Ивановичем. В кадетском корпусе, в течение своего двадцатилетнего начальствования, он мало занимался делами, в классах появлялся редко, — весь поглощенный литературным творчеством, вел жизнь замкнутую, по большей части сидел в своем кабинете и писал. Изредка выходил в сад, развлекался со своими собаками, заставляя их прыгать через палку. Он был неразговорчив, медлителен и не выносил шума. Декабрист Розен, учившийся в корпусе в 1810-х годах, вспоминал, как он, будучи дежурным по корпусу, подавал перед пробитием вечерней зори рапорт Клингеру: «Строго было приказано входить к нему без доклада, осторожно, без шуму отпирать и запирать за собою двери, коих было до полудюжины до его кабинета. Всякий раз заставал его с трубкой с длинным чубуком, в белом халате с колпаком, полулежачего в вольтеровских креслах, с закинутым пупитером и с пером в руке… Бывало, медленно повернет голову, выслушает рапорт, кивнет головой и продолжает писать».

За этот белый халат и за медлительность кадеты прозвали Клингера Белым Медведем. Он умер в 1831 году, в возрасте 79 лет.

Возле кадет повседневно, почти неотлучно находились преподаватели-офицеры.

Среди них — инспектор классов Михаил Степанович Перский, участник суворовских походов, который посвящал кадетам все свое время. Четыре раза в день он обходил все классы важной, величавой походкой, одетый всегда тщательно и даже изящно. Посидит в классе, послушает и идет в другой. Был он холост и жил на квартире в корпусе совершенным монахом, почти не выходя из стен училища. Обед приносили из общего кадетского котла.

С особенной любовью относился к кадетам добрейший человек — эконом Андрей Петрович Бобров, имевший чин бригадира. Он по-старинному носил косицу и был одет в засаленный до крайности мундир, в котором он и с поварами бранился на кухне, и представлялся высшему начальству, в том числе и самому императору. Бобров ведал продовольствием и одеждой кадет, сумма расходов по этим статьям простиралась до шестисот тысяч ежегодно, но к рукам эконома не только ничего не прилипало из этого богатства — он и все свои деньги тратил на кадет. Каждому более или менее «недостаточному» кадету-выпускнику он собирал на свои средства «приданое»: три перемены белья, две столовые и четыре чайные серебряные ложки. Вручая все это покидающему стены корпуса кадету, он говорил: «Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое — так вот чтобы было чем». Кадеты, звавшие его за глаза Старым Бобром, платили ему искренней привязанностью. Им трудно было представить себе корпус без его низенькой и довольно плотной фигуры в старом мундирном сюртуке. Они привыкли и к его хромому псу, всегда таскавшемуся за ним. Бобров не упускал случая утешить наказанного кадета. Напустит на себя сердитый вид, подзовет его, словно для какого-нибудь выговора, а сам погладит его по голове, сунет в руки гостинец и тут же отпихнет: «Пошел, пошел, мошенник!»

Доктор Зеленский, заведовавший корпусным лазаретом, тоже был чудак и добрая душа. Он жил в комнатах при лазарете и строжайше следил, чтобы фельдшера и прислуга выполняли его указания. Не дай бог фельдшеру задремать возле больного — неизбежно являлся доктор и наказывал провинившегося тут же «отеческой» Рукой. Он следил и за температурой в классах — если на градуснике было меньше 13 или больше 15 градусов, немедленное наказание в виде зуботычины следовало истопнику. Пищу он ел только кадетскую, так что и тут у него было

строгое наблюдение. Причем ел не дома, а вместе с кадетами за общим столом. Кадет, приготовлявшихся к выпуску из корпуса, он записывал больными и. клал в лазарет для отдыха, вместо лекарств он давал им интересные книги. А больным кадетам не хотелось выходить из лазарета. Они делали страдальческие физиономии, чтобы разжалобить доктора и остаться хотя бы еще на денек. Заметив это, Зеленский говорил: «Гримасы не делать и стоять предо мной как пред Иисусом Христом! Бог, Ломоносов и я! Возьму за пульс — все узнаю, о чем думаешь — узнаю!» Это были шутки. Многих «страдальцев» он охотно оставлял в лазарете.

Среди преподавателей корпуса был известный в то время писатель-историк, грек по происхождению, Гавриил Васильевич Гераков (1776–1838), по поводу книги которого «Твердость духа русских. Героини славянского племени», изданной в 1813–1814 годах, Денис Давыдов написал стихотворение:

Гераков! прочитал твое я сочиненье,
Оно утешило мое уединенье;
Я несколько часов им душу восхищал;
Приятно видеть в нем, что сердцу благородно,
Что пылкий дух любви к отечеству внушал, —
Ты чтишь отечество, и русскому то сродно:
Он ею славу, честь, бессмертие достал.

«Пузатый, лысый, небольшой», как сказал о нем в одном из стихотворений 1814 года Рылеев, Гераков, несмотря на свою неблагообразность, умел зажечь в своих слушателях патриотический энтузиазм; рассказывая о Святославе, Михаиле Черниговском, Минине и Пожарском, он так преображался, что сам казался кадетам то древним князем, то богатырем… Среди кадет пользовалось известностью историческое сочинение Геракова «Герои русские за 400 лет».

В 1809 году Рылеев уже в гренадерской роте. Утром он вскакивает вместе со всеми товарищами под грохот барабана, надевает зеленый мундир с золотым галуном по красному воротнику и черные кожаные краги с медными пуговицами, которые нужно застегивать особенным крючком. Если объявлен какой-нибудь смотр или парад — Рылеев надевает белые панталоны и белые штиблеты, тесак на портупее и кивер с черным волосяным султаном. Барабанный бой слышится периодически в течение всего дня: утренняя зоря, завтрак, классы, учения, обед и т. д. до вечерней зори.

У кадет мало свободного времени. Все они страстно мечтают поскорее окончить корпус и выйти в офицеры. Выпуск, как писал еще кадетом Рылеев, — это «та минута», которой кадет жаждет «не менее как и райской обители священного Эдема», а чин офицера «пленяет молодых людей до безумия». Каждый мечтает о гвардии, но в нее попадают только те, у кого есть большие связи. Часть воспитанников вообще выходит в гражданскую службу, в чиновники.

Дальний родственник Рылеева, Александр Устинов, учившийся вместе с ним, рассказывал, что Рылеев был самолюбив и пылок и что он был «в высшей степени предприимчивый сорванец». Он так привык к наказаниям, что переносил их совершенно хладнокровно. Случалось, что он принимал на себя провинности товарищей. Года за три до выпуска его чуть не исключили из корпуса, но неожиданно обнаружилось, что Рылеев наказан без вины.

А наказания в корпусе были не шуточные. Даже при просвещеннейшем Ангальте провинившихся кадет били шомполами или шпагами, а сверх того сажали в «тюрьму», как назывался корпусной карцер. Рылеев побывал там не раз. Это было несколько действительно

тюремных камер в отдельном небольшом здании. В каждой — зарешеченное окошко, прибитый к стене столик и деревянный лежак без постели. Пища — хлеб и вода. С заключенного снимали мундир и надевали на него солдатскую шинель. По окончании срока в камеру являлся ротный офицер с четырьмя служителями, которые совершали последний акт перед выпуском кадета из «тюрьмы»: задавали ему беспощадную порку.

Одна из проделок Рылеева коснулась эконома Боброва и имела отчасти литературный характер. Это случилось в 1811 или 1812 году, перед Отечественной войной. Неожиданно скончался старший корпусной повар Кулаков, который отличался как поварским искусством, так и беспримерной честностью. После смерти Кулакова «просел кисель», и картофельное пюре больше не сползало с ложки «меланхолически», а лилось. Боброва это огорчало. Он даже дрался с поварами, но секрет киселя и картофельного пюре Кулаков унес с собой в могилу. Через несколько дней после похорон Бобров отправился к Клингеру с обычным утренним рапортом, как всегда вложенным в треугольную шляпу. Клингер лениво развернул сложенный вчетверо лист, ожидая увидеть Цифры, показывающие, сколько и какого продовольствия имеется в корпусе на сей день, но там было нечто странное: под крупным и торжественно звучащим заголовком «Кулакияда» теснились строки иронических стихов — небольшой шуточной поэмы в двух частях…

Нетрудно представить смятение бедного эконома, попавшего в такой просак. Он очень обиделся на своих любимых «мошенников». В тот же день Рылеев пришел к нему с повинной — он рассказал ему о том, как подменил бумагу в его шляпе, лежавшей, как и всегда перед отданием рапорта, вместе со шпагой на особой тумбе в кухне… «Осрамил, осрамил, разбойник!» — говорил Бобров со слезами на глазах. Но все же простил кадета, отпустив его с назиданием о том, что «литература — вещь дрянная и что занятия ею никого не приводят к счастью».

Озорная поэма, небольшая по объему, была шуткой, написанной не без остроумия, но довольно затрудненно в отношении стихосложения, многие строки ее корявы и выпадают из общего размера. Рылеев сам чувствовал это, во всяком случае, во второй части поэмы есть такие строки:

Я не пиит, а только воин,
В устах моих нескладен стих.

Вероятно, «Кулакияда» была первой пробой пера будущего поэта.

За все тринадцать кадетских лет Рылеев ни разу не покинул столицы. Его, конечно, навещала мать, которая по зимам жила в Петербурге, в доме Петра Федоровича Малютина на Васильевском острове. До 1810 года какое-то время провел в Петербурге отец, вообще живший в Киеве и управлявший там имением князя Сергея Федоровича Голицына. Около 1810 года Анастасия Матвеевна Рылеева привезла в Петербург свою приемную дочь, Анну Федоровну, и поместила ее в пансион Рейнбота — сводные брат и сестра изредка виделись. В письмах к отцу Рылеев просил денег не только для себя, но и для «любезной сестрицы».

Письма Рылеева к отцу наполнены просьбами о присылке денег на книги и другие надобности, а в ожидании выпуска — о крупной сумме для приобретения полной офицерской экипировки. «В бытность вашу в Петербурге, когда вы мне давали деньги, то я всегда употреблял на книги, которых у меня набрано 15», — пишет Рылеев в апреле 1810 года. Но с этих пор и до самой своей смерти в 1814 году Федор Андреевич ни разу не отозвался на просьбы сына и почти не отвечал на его письма. Вряд ли он делал так из жестокосердия, скорее всего он был беден и не решался признаться в этом сыну. А мать… «Уведомляю вас, — пишет Рылеев отцу в том же

1810 году, — что матушка терпит нужду в деньгах, которые она должна в ломбард, но сделайте милость, не говорите, что я вас уведомил». В 1811 году: «Любезный батюшка… сделайте милость, не позабудьте мне прислать денег также и на книги, потому что я, любезный батюшка, весьма великой охотник до книг».

В декабре 1812 года, когда остатки наполеоновской армии были прогнаны за Неман, в корпусе пронесся слух о досрочном выпуске лучших кадет в офицеры. «Слышно, что будет выпуск в мае месяце будущего 1813 года, — пишет Рылеев отцу. — Мои лета и некоторый успех в науках дают мне право требовать чин офицера артиллерии… который мне также лестен, но ничем другим, как только тем, что буду иметь я счастие приобщиться к числу защитников своего отечества». В связи с этим Рылеев просит отца прислать две тысячи рублей на «два мундира, сюртук, трое панталон, жилетки три, рейтузы, хорошенькую шинель, шарф серебряный, кивер с серебряными кишкетами, шпагу или саблю, шляпу или шишак, конфедератку, тулуп и прочее», а также пятьдесят рублей, «дабы нанять… учителя биться на саблях».

У отца не было денег. Но тут, после почти двухлетнего молчания, он решил ответить сыну, вспомнив, что и бедные офицеры без мундира не остаются. «Приятнее, — пишет он, — будет видеть тебя, вместо двух дорого стоящих, в одном и от казны даемом мундире».

Письмо Рылеева от 7 декабря 1812 года любопытно тем, что он обработал первую его половину литературно, по образцу сентименталистских романов в письмах (Ричардсона, Руссо, а также их многочисленных русских подражателей).

В ближайшие два-три года Рылеев продолжит работу в этом направлении, уже отчетливо имея в виду образец эпистолярной прозы — «Письма русского путешественника» Карамзина (в 1815 году Рылеев создаст цикл «Писем из Парижа»). В первой части письма Рылеева сквозь книжную риторику о бедности, обвитой «златыми цепями вольности и дружбы», о том, что «в свете» «несчастия занимают первое место, за ними следуют обманы, грабительства, разврат и так далее», слышатся пророческие нотки: «Иди смело, презирай все несчастья, все бедствия, и если оные постигнут тебя, то переноси их с истинною твердостью, и ты будешь героем, получишь мученический венец» — так говорит Рылееву его «сердце» наперекор «уму», заклинающему молодого человека избегать страстей и бурь жизни.

Личность Рылеева в это время складывается со всей определенностью — романтическая страстность, окрашенный гражданской честностью и гражданским мужеством патриотизм вспыхнули в его душе, чтобы уже не угасать. Так, в первом своем вполне серьезном и с известным мастерством написанном стихотворении «Любовь к Отчизне» (с подзаголовком «ода»), возникшем в связи со смертью фельдмаршала Кутузова, последовавшей 3 апреля 1813 года, он уже сливает вместе два родственных понятия: патриотизм и гражданственность.

В 1814 году, уже перед самым своим выпуском из корпуса, Рылеев написал стихотворение «На погибель врагов». Париж еще не был взят, но судьба «вождя галлов» была решена:

Смотрите: нет врагов кичливых,
Прешедших россов покорить…

Так начинался Рылеев-поэт. Оба эти произведения малооригинальны, но искренни, и начал он со стихотворений именно патриотических. Здесь слабый исток будущей могучей реки: в этих стихах уже прозвучало слово гражданин, решившее в его судьбе и в связях ее с судьбой России всё.

В кадетском корпусе стихи Рылеева имели успех — друзья переписывает их в свои тетрадки. Иногда эти тетрадки представляли собой что-то вроде альманахов — тут были и

проза, и стихи — лирика, басни, эпиграммы. Рылеев оставил друзьям свою такую тетрадь, в и ей были переписаны как чужие стихи (например, известная песня Раича «Не дивитесь, друзья…»), так и его собственные сочинения — два прозаических отрывка (статья «Причина падения власти пап» и как бы развернутый план стихотворения — «Победная песнь героям») и несколько стихотворений. Когда Рылеев покинул корпус, кто-то из оставшихся в его стенах кадет, может быть, его друзья, тоже писавшие стихи, Боярский или Фролов, сделал под сочинениями Рылеева такие рифмованные подписи:

…Сии стихи писал Рылеев, мой приятель,
Теперь да защитит его в войне Создатель.

…Кто это старался сочинять,
Пошел врагов уж тот карать.

…Тебе достойным быть сей песни, о Рылеев,
Ты будешь тот герой! — карай только злодеев.

Русской армии нужны были офицеры. В 1812 году в Первом кадетском корпусе состоялось три выпуска, столько же в следующем; за два года выбыло в армию около четырехсот воспитанников. Кадеты, так же как и воспитанники Царскосельского лицея, волновались, провожая старших «братьев», мечтали о подвигах и «в сень наук с досадой возвращались», как вспоминал об этом времени Пушкин в стихотворении «Была пора: наш праздник молодой…» (1836).

Дождался своего часа и Рылеев — 1 февраля 1814 года ой был выпущен прапорщиком в конную роту № 1 Первой резервной артиллерийской бригады. Товарищи шумно провожали его, уже одетого в офицерский, конечно, казенный мундир. Декабрист Михаил Пущин, «бывший тогда в младших классах корпуса, вспоминал это прощание Рылеева: «Он становился на ставец, чтобы всех видеть и всем себя показать, произносил восторженные речи».

Эконом Бобров вручил Рылееву неизбежное «приданое» — белье и серебряные ложки.

Рылеев увиделся перед отъездом с матерью, сестрой и другими родными. Служитель, один из описанных Рылеевым в «Кулакияде» («Тулаев… Зайцев, Савинов, с рябою харею Миняев… Затычкин и Смирнов»), поставил в зимний возок сундучок с его вещами и книгами… Может быть, шел снег… или был ясный день и мороз… Возок мчался через Исаакиевский мост на Сенатскую площадь. Медная пятерня Медного всадника как бы поворачивалась за ним, словно раздумывая — благословить или прихлопнуть.

3

…Свежий ветер огромного пространства Европы летел навстречу Рылееву. Герцогство Варшавское, Пруссия, Саксония, Вюртемберг, Бавария, Швейцария… Сразу после тринадцатилетнего затворничества в «кадетском монастыре» — такой размах, такие события, такая бездна нового! Конечно, молодой офицер боялся, как бы без него не закончилась война. Он пылал нетерпением принять участие в окончательном ниспровержении вождя галлов…

Уже во Франции догнал он летучий отряд генерала Чернышева, к которому была прикомандирована первая конноартиллерийская рота резервной артиллерийской бригады. Многое оказалось совсем не так, как представлял себе Рылеев. У французов были не жалкие остатки разбитых в России сил, а все еще могучее войско. Наполеон в это время не оборонялся, а наступал. Положение союзных русско-австрийской и прусской армий после первой и пока единственной победы на французской земле у Ла-Ротьера оказалось критическим. 10 февраля 1814 года Наполеон разгромил корпус Олсуфьева в Шампоберском лесу. 11 февраля — корпуса генералов Сакена и Йорка под Монмирайлем. 12 февраля Наполеон одержал новую победу, а 14-го рассеял и заставил отступить армию Блюхера. В эти дни союзные войска потеряли убитыми и ранеными более шестнадцати тысяч человек. Так начиналась тяжелейшая кампания 1814 года — война в пределах Франции. Победы окрылили французов. Дух союзных войск поколебался: 22 февраля у Труа командующий русско-австрийскими силами князь Шварценберг не решился атаковать со 150 тысячами солдат 70 тысяч французов.

Русский царь, австрийский император и прусский король проводили совещание за совещанием, но улучшить положение пока не удавалось. К тому же пруссаки занимались во Франции грабежами и насилиями — это вызвало жесточайшую партизанскую войну. Угасшее было доверие французов к Наполеону вспыхнуло с новой силой.

В эти трудные февральские дни и принял Рылеев боевое крещение: вместе со своей батареей он то преследовал французов, то отступал по грязным зимним дорогам. Случалось, на быстром марше при каком-нибудь маневре или при отступлении русские, австрийские и прусские части перемешивались, сминали друг друга, начинались толкотня и ругань, фуры и орудия опрокидывались, дело доходило чуть ли не до драки.

Нередко стычки с французами начинались неожиданно — батарея разворачивалась и открывала огонь. Не раз случалось Рылееву действовать и саблей. Ночевать приходилось в холодной палатке, крестьянских сараях, редко в городских квартирах. Молодой прапорщик выказал незаурядную храбрость и исключительное хладнокровие. Мало того — в самых трудных обстоятельствах, уставший, мокрый и голодный, он был весел и подбадривал товарищей. Полюбили его и солдаты-артиллеристы, к которым он относился с искренним сочувствием.

Таково было начало жизни Рылеева «в свете» — скрип седла, дождь, грязь, кровь, свист пуль и пороховой дым, гром орудий, пожары, стоны раненых, братские могилы… Ни минуты покоя.

Тем не менее до взятия Парижа оставалось чуть больше месяца: союзная русско-прусско-австрийская армия была все-таки сильнее французской, резервы которой начали истощаться. Париж капитулировал 30 марта 1814 года, но Рылееву не довелось участвовать ни в осаде его, ни в марше победителей по его улицам: в конце февраля он вместе со своей ротой был направлен в Дрезден в распоряжение саксонского генерал-губернатора князя Репнина.

В Дрездене Рылеев неожиданно встретил своего двоюродного дядю, сорокатрехлетнего генерал-майора Михаила Николаевича Рылеева, который недавно, после ранения в бою, был назначен сюда комендантом. В сущности, они тут впервые только познакомились.

Дядюшка комендант и его супруга Марья Ивановна отнеслись к Рылееву сердечно. Он и поселился у них. Месяца через два Михаил Николаевич выхлопотал Рылееву хорошее место при комендантском управлении. Сохранились рапорты «артиллерии прапорщика Рылеева» «военному областному 3-го округа начальнику господину генерал-майору и кавалеру М.Н. Рылееву» об осмотре дорог и мостов. Рылеев побывал в связи с этим во многих саксонских городах. Так прошло лето. В августе пришло известие о смерти отца — он скончался в Киеве, совершенно один. Как ни далеки они были, Рылеев искренне пожалел об отце. Он попросил мать сообщить ему подробности.

В сентябре он пишет матери о Михаиле Николаевиче: «Такого дяди, каков он, больше другим не найти! Добр, обходителен, помогает, когда в силах: ну, словом, он заменил мне умершего родителя!.. В день моего рождения подарил он мне мундир лучшего сукна». Осенью дядя выхлопотал Рылееву место при городских артиллерийских складах.

Рылеев бродил по окрестным холмам, покрытым рощами, садами и виноградниками. Среди скал и шумных ручьев на берегу Эльбы краснела черепица деревенских крыш. Взобравшись повыше, Рылеев любовался городом, охваченным серебряным поясом реки. Над тесными старинными кварталами возносилась готическая башня собора. Невдалеке виднелся купол другого. Высоко над рекой сквозь деревья сада белел дворец. Мощный многоарочный мост, перекинутый через Эльбу, наполнен конными и пешими. Солнце освещает домики у самого берега, покачивающиеся на волнах лодки, полуголых рыбаков. С грохотом несется через мост тяжелый почтовый дилижанс, почтальон, сидящий рядом с кучером, трубит в рог. Саксония, упорная союзница Франции до самой той поры, пока ее не захватили союзники, — край прекрасный, теплый, почти Италия!

А как же было не посетить Дрезденской галереи? Конечно, Рылеев там был, и скорее всего не один раз, — видел итальянские пейзажи Клода Лоррена и Каналетто, прославленную «Ночь» Корреджо, о которой так много говорили в Петербурге, его же «Марию Магдалину», героико-романтические картины Пуссена и, без сомнения, великую «Сикстинскую мадонну» Рафаэля.

Очевидно, в Дрездене Рылеев немало писал в прозе и стихах, но сохранились до наших дней только отдельные сочинения. Сослуживец Рылеева офицер Александр Косовский вспоминает, что он прочитывал товарищам «свои мелкие сочинения, которые иногда находил слабыми, тут же уничтожал, а их было довольно». Сохранившийся в тетради Рылеева прозаический отрывок без названия, помеченный 25 марта 1814 года, рассказывает о Рейнском водопаде. Это запись недавних впечатлений, времени возвращения из Франции, когда Рылеев во второй раз переправился через Рейн.

«Утро было прекрасное, — пишет Рылеев. — Солнце светило во всем своем величестве. Силу падения воды невозможно ни с чем сравнить! Пенящиеся волны с порывом рвутся между скал и, низвергаясь с крутизны утеса, дробятся, образуя над поверхностью воды густое и блестящее облако пыли, соединяются, делятся вновь, вновь совокупляются и воспринимают дальнейшее свое течение. Шум и рев волн, с необычайною силою ударяющихся о кремнистые скалы, оглушает».

В апреле или мае этого года написана ода «Князю Смоленскому» — второе стихотворение, посвященное памяти Кутузова. Ода написана уверенно, четким четырехстопным ямбом, по десяти строк в каждой строфе, точно так же, как и «Любовь к Отчизне» 1813 года. Два стихотворения Рылеева о Кутузове примыкают к таким произведениям, рожденным Отечественной войной, как «Певец во стане русских воинов» и особенно «Вождю победителей» Жуковского, а также стихи Федора Глинки, посвященные этой войне. Кутузов для Рылеева, как и для них, — олицетворение духа русского народа:

На страшном поле Бородинском,
В бою кровавом, исполинском,
Ты показал, что может росс!

Два других стихотворения этого года — пробы чисто сентименталистского толка. Одно — небольшое, шутливое, — «Бой», написанное во время поездки в мае 1814 года в эльзасский город Альткирх и посвященное красавице «Наташеньке», другое, обозначенное как «вольный перевод с французского» и озаглавленное «Луна», представляет собой томную элегию, составленную из штампов поэтической «чувствительности» конца XVIII века и первых лет XIX: «Луна! любовников чувствительнейший друг!», «потоки слез и томны воздыханья», «песнь уныла, погребальна», «прах любезный Кларисы», «хладная могила» и т. п. Из какого французского автора это переведено — неизвестно, скорее всего подзаголовок стихотворения маскирует оригинальный, откровенно ученический опыт. И еще несколько лет будут встречаться в стихах Рылеева черты сентиментализма, вернее — его штампы, однако не столь явные, как в «Луне», напоминающей стихи Шаликова.

В Дрездене у Рылеева были, очевидно, списки разных стихотворений русских поэтов, среди них «Видение на берегах Леты» Батюшкова, тогда еще не напечатанное, — остроумнейшая сатира на бездарных поэтов, кстати и на Шаликова («пастушок», «вздыхатель» с «венком» и «посошком»), эпигона столпов русского сентиментализма — Карамзина и Дмитриева. Сатира ходила в списках без подписи, так как Батюшков пытался скрывать свое авторство, и Рылеев, имея такой неподписанный вариант, считал ее автором Крылова.

В октябре 1814 года Рылеев написал «подражание Крылову» (на самом деле — Батюшкову) — «Путешествие на Парнас», где так же, как Батюшков, заставил «купаться» в Лете, реке забвения и бесславия, бездарных, по его мнению, поэтов. У Рылеева канул в Лету поэт Николай Львов, один из ранних русских сентименталистов. Вслед за ним Рылеев отправил в те же волны архаиста Сергея Ширинского-Шихматова, стихотворца далеко не бесталанного, но ставшего с 1800-х годов объектом насмешек карамзинистов, к которым примыкал и Батюшков. В том же 1814 году в своем первом напечатанном стихотворении «К другу стихотворцу» задел Шихматова — под именем Рифматова — и молодой Пушкин, еще учившийся в Лицее. И вот, наконец, в противоречии с собственной практикой (со стихотворением «Луна») топит Рылеев в Лете пастушка и вздыхателя Шаликова:

Я зрел, как наш пиит слезливый
Красу лужков, лазурь небес,
И сельску жизнь, и злачны нивы
Пел, пел, — и наконец — исчез!

Однако в «Путешествии на Парнас» собственно сатира слаба, в нем больше шутливости, обращенной к самому себе и сверстникам, друзьям по кадетскому корпусу, писавшим стихи, — Боярскому и Фролову. Автор вместе с ними, запрягши «четверку бойких» в карету, «предпринял путь к Парнасу»:

Там скалы есть, там терн растет!
Там многих авторов творенья,
В ныли валяяся — гниют!

Там Лета есть, река забвенья,
В ней также много уж живут!
...Такая ж участь, может статься,
И нам, о други, суждена!
...Но вот! поднялися и в горы!..
Парнас! Парнас! Какая близь!..
Как вдруг толчок! — и где рессоры? —
Тю, тю! — и мы катимся внизь!..

В конце 1814 года произошел какой-то таинственный случай, положивший конец привольному существованию Рылеева в Дрездене. Один из биографов Рылеева пишет, что он «своими сатирами, эпиграммами… остротами и проказами насолил всем, и скоро дело дошло до того, что все русские жители Дрездена обратились к князю Репнину с просьбой об удалении юного прапорщика из города». Репнин якобы приказал Михаилу Николаевичу Рылееву выдворить племянника из саксонской столицы. Дядя же будто бы, приказав ему убраться в двадцать четыре часа, «с сердцем» объявил: «Если же ты осмелишься ослушаться, то предам военному суду и расстреляю!» Рылеев отвечал на это: «Кому быть Повешенным, того не расстреляют!» — и, не простившись ни с кем, уехал.

Эта история не подтверждается ни одним документальным свидетельством. И все же Рылеев мог «насолить» (вспомним его кадетские проделки, неустанные и смелые проказы), конечно, не «всем русским жителям Дрездена», это невероятно, а кому-нибудь из высших начальников. В письме к матери из Дрездена он поместил, например, такие стихи:

На что высокий чин, богатства,
На что и множество крестов,
В них вовсе, вовсе нет приятства,
Когда душевно нездоров.

Может быть, он имел в виду определенное лицо — с «высоким чином», «множеством крестов», но «душевно нездорового», то есть подлого, как явствует из дальнейшего текста. Если речь действительно зашла о «расстреле», если все это правда, то Рылеев скорее всего публично обличил высокопоставленного подлеца. Тогда становится ясно, что он уже ищет, так сказать, гражданского подвига, конкретного действия в защиту справедливости. Тогда и его ответ («кому быть повешенным…») не случайность, а трагическое предвидение.

Среди офицеров своей батареи Рылеев держался несколько особняком. Как пишет его однополчанин Косовский, он «явных врагов в батарее не имел, но и лишней приязни никто с ним не водил». Косовский сообщает, что Рылеев «любил поинтриговать, в особенности противу немцев, а их было тогда в батарее шесть человек, лифляндцев и курляндцев», «часто издевался над нами, зачем служим с таким усердием, называя это унизительным для человека…. Говорил — вы представляете из себя кукол… много раз осыпал нас едкими эпиграммами».

Косовский сообщает, что Рылеев открыто выступал против фрунтомании командира батареи подполковника Сухозанета, так что тот трижды делал представления инспектору всей артиллерии генералу Меллер-Закомельскому об отчислении Рылеева из его части, но, к счастью для Рылеева, Меллер-Закомельский в молодости служил вместе с его отцом и помнил старую дружбу. Сухозанету не удалось избавиться от строптивого прапорщика.

«Чего бы кажется лучше, — писал Косовский, — желать в его лета — красоваться на хорошем коне, в нарядном мундире, батарея с тремя отличиями за сражения (золотые петлицы на воротниках мундира, бляхи на киверах за отличие и серебряные трубы); но он не полюбил службы, даже возненавидел ее и только по необходимости подчинялся иногда своему начальству. Он с большим отвращением выезжал на одно только конноартиллерийское учение, но и то весьма редко, а в пеший фронт никогда не выходил».

Осенью 1814 года бригада, в которой служил Рылеев, вернулась в Россию и расположилась на стоянки в Слонимском уезде Гродненской губернии. Рота Сухозанета была расквартирована в местечке Столовичи. К зиме ее перебросили в городок Несвиж Слуцкого уезда Минской губернии. Офицеров на батарее было десять человек, а взводов шесть. Рылеев воспользовался этим обстоятельством и оказался как бы за штатом. В то время как другие офицеры по приказу командира проводили учения с солдатами, иногда по два раза в день, Рылеев сидел дома, читал и писал. Косовский говорит, что он, служа, «состоял как бы на пенсии». Единственное, чем он по службе занимался с удовольствием, это верховая езда, практика под присмотром знатока этого дела. «Надеюсь сам скоро быть ездоком», — пишет он матери.

Здесь получил он от матери известие, что на киевское имущество его покойного отца, которого он был наследник, наложен арест. Будучи в последние годы управляющим в имениях Голицыных, Федор Андреевич в чем-то там промахнулся, как-то протратился, и вдова князя Голицына по смерти Рылеева предъявила его наследникам иск в восемьдесят тысяч рублей. Началась тяжба, которая затянется на много лет. «О вельможи! о богачи! — пишет Кондратий Федорович матери в ответ. — Неужели сердца ваши не человеческие? Неужели они ничего не чувствуют, отнимая последнее у страждущего!» Имущество Федора Андреевича вместе с его киевским домиком едва ли стоило больше десяти тысяч (эту сумму назвал Рылеев в одном из своих позднейших писем). А у Анастасии Матвеевны не оказалось даже тех нескольких рублей, которые нужны были ей для выкупа хранившегося у Федора Андреевича ее собственного портрета.

«Вы пишете, — сокрушается Рылеев, — дражайшая матушка, что не имеется у вас денег, дабы выкупить последнюю фамильную драгоценность, сыновнее сокровище — ваш портрет! Не присылайте лучше ко мне ни копейки, я, право, не нуждаюсь в деньгах, ей-богу, не нуждаюсь, постарайтесь только выручить портрет!»

В том же письме Рылеев пишет матери о своем слуге, батовском крестьянине: «Жене Федора Павлова скажите от него, чтобы она не печалилась, что он все, слава богу, здоров и при первой оказии приедет. Я никак не могу нахвалиться сим добрым стариком — и желал бы, дражайшая матушка, дабы вы его, когда он приедет, отправили в деревню на покой за его труды и добродетель». Взамен Рылеев просил у матери двух мальчиков — Федьку, который «будет за лошадьми присматривать как охотник до них», и другого, который «будет в горнице».

Вскоре уже наладившееся было течение мирной жизни нарушилось.

4

Пока Наполеон благоустраивал отданный ему союзниками во владение остров Эльбу у берегов южной Франции, делая из него продуманное до мелочей маленькое государство с армией и флотом, его победители заседали в Вене, ведя тайные переговоры о том, чтобы услать его подальше, на один из островов Тихого океана. Были и проекты внезапного захвата Эльбы, похищения Наполеона и даже его убийства. Наполеону было сорок пять лет, энергия его не угасла, и тактический гений его не дремал. В феврале он отпечатал прокламации к французскому народу и к армии и 26-го числа того же месяца двинулся во Францию на шестнадцатипушечном бриге и шести баркасах. С ним был весь гарнизон Эльбы — тысяча сто солдат старой гвардии и батальон корсиканских стрелков.

Флотилия прошла незамеченной мимо сторожевых английских и французских судов. Высадившись на материке, Наполеон повел свое маленькое войско через Канн и Грасс на Гренобль по крутым горным тропам. Министры Людовика XVIII только через несколько дней узнали о происшедшем. Роялисты забили тревогу, армия пришла в движение, но было уже поздно — Лион и Гренобль восторженно приветствовали Наполеона. Он шел к Парижу со всевозрастающей армией.

Без единого выстрела Наполеон занял Париж. Бурбоны бежали. Начался героический период Ста дней. Франция, снова ставшая наполеоновской, оказалась одна лицом к лицу с объединенной Европой, которая решила во что бы то ни стало уничтожить «авантюриста».

…12 апреля 1815 года Первая конноартиллерийская бригада двинулась во второй поход против наполеоновских войск. В середине марта Рылеев пишет матери: «Ровно почти через год я вновь переправляюсь чрез Рейн. Какая величественная: река! Какое чудесное зрелище… Года за четыре пред сим кто предполагал, что войска чуждых стран так легко будут переправляться через реку сию? Этого мало, кто мог предполагать столь быстрые действия союзников и столь слабое сопротивление противников?! Но — обстоятельства переменились — что было за четыре года, что могло быть тогда, то не будет и не может быть теперь. Великая нация теперь слабая, войско ее — шайка разбойников, начальник — странствующий Дон-Кишот».

Подполковник Сухозанет в этом походе назначил Рылеева квартирмейстером. «Довольно забот, — пишет Рылеев матери, — прежде немного трудноватых, но теперь приятных». Он, как заметили сослуживцы, сделался вдруг деятельным и исполнительным, даже Сухозанет был им доволен. Однако тут не было секрета: одно дело война, другое — аракчеевская муштра в мирное время… Кроме того, разъезды по чужой стране с небольшой командой солдат позволяли близко наблюдать жизнь простого народа, быстро входившую в свою обычную колею. Тот же Косовский, не очень доброжелательный его товарищ, заметил, что Рылеев «со вниманием следит за благоустройством тех мест, чрез которые следовала батарея», что он «успел составить несколько записок того края, в коих старался изложить свой взгляд, причем не пожалел даже высказать много правды». Косовский считает, что тогда-то и «зародилась в нем мысль, что в России все дурно, для чего необходимо изменить все законы». Конечно, Косовский ошибается — эти мысли пробудились в сознании Рылеева еще в тех российских провинциях, в которых он стоял с батареей. Минская губерния была самой отсталой в империи, крестьяне-белорусы жили по большей части в страшной нужде. Рылеев с его страстной и правдивой душой не мог не видеть этого, не мог не страдать, не думать о бедствиях народа.

«Любопытство знать будущее снедает меня», — писал он матери из Франции, из города Васей, где батарея вместо военных действий два с половиной месяца готовилась к «высочайшему» смотру в Вертю. Эти долгие месяцы были подлинной пыткой для солдат,

нашедших здесь вместо сражений ад ежедневной шагистики.

Русские войска в кампании 1815 года в основном играли роль резерва. Огромных прусско-австрийских и английских сил хватило для того, чтобы одолеть в июне этого года при Ватерлоо последнюю армию Наполеона. Вскоре война кончилась. Наполеон, сдавшийся англичанам, был отправлен на остров Св. Елены в Атлантическом океане. Париж был занят войсками Блюхера и Веллингтона. Русских на этот раз там было немного.

В сентябре 1815 года довелось побывать в Париже и Рылееву. События этого года уже не имели связи с Отечественной войной в России, поэтому молодой русский офицер-артиллерист смотрит на развалины когда-то грозной империи без мстительного чувства, даже наоборот — с неожиданным для него самого чувством удивления, уважения.

В эти парижские дни Рылеев вел записки, нечто вроде дневника в письмах к вымышленному другу, — жанр в то время благодаря «Письмам русского путешественника» Карамзина очень распространенный в России. В чемодане Рылеева, без сомнения, были припасены путеводители по Франции и по ее столице — их в России еще до 1812 года было издано несколько. Из них Рылеев черпал цифры, факты и всякие точные детали, но главное в его записках — это, конечно, его собственные впечатления.

Дни были солнечные, поэтому все можно было разглядеть как следует. Вот он, Париж: наполненные оборванцами грязные улицы Сент-Антуанского предместья, которые ближе к Сене сменяются чистыми и даже роскошными. В центре — сплошные линии фасадов пяти-и шестиэтажных серых домов с подъездами, при них нет ни въездных ворот, ни дворов, ни садов, как это водится в Москве и Петербурге, где и в городе дворяне стремятся жить по-усадебному. В нижних этажах — сплошные лавки, магазины, кафе, конторы. Многие названия улиц сохранились со времен революции: улицы Закона, Прав Человека, Общественного Договора (в честь Руссо), Равенства, площадь Согласия… А вот и набережная Бонапарта… Вот здесь жил Руссо, в этом кафе он играл в шашки; там бывали Мольер, Пирон, Дидро и Вольтер… Тут заседал Конвент, осудивший на смерть Людовика XVI, а это — дом Робеспьера. И хотя всюду стоят прусские часовые, а по улицам разъезжают английские патрульные отряды, Париж многолюден почти как в былые времена, его жизненные силы кажутся волшебно неистощимыми.

Возвышаются над городом готические башни Нотр-Дам. На горе Мартр огромными крыльями машет целая стая ветряных мельниц…

Одно из самых знаменитых мест в Париже — замок Пале-Рояль, «столица Парижа», как назвал его Карамзин. «Сто восемьдесят портиков, — пишет Рылеев, — составляют нижнее его строение, оно занято лавками и кофейницами. Зрелище великолепное, особенно при освещении вечером. Средний этаж также полон магазинами, ресторациями или живущими в нем — купцами и ремесленниками, а верхние по большей части есть обиталище тех презренных жертв распутства, кои в толиком множестве толпятся в Пале-Рояле!.. Приди в Пале-Рояль в какой бы то ни было час — и ты верно едва продерешься чрез толпы посетителей! Что тебе угодно? Ступал в Пале-Рояль и не сомневайся, чтобы ты с деньгами чего не нашел; приди туда голый, но с деньгами, тебя назовут маркизом — и ты в минуту одет по самой последней моде. Смело можно сказать, чаю Пале-Рояль есть душа Парижа; здесь стекаются все его сословия, здесь бывают все их сборища, здесь в какой-нибудь из кофейниц решалась судьба многих и, может быть, производились и составлялись важнейшие заговоры».

Ничего не изменилось со времен Карамзина, побывавшего тут в 1790 году. Текст Рылеева во многом повторяет описание Карамзина, который в «Письмах русского путешественника» так изображает Пале-Рояль: «Вообразите себе великолепный квадратный замок и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках сияют все сокровища света, богатства Индии и Америки…

все, чем когда-нибудь царская пышность украшалась; все, изобретенное роскошью для услаждения жизни!.. Тут спектакли, клубы, концертные залы, магазины, кофейные дома, трактиры… Тебе надобен модный фрак, поди туда и надень. Хочешь, чтобы комнаты твои через несколько минут были украшены великолепно, поди туда, и все готово. Желаешь иметь картины, эстампы лучших мастеров, в рамах, за стеклами, поди туда и выбирай… Одним словом, приходи в Пале-Рояль диким американцем и через полчаса будешь одет наилучшим образом… Там собраны все лекарства от скуки и все сладкие отравы для душевного и телесного здоровья, все средства выманивать деньги».

Рылеев со своим товарищем, русским офицером, завтракает в Пале-Рояле. «Французы удивлялись доброму аппетиту и здоровому русскому желудку», — пишет он.

В саду Пале-Рояля прусские солдаты стали задирать проходящих французов и даже попытались припугнуть их штыками. Едва не началась свалка. Однако вовремя явившийся патруль Национальной гвардии навел порядок. К Рылееву, который был здесь, подошел французский офицер:

— Мы спокойны сколько можем, — сказал он, — но союзники ваши скоро выведут нас из терпения. Мы французы, мы с чувствами!

— Я русский, и вы напрасно обращаетесь ко мне.

— Затем-то я и говорю, что вы русский. Я говорю с другом, ибо ваши офицеры, ваши солдаты обходятся с нами по-дружески. Ваш Александр нам покровительствует, он наш благодетель, но союзники его — кровопийцы. Чего они хотят от нас? Разве они еще не довольны бедствиями Франции, что ругаются над священнейшим сокровищем нашим — честью? Кто мы? Рабы, что ли, их? По жребию оружия мы побеждены, но были некогда и мы победителями.

— Полно, полно, прошу вас, — сказал Рылеев. — Мы, русские, друзья ваши.

«Я был совершенно растроган, — продолжает Рылеев. — Он хотел говорить, но слова замирали от сердечной боли, слезы блистали на глазах его. Я посмотрел на Патриота — и увидел воина лет тридцати, украшенного легионом чести… и… на деревяшке! Я поцеловался с ним. Сей сцене были свидетелями многие французы».

Русские не мстительны. И патриотические чувства француза оказались глубоко понятными Рылееву.

Он много размышляет в Париже о Наполеоне, недавнее присутствие которого здесь ощущается так сильно. «И как поверить, что один ничтожный смертный был причиною столь ужаснейших политических переворотов! Как поверить, что в продолжение не более как десяти лет возрождалось и упадало до десяти государств… и все по прихотям одного человека!» Осмотр Парижа приводит Рылеева к мысли, что «ни один король из фамилии Бурбонов не украсил столько Парижа, как Наполеон. В его царствование, несмотря на беспрестанные войны, выстроены многие прекрасные здания, воздвигнуты великие памятники и великолепные обелиски».

Рылеева восхищает Вандомекая колонна — памятник Аустерлицкой победе Наполеона. На одном из барельефов постамента Рылеев нашел удивительное, приведшее его в волнение изображение: русский артиллерийский офицер отчаянно защищает саблей орудие против множества французов — это быль. Раненый русский герой был взят в плен. В 1814 году он как победитель пришел в Париж и, говорят, увидел здесь этот барельеф.

На верху колонны вместо статуи Наполеона, снятой год тому назад, плещется белое знамя короля.

Триумфальные ворота, выстроенные также при Наполеоне, по мнению Рылеева, «достойны служить памятником всяких побед». Он видел, как австрийцы снимали с этой арки бронзовую квадригу коней, вывезенную из Венеции, и сбивали молотками лепной вензель Наполеона.

Рылеев взял себе на память кусочек этого вензеля. Он не одобрил австрийцев. «Зачем раздражать народ действительно славный, — пишет он, — зачем затрагивать честолюбие и гордость народную, двадцатилетними победами в сердцах утвердившуюся. Не значит ли это врождать в них к себе вечную ненависть? Мы, русские, совсем иначе обходимся».

Рылеев гулял по гранитным набережным Сены, осматривал мосты, великолепную решетку сада Тюильри. В саду Тюильри — мраморные статуи, вазы, бассейн с фонтанами и лебедями, роскошные цветники, померанцевые деревья, целая роща каштанов. Пройдя через сад, Рылеев вышел на площадь Согласия, далее тянулись аллеи Елисейских полей — лучшее гуляние в Париже, но тогда там почти не было парижан, так как там — до самого Сен-Жерменского предместья — теснились бивуачные палатки английских войск. Именно оттуда, из Сен-Жерменского предместья, и по Елисейским полям вступали русские войска в Париж в 1814 году…

В Лувре несколько часов провел он возле статуи Аполлона Бельведерского. «Долго удивлялся я сыну Латоны, — писал он, — победителю Змия Пифийского! Вид его полон божественного величия, всюду сияет вечная юность и красота, сила необоримая и мужество».

Ради любопытства зашел Рылеев к знаменитой в то время прорицательнице — мадам Ленорман. Взглянув на его ладонь, она с выражением ужаса на лице оттолкнула ее и сказала, что не может ему гадать.

Рылеев настаивал. Гадалка долго всматривалась в его ладонь и сказала:

— Вы умрете не своей смертью.

— Меня убьют на войне? — спросил Рылеев.

— Нет.

— Тогда на дуэли?

— Нет-нет, гораздо хуже! И больше не спрашивайте. Она закрыла лицо руками и замолчала.

Конечно, Рылеев тогда не придал этому никакого значения, но его товарищи, бывшие тогда с ним в Париже, впоследствии вспомнили это страшное гадание, действительно оказавшееся пророческим.

В те сентябрьские дни, когда Рылеев был в Париже, королевское правительство судило маршала Нея, одного из талантливейших наполеоновских полководцев, за то, что он в период Ста дней, выступив со стороны короля против Наполеона, перешел к нему и сражался против Блюхера и Веллингтона при Ватерлоо (где под ним было убито пять лошадей и где он искал и не нашел смерти). «Суд над маршалом Неем продолжают, — пишет Рылеев уже перед самым отъездом, — говорят, что члены оного третий раз переменяются. Первыми двумя нарядами, оправдавшими маршала, король весьма недоволен, но, несмотря на то, можно думать, что его и теперь оправдают; ибо во всех частях правления он имеет великое множество друзей, которые сильно держат его сторону». Однако Рылеев не успеет еще вернуться в Россию, как маршал Ней будет расстрелян.

5

По возвращении в Россию батарея Рылеева остановилась в нескольких верстах от прусской границы, едва перейдя Неман, — в Росиянском уезде Виленской губернии, в местечках Ретово (или Ротово)[2] и Вижайцы. Расположились, очевидно, капитально, так как Рылеев, поселившись в крестьянском доме, начал усиленно расширять свою библиотеку, «занялся приведением в порядок своих записок… завел обширную переписку с некоторыми из товарищей своих по корпусу», — пишет Косовский. Рылеев описывает свой новый быт в стихотворном послании «Друзьям (в Ротово)»:

…В сей хате вы при входе
Узрите, стол стоит,
За коим на свободе
Ваш бедный друг сидит
В своем светло-кофейном,
Для смеха сотворенном
И странном сертуке,
В мечтах, с пером в руке!
Там кипа книжек рядом
Любимейших лежит…
…Любезные пистоли,
Шинелишка, сертук,
Уздечка и муштук;
Ружье — подарок друга,
Две сабли — как стекло…

Косовский раскрывает эти кратко описанные детали подробнее: «Рылеева можно было видеть… в мужицкой избе с полусветом, за простым рабочим столом, на коем были нагромождены разные книги, даже на лавках занимаемой им комнаты — множество разбросанных бумаг, тетрадей, свертков, разного хлама и в особенности пыли. Сам же он постоянно носил оригинальный двубортный сюртук светло-коричневого сукна, под названием «пиитического», самим им придуманного, длина коего до колен, с широкими рукавами, с двумя на груди карманами, с несколькими шнурами и кистями, а воротник маленький, отложной, так что шея открыта; панталоны светло-серого сукна, но без красной выпушки и без штрипок, в коих по рассеянности один раз выехал во фрунт, за что и был арестован. Шапка или картуз — черного сукна, особого покроя; сапоги… по большей части стоптанные, часто порванные, нечищеные; туфлей и галош он не имел».

Как бы ни относились к Рылееву сослуживцы, они понимали, что он человек незаурядный. Косовский, описавший его наряд, хорошо запомнил и его внешность: «Роста он был среднего, телосложения хорошего, лицо круглое, чистое, голова пропорциональна, но верхняя часть оной несколько шире; глаза карие, несколько навыкате, всегда овлажнены и приятные, в особенности — когда он читал стихи или хорошую прозу из лучших сочинений, отчего он часто делался как бы вдохновенным; будучи несколько близорук, он носил очки, но более во время занятий за письменным столом».

Иногда Рылеев приезжал в батарейный штаб, находившийся в семи верстах от Вижайц, там

он обедал с товарищами, любил при этом поговорить, поспорить. В еде он был мало разборчив, не прочь был выпить и после нескольких рюмок по обыкновению принимался декламировать. «Ода «Бог», «Водопад» и «Вельможа» Державина сейчас являлись на сцену», — вспоминает Косовский, прибавляя, что Рылеев как чтец «имел большую способность и дар слова».

Рылеев снова всякими средствами уклоняется от учений. Иногда без разрешения ротного командира он посещает город Мемель, расположенный в восьми верстах от Вижайц, на берегу Балтийского моря, вблизи устья Немана. Там он, переодетый в «партикулярное» платье, занимал номер в гостинице и проводил дня два-три, а то и больше в одиночестве, избегая людных мест, может быть, потому, чтобы не наткнуться на начальство и не быть арестованным. Он много писал тогда, писал что-то в прозе (какие-то «записки»), но по большей части стихи. Это были послания к друзьям, в которых он подражал одновременно Денису Давыдову (его лихим посланиям к Бурцову) и Батюшкову (эпикурейским «Моим пенатам»), и снова — мадригалы «Лиле», жестокость которой доводит влюбленного до «прегорькой слезы», и опять шаликовские «нежная свирель» и «пастушок»…

«Записки» его того времени не сохранились. Неизвестно, какие книги он тогда читал, с кем вел переписку. Однако о характере его исканий можно судить по его беседам с сослуживцами, сохранившимся в передаче Косовского.

Зимой 1816 года Рылеев тяжело заболел, почти четыре месяца он медленно выздоравливал, не выходя из своей избушки. Наконец во время первого же товарищеского обеда он сказал друзьям:

— Хотя недуг меня и сломил, но времени золотого я не терял. Много я успел передумать и сообразить. Вижу, что мне предстоит множество трудов! Жаль только, что не имею сотрудника.

— Да в чем же именно будут состоять эти занятия? — спросил один из товарищей.

— В том, что для вас покажется ново, странно и непонятно! На это потребуется много силы воли, чего ни в одном из вас я не замечаю, — ответил Рылеев.

Заинтригованные и даже несколько обиженные молодые офицеры пытались выведать тайну «занятий» Рылеева, но он им не открылся. Тогда они решили, что Рылеев хочет основать масонскую ложу, и стали убеждать его «бросить несбыточное». За глаза они иронически называли Рылеева «новым гением». Их раздражала горячность, которую Рылеев проявлял в спорах, а также то, что он «ни с чьим мнением никогда не хотел согласиться, ставя свои суждения выше всего». Рылеев спорил, пытался убеждать — ему хотелось найти союзника. И он не скоро оставит эти попытки.

Один любопытный документ свидетельствует о том, что во время службы в Виленской губернии Рылеев попадал и в неприятные положения. Это рапорт Рылеева подполковнику Сухозанету от 19 октября 1816 года, где Рылеев жалуется на грубость росиянского бургомистра: «Я пришел к бургомистру, бывшему тогда в ратуше, и, отдавая полученный мною билет, сказал, дабы он велел, кому следует, как можно скорей выдать мне означенное в оном число подвод; бургомистр… с грубостию вырвал у меня подаваемую мною бумагу и с горячностью сказал мне: «Ваша бумага ничего не значит!..» — бросил оную под стол». Рылеев попросил его «быть немного повежливее» и подаваемых ему бумаг «столь нагло не вырывать и не бросать оных под стол». После этого бургомистр пустился его распекать: «Как смеете вы делать мне такие грубости и кричать на меня в присутственном месте?» — и отказался дать Рылееву те подводы, за которыми он был послан. В заключение рапорта Рылеев просит сделать ему за обиду «надлежащее удовлетворение». Это, очевидно, одно только звено из той цепи унижений, которые неизбежно падали на скромного армейского прапорщика. Однако этот прапорщик не желал быть послушным и безгласным винтиком — он уже начал искать средства для борьбы с той политической и общественной косностью, гнет которой он ощущал на себе. Свой путь в

жизни помогало ему искать его достоинство гражданина, все отчетливее проявлявшееся в нем.

6

В феврале 1817 года конноартиллерийская батарея, переименованная из 1-й в 11-ю, выступила в новый поход, на этот раз в глубь России, в Орловскую губернию.

Рылеев, снова назначенный квартирьером, отправился вперед и уже через несколько дней достиг Мценска. Еще стояла зима. Занесена была снегами река Зуша. Сдерживая коней на спуске с Висельной горы, ямщик обернулся к Рылееву и сказал: «Амченск!» (так называли Мценск местные жители).

Мимо белокаменных строений Петропавловского монастыря и низких избушек Стрелецкой слободы возок въехал в город, в котором на тысячу деревянных домов приходилось десять каменных.

Дел у Рылеева было много: нужно было приготовить квартиры для офицеров и солдат, помещение для штаба, парк для орудий, конюшни для лошадей. С этим он и явился к градоначальнику. Как и всегда в таких случаях, для градоначальника появление армейской части означало лишние и трудные хлопоты, но для всего прочего уездного общества, в особенности для девиц и дам, приход военных был праздником.

Рылеев мог бы почувствовать себя счастливым — ему понравился окруженный холмистыми полями русский городок, но его постигла крупная неприятность: неподалеку от Мценска у него пропала сумка с деньгами (то ли потерял, то ли украли). Там были и казенные, и его собственные, и деньги товарищей, данные ему для найма лучших квартир… Рылееву пришлось продать многие свои необходимые вещи, в том числе и лошадей, а затем обратиться к Петру Федоровичу Малютину с просьбой о займе. Долг Рылеева оказался так велик, что он не мог из него вылезти в течение двух или трех лет.

Он был сильно огорчен таким несчастным обстоятельством, но молодость взяла свое: он стал посещать балы и даже танцевать на них, хотя, как отметил Косовский, танцы «крепко ему не дались». Уездные барышни охотно прощали этот недостаток красивому молодому офицеру, который не упускал случая украсить их альбомы полушутливыми мадригалами вроде следующего:

Когда б вы жили в древни веки,
То, верно б, греки
Курили фимиам
Вместо Венеры — вам.

В двух стихотворениях мценского периода — «Посол» и «Песня» — упоминается одна из местных красавиц по имени Маша («Маша, милый мой дружочек…»). В стихотворении «Посол» — мимолетный отблеск элегии Дениса Давыдова «Договоры» с его нарочито воинской лексикой («Ратификации трактату моему я с нетерпеньем жду…» — пишет Давыдов). Рылеев:

…И вдруг Машенька вбегает,
Как посол от жизни сей!
Вмиг со мной в переговоры…
И трактат уж заключен!
Все решили нежны взоры,
И я в счастьи убежден!

Среди этих мадригалов есть один, написанный в «макаронической» технике, вперемешку русскими и французскими выражениями, чем достигается тот особенный комизм, которым позже — лет двадцать спустя — славились «Ишки Мятлева стихи» — в особенности поэма Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л`этранже», написанная на смеси «тамбовского» с французским (Курдюкова — жительница Тамбова).

Стихи Рылеева становятся более изощренными внешне, но в них еще редки серьезные мотивы, нет в них и оригинальности. Кроме галантных стихотворных шуток, это «песни», также игриво-любовного характера, любовные же — со «слезой» и полные поэтических штампов — элегии, откровенное подражание стихотворению Жуковского «Пловец», эпиграммы на незадачливых кавалеров и дружеское послание «К Фролову» — то есть к бывшему кадету, служившему в это время за границей в оккупационном корпусе графа Воронцова. Это стихи о дружбе, которая противостоит «печалям и бедствам»:

Но вместе чур! рука с рукою!
Авось до счастья добредем!..

Косовский сообщает в своих воспоминаниях, что Рылеев «два раза дуэлировал на саблях и на пистолетах». Это скорее всего происходило в Мценске, где Рылеев на короткое время изменил своим правилам уединенного мечтателя и пустился в вихрь светских — уездного масштаба — развлечений. Никаких неприятных последствий эти поединки не имели.

Весна была дружной, теплой, быстро сходил с полей снег; Зуша, вообще речка невеликая, вдруг разлилась и бурно закипела мутными водоворотами, крутя ледяное крошево и сверкая на солнце. Над каменистыми обрывами высокого берега уже в начале апреля зазеленела травка. В этом месяце подполковник Сухозанет получил приказ переместиться со своей ротой в Воронежскую губернию — в Острогожский уезд. Через несколько дней он отправил туда снова назначенного квартирьером прапорщика Рылеева.

Перед отъездом Рылеев гулял по окрестностям Мценска, радуясь синему небу, свежему, пьянящему воздуху, пению жаворонков:

Приветствую тебя, зеленый луг широкий!
И с гор резвящийся, гремящий ручеек,
И тень роскошная душистых лип высоких,
И первенца весны приветный голосок!

…Рылеев отправился на юг.

7

Остановившись на день-другой в Воронеже, Рылеев двинулся дальше, и, проделав почти сто верст в почтовой коляске, он в конце апреля 1817 года прибыл в Острогожск. Здесь, в самом городе и в слободах, уже были расквартированы четыре полка Первой драгунской дивизии, прибывшей недавно из-за границы.

Рылееву понравился этот довольно большой и оживленный город, построенный по четкому плану, с домами, окруженными зеленью садов, с неширокой речкой по имени Тихая Сосна, где-то, в пределах уезда, впадающей в Тихий Дон. Здесь сказывалась близость к Малороссии — беленые дома с камышовыми крышами, медлительные волы, запряженные в тяжелые повозки, украинский акцент в говоре жителей.

Многие здешние чиновники и купцы, а также и некоторые дворяне — малороссы.

Город небольшой, но совсем не захолустный — в нем не диковина не только грамотный, но начитанный и умеющий порассуждать о «высоких материях» чиновник или купец, не говоря уж об аристократах. Острогожское образованное общество по традиции екатерининского времени поклонялось французским энциклопедистам, почитало Вольтера, Дидро, Монтескье. Дворяне Станкевичи, Веневитиновы, Астафьевы, Томилины, купцы Должиков и Панов заботились о народном просвещении, не упускали случая собраться и поговорить о прочитанном, выписывали русские и иностранные газеты и журналы. Недаром современники называли Острогожск «воронежскими Афинами».

Пробыв здесь несколько дней, Рылеев познакомился с некоторыми из этих просвещенных людей, и ему жаль стало уезжать отсюда.

Ему пришлось ехать в глубь огромного по площади Острогожского уезда — зимние квартиры для 11-й конноартиллерийской батареи отвели в слободе Белогорье, в 85 верстах от Острогожска, еще дальше на юг по Богучарскому тракту. Эта слобода располагалась на высоком берегу Дона, где широкая сухая степь обрывалась меловыми уступами, в которых вода и ветер за века упорной работы наделали множество причудливых пещер.

Когда окончательно выяснилось, где именно будет квартировать какой взвод и где расположится штаб роты, Рылеев закончил хлопоты и постарался найти для себя местечко подальше от начальства — в слободе Подгорное, что на двадцать верст ближе Белогорья к Острогожску. Здесь тоже была степь. Маленькая речка Россошь разделяла довольно большой поселок надвое. Рылеев снова, как в Вижайцах, поселился в «хате» и твердо решил как можно больше времени отдавать работе — то есть чтению и писанию.

Тем не менее он завел немало знакомств в Белогорье и Подгорном — с помещиками Астафьевым, Лисаневичем, Бедрагой, Куколевским. Среди них были весьма незаурядные люди, такие, как широко образованный, свободомыслящий и честнейший Владимир Иванович Астафьев, пытавшийся бороться с губернской рутиной, но в конце концов бросивший все дела и впавший в безысходную тоску. Другой новый знакомец Рылеева — Михаил Григорьевич Бедрага — был героем Отечественной войны, соратником поэта-гусара Дениса Давыдова, он был тяжело ранен во время Бородинского сражения и жил в отставке в родовом имении возле Белогорья. С Бедрагой Рылеев был, по-видимому, откровенен — делился замыслами, читал ему новые стихи, посвятил ему несколько стихотворных посланий, прозаический очерк («Еще раз о храбром Бедраге»), написанный в 1820 году уже в Петербурге.

Острогожский уездный предводитель дворянства Василий Тихонович Лисаневич также сблизился с Рылеевым. В начале 1820-х годов Рылеев и все эти лица объединились в борьбе за освобождение от крепостной зависимости талантливого юноши, а впоследствии профессора

русской словесности и академика Александра Васильевича Никитенко. Были среди собеседников Рылеева и два священника — Иван Ставров и Иван Рудинский, оба начитанные и любознательные. Рудинский, например, интересовался английскими парламентскими речами, «мнениями» графа Мордвинова, одного из передовых русских сенаторов, во всяком деле боровшегося за справедливость, — все это священник, как и стихи разных авторов, ходившие в списках, переписывал для себя в тетради.

Но совсем особенное значение имело для Рылеева знакомство с Михаилом Андреевичем Тевяшовым, который еще в екатерининские времена вышел в отставку в чине прапорщика и после того лет тридцать почти безвыездно прожил в Подгорном. Это был небогатый помещик, не очень интересный человек, хотя умный и добрый. У него и его жены Матрены Михайловны были три сына и две дочери. Старшие сыновья, Алексей и Иван, служили в армии и мечтали выйти в отставку (что в скором времени и сделали), младший учился в одном из пансионов Харькова и потом перешел там же в университет. Дочерям в 1817 году было — Анастасии, вероятно, лет восемнадцать или девятнадцать, Наталии — шестнадцать. Рылеев полюбил бывать в этом семействе.

Старики занимались каждый своим делом — Михаил Андреевич дремал в кабинете за «Московскими ведомостями» месячной давности, Матрена Михайловна над своим рукодельем. Все их хозяйство — имение и дом — было в руках управляющего, их крепостного по имени Артамон. Дочери, несмотря на то, что уже были на выданье, ничему не учились и едва умели читать и писать.

«Рылеев первый принял живейшее участие в этих двух девицах и с позволения родителей принял на себя образование их, — пишет Косовский, — чтобы по возможности вывести их из тьмы… Рылеев употребил все усилия оправдать себя пред своею совестью: постоянно занимался с каждой из учениц, постепенно раскрыл их способности… В два года усиленных занятий обе дочери оказали большие успехи в чтении, грамматике, арифметике, истории и даже законе божием, так что они могли хвалиться своим образованием противу многих девиц соседей своих».

Шли дни, Рылеев увлекся ролью учителя, ему было приятно видеть, как его труд приносит плоды, и так скоро! Между тем он все более привязывался душой к младшей из учениц — Наталии Михайловне, смуглой, высокой, хрупкого сложения и тихого, доброго характера девушке. Он старался развлечь ее как мог — приглашал из Белогорья товарищей-офицеров, устраивал танцы, общую беседу, прогулки.

Чаще других приезжали в Подгорное прапорщик Федор Петрович Миллер, с которым Рылеев в это время тесно сдружился, Александр Иванович Косовский и два брата Унгерн-Штернберги. Иногда все это общество отправлялось в Белогорье. «Время проводим весьма приятно: в будни свободные часы посвящаем или чтению, или приятельским беседам, или прогулке, — пишет Рылеев матери, — ездим по горам и любуемся восхитительными местоположениями, которыми страна сия богата; под вечер бродим по берегу Дона и при тихом шуме воды и приятном шелесте лесочка, на противоположном береге растущего, погружаемся мы в мечтания, строим планы для будущей жизни и чрез минуту уничтожаем оные».

И в то же время Рылеев, как свидетельствует Косовский, «не оставлял и постоянных своих занятий. В течение 1817 и 1818 годов он исписал бумаги целые горы; брался за многое, не жалея сил и умственных напряжений, но зато же многое уничтожено им же самим, чему и нам случалось быть свидетелями неоднократно: бывало, прочтет что новенькое и тут же рвал или сжигал, а некоторые отрывки расходились по рукам; но записок под названием (как он говаривал) «деловых» никому никогда не показывал… часто уверяя, что он один трудится за всех нас».

Рылеев искал себе союзников, хотел распространять свои мысли и мнения, но не верил в серьезность многих молодых офицеров, видя их совершенно пустую жизнь и бездумное подчинение заведенному в армии порядку. «Мы замечали, — говорит Косовский, — что в нашем обществе ему становится душно».

Рылеев искал путей борьбы с российскими беззакониями, существовавшими нередко под видом государственных законов, искал независимости — возможности достижения ее для всех. Это были мысли, пока еще не направленные в определенное русло, поиски, раздумья.

Иногда Рылеев все же проговаривался в обществе сослуживцев о своих мечтах. Так, однажды, когда за общим столом возник разговор о каких-то несправедливостях, Рылеев зажегся и воскликнул:

— Нет-нет! Надо ехать туда, где люди живут и дышат свободно!

В эти дни он читал и конспектировал труды Сен-Симона, Фурье и Кабе и увлекся идеей свободных общин социалистического толка. — А куда бы, например, ехать? — спросили его.

— В Америку! Непременно в Америку! Я собираюсь купить там участок земли и положить основание колонии независимости. А кто из вас захочет жить по собственному произволу и не быть в зависимости от подобных себе, забыть о том, что такое русское лихоимство и беззакония, тех я приму с распростертыми объятиями. Мы заживем так, как немногие из смертных!

Большие, темные глаза Рылеева засверкали, он сделал такой резкий жест рукой, что, казалось, воздух свистнул, как от сабли.

Однако ему тут же пришлось разочароваться в своей откровенности — многие офицеры засмеялись. Косовский стал доказывать Рылееву, что это пустая фантазия, что для этого нужны большие средства, да и охотников ехать в такую колонию среди дворян не сыщешь… Рылеев слушал молча и все больше бледнел от плохо сдерживаемого гнева. Наконец он дождался тишины и отчетливо проговорил:

— Вы не знаете моих мыслей и, конечно, не можете понять всего как следует, хоть бы я вам и объяснил. По моему мнению, вы жалкие люди и умрете в неизвестности.

Офицеры смеялись.

— А ты?

— Я надеюсь, что мое имя займет в истории несколько страниц, — кто из вас проживет долго, тот убедится в этом, — отвечал Рылеев.

Ему трудно было не делиться своими мыслями ни с кем, поэтому при другом случае он снова стал развивать перед товарищами свои теории. Его слушали охотно, но ничего не принимали всерьез.

— Господа, вы или не в состоянии, или не хотите понять, куда стремятся мои помышления, — сказал Рылеев, потеряв терпение. — Умоляю вас, поймите меня! Отечество ожидает от нас общих усилий для блага страны! Души с благородными чувствами постоянно должны стремиться ко всему новому, лучшему, а не пресмыкаться во тьме. Вы видите, сколько у нас зла на каждом шагу, так будем же стараться уничтожать его и все переменять на лучшее!

Призыв этот был как нельзя более ясен.

Но и он не достиг цели…

В хате, где жил Рылеев (это действительно была мазанка, крытая тростником, которого были целые заросли по Россоши), росла библиотека. Рылеев подписывался на новые издания, так, он получил в 1817 году из Петербурга «Опыты в стихах и прозе» Батюшкова, в двух томах, которые станут его любимым чтением. Молодой Никитенко во время ярмарки 8 сентября того же года, в День Рождества Богородицы, видел Рылеева в Острогожске. Никитенко с приятелем зашел в книжную лавку. «Там, у прилавка, нас уже опередил молодой офицер. Я взглянул на него и пленился тихим сиянием его темных я в то же время ясных глаз и кротким, задумчивым

Сражением всего лица. Он потребовал «Дух законов» Монтескье, заплатил деньги и велел принести себе книги на дом. «Я с моим эскадроном не в городе квартирую, — заметил он купцу, — мы стоим довольно далеко. Я приехал сюда на короткое время, всего на несколько часов: прошу вас, не замедлите присылкою книг. Я остановился (следовал адрес). Пусть ваш посланный спросит прапорщика Рылеева». Тогда имя это ничего не сказало мне, но изящный образ молодого офицера живо запечатлелся в моей памяти».

В этом же, 1817 году Рылеев едва не погиб.

Однажды, собираясь ехать по поручению командира роты в Острогожск, Рылеев пришел с Миллером на почтовую станцию в Белогорье и увидел там стоящее в углу необычного вида длинное ружье.

— Где приобрел такое добро? — спросил он смотрителя.

— Купил у мужика, который откопал его в степи из кургана.

— Заряжено?

— Кажется, нет. Три дня брат мой был с ним на охоте, но потом чистил его шомполом. Да и шомпол сломался.

Миллер слыл знатоком оружия. Он стал осматривать ружье, чтобы удостовериться, заряжено оно все-таки или нет. Рылеев стоял напротив. Комната была маленькая — три шага. Миллер сначала дул в отверстие ствола, а Рылеева попросил приложить руку к затравке.

— Ну как?

— Воздух проходит свободно, — отвечал Рылеев. Тогда Миллер взвел курок и попросил Рылеева посторониться.

— Да стреляй, стреляй из пустого ружья, — засмеялся Рылеев. — Я стоял уже дважды против пистолетных пуль, так не приходится прятаться от заржавленного ружья. Спускай курок!

В это мгновение раздался страшный грохот, сверкнул огонь — и заряд крупной волчьей дроби врезался в деревянную стену чуть выше правого плеча Рылеева.

Рылеев невольно сделал шаг влево и сказал смеясь:

— Эх ты, и убить-то не сумел.

Вскоре, как они часто делали летом, офицеры отправились из Белогорья на другой берег Дона, где к воде подступал лесок и где был прекрасный песчаный пляж. Уже на обратном пути, когда переезжали самую быстрину реки, Рылеев, сидевший на борту лодки, увидел плывущую по течению убитую дикую утку. Он потянулся, чтобы схватить ее, и упал за борт. Плавать он не умел и сразу стал тонуть. Лодочник бросил весла, ухватил Рылеева за одежду, но лодка накренилась, и он чуть сам не упал в воду. С большим трудом, но Рылеева удалось вытащить. Нечаянное купание обошлось ему дорого — то ли он продрог, то ли от испуга, а может быть, от того и от другого вместе, Рылеев заболел и пролежал с неделю в горячке.

Во время болезни он, как всегда, вел какие-то записи. Даже его ближайший друг, едва не убивший его прапорщик Миллер (кстати, отец его был исправником в Софийском уезде, бывал в Батове и хорошо знал мать Рылеева) не мог добиться у него, что он пишет. Когда Рылеев выздоровел и появился в белогорском штабе, между ним и офицерами завязался такой разговор:

— Скажите, Кондратий Федорович, довольны ли вы своей судьбой, которая, как кажется, лелеет и хранит вас на каждом шагу? Мы завидуем вам. Ни огонь, ни вода вас не берут!

— Что же тут мудреного? — с вызовом отвечал Рылеев. — Я уверен, что судьба никогда не перестанет покровительствовать тому гению, который ведет меня к славной цели.

Офицеры обступили его, лукаво перемигиваясь.

— Но в чем же заключается эта цель? — спросил один. — Ради бога откройтесь — если не всем сразу, то хотя одному по выбору. Вы молчите? Дурного же вы мнения о своих товарищах! А может быть, среди нас и нашелся бы такой, который смог бы умно обсудить с вами ваши идеи,

лишь бы они в самом деле клонились к пользе.

Рылеев молчал.

— Я не верю, что Кондратий Федорович попал на счастливую мысль, — сказал другой офицер. — Как благородный человек, он не стал бы таить сокровища от друзей. А мы готовы сочувствовать ему во всем хорошем и тут, в Белогорье, без поездки в Америку! Нет, нет! Он смеется над нами. Он силится доказать нам правоту того, чего не существует. Пустословием он прикрывает свою нелюбовь к службе, а из нас каждый чист совестью.

Рылеев спокойно смотрел в глаза говорящему. Третий офицер принялся его обличать:

— Итак, Кондратий Федорович, вы остаетесь при своем. Вы стремитесь к благородному, к великому! Но мы не замечаем в вас больше ума и способностей, чем в любом из нас, — проверьте себя, не вслепую ли вы идете? Вы спаслись от пули и потопления — не знаки ли это судьбы, которая ожидает, чтобы вы были осторожнее? Вы идете без цели.

Косовский вспоминает, что Рылеев ответил на все это так:

— Вижу, господа, что вы остаетесь в заблуждении. Я повторяю вам, что для меня решительно все равно, какою бы смертью ни умереть, хотя бы быть и повешенным. Но знаю и твердо убежден, что имя мое займет в истории несколько страниц.

Назвав эти слова Рылеева «безумием», офицеры разошлись.

Не открывая своих целей, Рылеев все же продолжал призывать товарищей к борьбе за свое человеческое достоинство. «Случалось временами, — вспоминает Косовский, — когда Рылеев начинал говорить о предметах, клонящихся до будущего счастия России, он говорил увлекательно, даже с жаром (причем возражений не терпел). В это время речь его лилась плавно… Он жестоко нападал на наше судопроизводство, карал лихоимство, доказывал, сколько зла в администрации!.. Нам же завещал свою мысль: не подчиняться никому, стремиться к равенству вообще и идти путем здравого рассудка».

Но и на это он получил язвительный ответ:

— Любезный Кондратий Федорович, часто мы слышим от тебя о всеобщем равенстве… Покажи нам пример: начни сам чистить платье и сапоги своему Ефиму да беги к колодезю за водой!

И все же сослуживцам Рылеева хорошо запомнилось многое из сказанного им. Косовский пишет, что Рылеев в то время «помешан был на равенстве и свободомыслии; часто говаривал: как бы скорее пережить тьму, в коей, по мнению его, тогда находилась наша Россия! Он предсказывал ей в будущности величие и счастие подданных, но не иначе, как с изменением законов, уничтожением лихоимства, а самое главное — удалить всех подобных Аракчееву, а на место их поставить Мордвиновых!»

Кажется странным, что сослуживцы не видели за всем этим определенной «мысли», ведь это уже были замыслы будущего декабриста… Вернее будет сказать, что они не хотели ничего видеть, так как Рылеев для них был всего только «прапорщик конной артиллерии», бедный дворянин, который ввиду перезаложенного крошечного именьица и долгов год целый не может завести нового белья, тогда как старое уж расползаться начало… Ну разве доступны великие дела на благо России подобным пигмеям? Так думали они. Однако великие люди, еще не совершившие того, что им предназначено судьбой, во все века живут и созревают на глазах у всех.

8

Мать Рылеева, Анастасия Матвеевна, летом жила в Батове, зимой — в Петербурге, в доме Петра Федоровича Малютина. Доходов от деревни едва хватало на уплату процентов по залогу да на полугодовые взносы в пансион Рейнбота за учение приемной дочери Аннушки. Петр Федорович — когда-то богатый генерал — к этому времени продал почти все свои деревни и едва имел чем прокормить жену и пятерых детей, — он был добрый человек, но хозяйственник плохой. Теперь он почти не имел возможности помогать Рылеевым.

Анастасия Матвеевна в каждом письме жаловалась на плохие дела, и Рылеев просил у нее денег только в самой крайности, когда уже мундир от ветхости начинал блестеть и рваться. «Не однажды, — пишет Рылеев матери, — среди самого веселого общества, взирая на прочих товарищей, на лицах коих светлели беспечность и удовольствие, ничем не отравляемые, задумывался и говорил сам себе: «Почему подобно им и я не могу быть счастливым?» — Так протекло около четырех лет; в продолжение оных я непрестанно придумывал средства, кои бы, поправив домашние обстоятельства, могли спокойствие ваше сделать прочным».

В это время в жизни Рылеева назревали две перемены: неожиданно для себя он обнаружил, что влюблен в одну из своих учениц — Наташу Тевяшову, и вскоре решил жениться, а еще — он задумал выйти в отставку. Последнего он и сам желал, но того же у него требовали командир батареи Сухозанет и старик Тевяшов, не хотевший отдавать дочь за военного, за перекати-поле, который сегодня здесь, а завтра — бог весть! Женитьбой и отставкой, как думал Рылеев, решалось и другое важное дело — благополучие матери, так как он предполагал решительно взяться за благоустройство разоренного Батова.

Тем не менее в замыслах Рылеева не было никаких Расчетов, все шло как бы само собой. Это касается прежде всего женитьбы. Как писал Косовский, «прежде Рылеев был тех мнений и старался всегда доказывать в своем сочинении в стихах (после им самим уничтоженное), что брачная жизнь «ни к чему не ведет, а тем более для человека, постоянно озабоченного серьезным делом и не имевшего средств к жизни», но, когда влюбился в Наталью Михайловну, он не мог уже владеть собою». Наталия Михайловна отвечала Рылееву взаимностью.

Д. Кропотов в своей краткой биографии Рылеева приводит рассказ, сохранившийся в семейных преданиях, романтический, но малодостоверный. Рылеев однажды будто бы вошел в кабинет Тевяшова и сказал:

— Я люблю вашу дочь и прошу ее руки.

Старик засуетился, захлопотал, усадил его в кресло и, расхаживая по комнате, начал осторожно и туманно доказывать, что этот союз невозможен.

— Я люблю вашу дочь, — прервал его Рылеев, — и решился не выходить из этой комнаты до тех пор, пока не получу вашего согласия.

— Что вы хотите этим сказать? — опешил старик. — То, что я не выйду отсюда живым, — сказал будто бы Рылеев и вынул из кармана пистолет.

Тевяшов быстро схватил его за руку и воскликнул с большим волнением:

— Да подумайте же, батюшка, хотя о том, что если бы я и согласился на ваш брак, то не могу же я принудить к тому свою дочь!

И тут будто бы отворилась дверь, дочь с рыданиями бросилась на шею отцу: «Папенька, или за Кондратия Федоровича, или в монастырь!» — и упала без чувств.

Бедному старику ничего больше не оставалось, как сдаться, да, впрочем, он и с самого начала не был особенно против.

В сентябре 1817 года Рылеев писал матери о своей невесте: «Не будучи романистом, не

стану описывать ее милую наружность, а изобразить же душевные ее качества почитаю весьма слабым… Ее невинность, доброта сердца, пленительная застенчивость и ум, обработанный самою природою и чтением нескольких отборных книг, — в состоянии соделать счастие каждого, в коем только искра хоть добродетели осталась. Я люблю ее, любезнейшая матушка, и надеюсь, что любовь моя продолжится вечно… Итак, любезнейшая матушка, от вас зависит благословить сына вашего и, позволив ему выйти в отставку, заняться единственно вашим и милой Наталии счастием».

Анастасия Матвеевна не спешила с благословением, она отвечала сыну обстоятельно, рисуя не очень радостные картины: «Тебе, мой друг, известно, деревня не так велика, ревизских душ 42, а работников 17, то сам посуди, сколько они могут поработать: земля у нас не такая, как там, где ты теперь; долгу на мне много, деревня в закладе, тебе известно, что я насилу могу проценты платить, и то с помощью друга моего Петра Федоровича, а что пишешь в рассуждении женитьбы, я не запрещаю: с богом, только подумай сам хорошенько, — жену надо содержать хорошо, а ты чем будешь ее покоить?.. Посуди сам, Наталья и ты будете горе терпеть, а я, глядя на вас, плакать. Я советую тебе как мать и друг твой верный, подумай хорошенько и скажи невесте и родителям ее правду, сколько ты богат, то я не думаю, чтоб они захотели бы, чтоб дочь их милая терпела нужду».

Была у Анастасии Матвеевны и еще причина для того, чтобы отговаривать сына от женитьбы, открывшаяся позднее: она, оказывается, уже приглядела ему невесту в семье помещика Эртеля, которой тогда было только тринадцать лет (нужно было ждать года два-три, пока она подрастет). Эта невеста не была бедна, как Тевяшова, за которой давали всего 15 душ в приданое. Сын неожиданно нарушил заботливые, но скрытные расчеты матери.

Не советовала Анастасия Матвеевна сыну и в отставку выходить: «И служба и чин твой так малы, если и в статскую службу идти по твоему чину, то я не знаю, какое место».

Рылеев отвечал: «Знаю, что неприлично в такой молодости оставить службу, и что четырехлетние беспокойства недостаточная еще жертва с моей стороны отечеству и государю… Но разве не могу и не в военной службе доплатить им то, чего недодал в военной?» И в другой раз: «Человек родится не для других только, он должен заботиться и о себе — и потому, кажется, довольно для государя пяти лет: пора подумать и о своих!»

Предлог отставки — «расстроенное имение, год от году более и более уменьшающееся», действительная же причина ее видна из следующих слов Рылеева: «Для нынешней службы нужны подлецы, а я, к счастию, не могу им быть».

Все обстоятельства складывались в пользу отставки.

Еще одно — дуэль прапорщика Миллера с командиром батареи подполковником Сухозанетом, в которой Рылеев участвовал в качестве секунданта Миллера.

Рылеев писал о причинах дуэли: «Сухозанет, дабы перессорить между собой офицеров, представил младших к повышению чинов. Эти догадались и все пошли к нему. Те, которых он представил, сказали ему, что они не чувствуют, дабы они сделали для службы что-либо отличное противу своих товарищей, а те, которых он хотел было обойти, сначала довольно учтиво, а наконец, видя, что он не унимается, с неудовольствием доказывали ему, как он несправедлив. Видя же, что и это его не трогает, все офицеры, и представленные и обойденные, подали к переводу в кирасиры».

При этом споре прапорщик Миллер вспылил в ответ на какую-то дерзость Сухозанета и дал ему пощечину. Таким образом офицеры батареи, сослуживцы Рылеева, на своем собственном опыте убедились, что подлость и тупая грубость глубоко гнездятся в армейском быту. Дуэль состоялась в Белогорье в июне 1818 года, Миллер был ранен в руку и подал в отставку. Все офицеры батареи договорились покинуть эту роту.

Рылеев уже ожидал приказа о своей отставке, когда его роте назначен был поход — 1 января 1819 года она выступила на новые квартиры в город Рыльск Курской губернии.

В конце декабря 1818 года Рылеев пришел проститься с офицерами. Когда подняли бокалы, он сказал:

— Господа! Я был несколько лет вашим сослуживцем и скверным слугою царю. Вы поделом не любили меня как ленивца, но, признаюсь, я любил вас всех, кроме двух, — Рылеев указал на этих офицеров и продолжал, — но и с их стороны не было желания сойтись со мною. Жалею сердечно, что все вы не хотели понять меня. По крайней мере, не забывайте то, что я говорил вам о будущей судьбе России, легко может статься, что спустя лет пять все изменится к лучшему.

«Мы, — пишет Косовский, — пожелали ему скорее соединиться навсегда с бывшею своею ученицей и наслаждаться семейным счастием, бросить неверные идеи свои, не полагаться на судьбу, которая так немилосердно и часто играет участью смертных!»

Прощание с офицерами батареи Рылеев заключил так:

— Я не сойду с избранного мною пути, ибо твердо убежден в предприятии своем, и вы увидите скоро… Это время не за горами. И я надеюсь, что тогда-то вы оправдаете меня. А до того — прощайте, господа! Не забывайте ленивца Рылеева.

«Мы обнялись, — пишет Косовский, — поцеловались и расстались навсегда!»

Военная служба Рылеева кончилась. В начале января 1819 года в газете «Русский инвалид» Рылеев прочитал правительственный указ, по которому «Конноартиллерийской № 12 роты прапорщик Рылеев увольняется от службы подпоручиком по домашним обстоятельствам».

Теперь можно было и свадьбу справлять. Ее назначили на 22 января. На семейном совете было решено, что молодые летом поедут погостить в Батово, к Анастасии Матвеевне. Рылеев же рассчитывал попытать счастья и в самом Петербурге, может быть, если найдется служба — остаться вместе с женой жить там.

Наталья Михайловна, Наташа, Натанинька или Ангел Херувимовыа, как называл Рылеев свою невесту, была счастлива; она была любима и любила сама… Вместе со своей старшей сестрой Анастасией, которая также готовилась выйти замуж (ее женихом был молодой соседский помещик), Наташа нередко перечитывала стихи Рылеева в своем альбоме. Стихи эти были непритязательными по форме, а по духу напоминали песни и анакреонтику Дмитриева, Нелединского-Мелецкого, Василия Пушкина, Батюшкова и раннего Жуковского.

Тут были баллада под названием «Людмила», элегия «Тоска» — подражание Тибуллу, вольный перевод любовного стихотворения Сафо. Стихи о любви к Наташе тоже во многом традиционны, однако в них есть неподражаемое изящество, душевная чистота и безусловная искренность.

Рылеев сравнивает себя с мотыльком, порхающим «вкруг огня»; он обращается к надежде — своему «вожатому в жизни»:

Помогай мне заблуждаться,
Что любим Наташей я,
Что настанет наслаждаться
Скоро час и для меня!

В «Песне» («Кто сколько ни хлопочет…») Рылеев признается, что он «не верил прежде могуществу любви», что он «любовь химерой звал» и влюбленный был для него то же, что слабый волей человек. В стихотворении «Мечта» («мечта» здесь в смысле видения или сна)

«целый полк» амуров завязали юноше глаза, повели куда-то и потом сняли повязку:

Смотрю — вожатых скрылся
Отважный шумный рой!
Смотрю… я очутился,
Наташа! пред тобой!

В день ангела он пишет Наташе, что «есть красивее, но нет милей тебя»; то же в «Акростихе»: «Есть на свете милых много, верь, что нет тебя милей». Во время недолгой разлуки он вспоминает о счастливых днях:

Как сладко вместе быть!.. Как те часы отрадны,
Когда прелестной я могу сто раз твердить:
«Люблю, люблю тебя, мой ангел ненаглядный;
Как мило близ тебя! Как сладко вместе быть!»

Но Рылеев не был бы Рылеевым, если бы мотив дела, долга не блеснул хотя бы на миг даже среди любовных объяснений. И вот появляется, очевидно, в начале 1818 года стихотворение «Резвой Наташе»:

Наташа, Наташа! полно резвиться
И всюду бабочкой легкой порхать,
С роем любезных подружек кружиться
И беспрестанно прыгать, играть.

Всему есть, мой ангел, час свой! Кто хочет
С счастием в мире и дружестве жить,
Тот вовремя шутит, пляшет, хохочет,
Вовремя трудится, вовремя спит.

Если ты *разнообразить* не будешь,
Вечное то же наскучит тебе;
Ах тогда прыгать, резвиться забудешь
И позавидуешь многим в судьбе!

Если ж желаешь иметь ты веселье
Спутником вечным, — то вот мой совет:
Искусно мешай между делом безделье,
Но не порхай лишь на поле сует!

Рылеев сознавал литературную слабость своих стихов о любви — он ведь не был ни самонадеянным графоманом, ни беспечным и бездумным самоучкой, стихотворцем для домашнего употребления. Просто для Рылеева-поэта не пришло еще время. Скоро, очень скоро пробьет и его час, тогда как бы оденутся в рифмы неизвестные нам, не дошедшие до нас его «деловые записки», которые он не показывал даже близким друзьям, зажгутся ярким светом в

стихотворных строках те «странные» идеи, которые он так горячо пытался проповедовать сослуживцам по полку. В 1817 или 1818 году среди приятных и легких стихов Рылеева в альбоме его невесты вдруг появляется угрюмое, полное внутренней боли «Извинение»:

Прости, что воин дерзновенный,
Желая чувствия свои к тебе излить,
Вожатого не взяв, на Геликон священный
Без дарования осмелился ступить.
…Ах, сколько надобно иметь тому искусства —
Оттенки нежные страстей изображать,
Когда желает кто свои сердечны чувства
Другому в сердце излиять!
Но ах! Сей дар мне не дан Аполлоном,
Я выражаться не могу;
Не лира мне дана в удел угрюмым Кроном,
А острый меч, чтобы ужасным быть врагу!

Рылеев уже твердо знает, кто его враг, — счастье соединения с любимой не ослепило его. Больше того: чувствуется, что он не в силах был отдаться любви всей душой, что какая-то тревога, какой-то роковой пламень жжет его и в «любви счастливом упоенье…». Трудно одним словом обозначить то, что стояло в душе Рылеева выше самых сильных страстей и желаний.

В 1819 году Рылеев выезжал из Подгорного в Острогожск, Воронеж и Харьков, где учился в пансионе младший брат Тевяшовой, Михаил. В Воронеже Рылеев выполнял какие-то последние поручения по службе — ему приходилось бывать в комиссариатских складах, в губернских присутственных местах. Ничто не ускользало от взора отставного подпоручика — ни привычное лихоимство судейских, ни обмеривание покупщиков в лавках, ни грубость полиции по отношению к народу. Про солдат и говорить нечего — Рылеев был несколько лет свидетелем их тяжелой жизни. Никитенко пишет в своих воспоминаниях об одном офицере, стоявшем в Острогожске, — командире лейб-эскадрона Московского драгунского полка Макарове: «Хладнокровно, чтоб не сказать равнодушно, без тени негодования или вспышки гнева расправлялся он с солдатами, за самые ничтожные проступки карая их палками, розгами, фухтелями, а то и просто зуботычинами… Непостижимо, откуда денщик Макарова и эскадронный вахмистр Васильев набирались физических сил — не говорю о нравственных, буквально забитых, — чтобы переносить истязания». О другом офицере того же полка Никитенко говорит, что он «наслаждался, когда по его приговору до полусмерти забивали и засекали несчастных солдат». Обуздать их было трудно, так как они, пишет Никитенко, «действовали в пределах закона». Законы же, особенно армейские, в то время прямо соотносились с мрачным именем всесильного временщика Аракчеева, и Рылеев это очень остро и болезненно чувствовал.

Когда Рылеев получил в Подгорном второе издание восьмого тома «Истории государства Российского» Карамзина, он увидел свое имя на одной странице с именем «графа Алексея Андреевича Аракчеева» в списке «Имена особ, подписавшихся на второе издание «Истории государства Российского». В том же списке были Петр Яковлевич Чаадаев, Никита Михайлович Муравьев и еще одно лицо, любопытное во многих отношениях (о нем речь будет впереди), — «Казанского собора ключарь иерей Петр Николаевич Мысловский». Аракчеев читал и понимал русскую историю по-своему — и по-своему ее делал. Чаадаев, Муравьев и Рылеев, тогда еще не

знавшие друг друга, тоже читали «Историю» Карамзина, каждый по-своему, но все они вынашивали планы противостояния аракчеевщине, то есть антиистории, так или иначе все они собирались уничтожить эту зловещую силу, этот дух мучительства и тьмы. Ключарь петербургского Казанского собора также не был на стороне сил туповластолюбивых и немилосердных.

В народе Аракчеев слыл антихристом. Высшие сановники за глаза называли Аракчеева «проклятым змеем» (например — министр двора П.М. Волконский). Журналист Греч назвал Аракчеева «китайским богдыханом». Аракчеев управлял Россией, но не был патриотом: в 1812 году он так сказал: «Что мне до отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь». В этих словах отчетливо выказалось его понимание истории. Аракчеевщина была не только физическим гнетом для русских людей, она грозила им духовной смертью.

Рылеев читал Карамзина. Сам затевал исторические труды, например «Исторический словарь русских писателей», для которого в 1818 и 1819 годах составлял списки источников, перечни имен, делал выписки, наброски статей — о Фонвизине, Богдановиче, Акиме Нахимове, Григории Сковороде, Симеоне Полоцком, Тредьяковском, Геракове. Но материалы этого словаря — только случайно уцелевший остаток многочисленных прозаических трудов, которыми Рылеев занимался в то время.

Однако главным увлечением Рылеева была поэзия.

Именно в 1819 году в слободе Подгорное Рылеев, счастливый молодой супруг, читая только что купленную книгу — «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михаила Милонова», уроженца Воронежской губернии, вдруг прямо-таки подскочил на стуле, захлопнул книгу и выбежал с нею в сад…

Царя коварный льстец, вельможа напыщенный,
В сердечной глубине таящий злобы яд,
Не доблестьми души — пронырством вознесенный,
Ты мещешь на меня с презрением твой взгляд!

Так начиналось стихотворение Милонова «К Рубеллию» с подзаголовком «Сатира Персиева» (это была маскировка, так как у древнеримского поэта Персия такой сатиры нет). Рылеев всей душой почувствовал, что русский сатирик хлещет здесь ювеналовским бичом всесильного временщика, самого Аракчеева.

...Бесславный тем подлей, чем больше ищет славы!
Что в том, что ты в честях, в кругу льстецов лукавых,
Вельможи на себя приемлешь гордый вид,
Когда он их самих украдкою смешит?

Сколько твердости, спокойного достоинства в неспешной поступи александрийского стиха!
...Гордися, окружен ласкателей собором,
Но знай, что предо мной, пред мудрых строгим взором,
Равно презрен и лесть внимающий и льстец.
Наемная хвала — бесславия венец!
Последняя строфа — последний беспощадный удар:
Ты думаешь сокрыть дела свои от мира —
В мрак гроба? но и там потомство нас найдет:
Пусть целый мир рабом к стопам твоим падет,
Рубеллий! трепещи: есть Персий и сатира!

Милонов как будто подал Рылееву тот «меч», о котором он упомянул в своем «Извинении», обращенном к Наташе Тевяшовой («Не лира мне дана… а острый меч»). Рылеев принял его и стал оттачивать для еще более решительных, чем милоновские, ударов. Рылеев дал своей сатире и более прозрачное название: «К временщику»; по сути это был точный адрес. В подзаголовке он сохранил милоновскую маскировку: «Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию».

Может показаться неожиданным и странным такой поворот — к бичующей сатире от галантной поэзии, но именно в практике столпов сентиментализма уживались мадригал и сатира. Лучший тому пример — любимый Рылеевым наряду с Державиным поэт Дмитриев, который вслед за «надписями к Амуру», песнями о ручейках и голубках, обращениями к Лизе, Эльвире и Хлое писал басни и сатиры, а сатиры именно классическим александрийским стихом — «Сокращенный перевод Ювеналовой сатиры о благородстве», «Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» и особенно блистательный, прославленный в то время (1790-1800-е годы) «Чужой толк».

Вряд ли Рылеев рассчитывал напечатать то, что он написал о временщике, — это казалось невозможным. Но дворянство, особенно военное, Аракчеева ненавидело и в разговорах между собой открыто его порицало. Рылеев читал свою сатиру в Белогорье у Михаила Григорьевича

Бедраги, бородинского ветерана, без сомнения, при этом были и другие острогожские знакомые Рылеева, может быть, и братья его жены, Алексей и Иван Тевяшовы, молодые, но уже отставные офицеры. Конечно, всем им была известна сатира Милонова, но «подражание» Рылеева поразило их беспримерной смелостью:

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец…

Можно себе представить, как мастерски и как пламенно декламировал это Рылеев, как сверкали вдохновением и гневом его глаза:

…Тиран, вострепещи! родиться может он,
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!

Тогда же стихотворение разошлось в списках и присоединилось к сонму русских потаенных произведений, воспитывавших в читателе патриотизм и гражданскую честность. Так Рылеев, уже давно мечтавший о делах во благо России, совершил свой первый гражданский подвиг. Он сказал правду:

Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злобные души не утаишь.
Твои дела тебя изобличат пароду;
Познает он — что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты…
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!
Но если злобный рок, злодея долюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!

…23 августа 1819 года Рылеев отправился с женой к матери в Батово. Выехали они в собственном экипаже, на своих лошадях, поэтому приходилось делать долгие, иногда по два-три дня, остановки в Воронеже, Туле, Москве, Твери, Новгороде, — это и было свадебное путешествие молодых. Снабженные рекомендательными письмами от родных и соседей, Рылеевы везде находили гостеприимный кров, отдых, посещали театры, бывали на вечерах и гуляниях. В Батово прибыли около 20 сентября, когда уже закружились в волнах быстрого

Оредежа золотые листья. Тихая и скромная Наталья Михайловна сразу пришлась по сердцу Анастасии Матвеевне, но уже в конце осени уехала назад, в Подгорное, а Рылеев с матерью остался зимовать в Петербурге, в доме Петра Федоровича Малютина.

Рылеев должен был в Петербурге заняться каким-то затяжным делом стариков Тевяшовых, вероятно — касающихся залога их имения, но главное — он решил завести знакомства среди литераторов, печатать стихи, может быть — найти единомышленников, с кем вместе можно было бы думать о будущем и что-то делать для блага России. Мечтал он также сыскать в Петербурге службу, обосноваться своим домом и уж тогда вызвать к себе жену. В этих хлопотах встретил он зиму.

Он познакомился с Александром Измайловым — журналистом и баснописцем, автором грубоватых, но ярких по языку и содержанию басен, за которые его звали «русским Теньером», чем он очень гордился. Измайлов с 1818 года издавал журнал «Благонамеренный» и был руководителем так называемого Михайловского литературного общества — то есть Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Измайлов взял у Рылеева для напечатания в «Благонамеренном» несколько стихотворений.

Рылеев ежедневно бывал в книжной лавке Ивана Васильевича Оленина, находившейся тогда в Гостином дворе. Эта лавка была своеобразным писательским клубом. Здесь можно было читать разные журналы и газеты. Желающим приказчик подавал обычное в оленинской лавке угощение — квас-пенник и ржаные пироги с луком. В лавке Оленина Рылеев познакомился с Пушкиным, Кюхельбекером, Дельвигом. Пушкину он тогда не очень понравился. Пушкин, как вспоминает Плетнев, «подсмеивался над неумеренными суждениями Рылеева, над его отзывами о европейской политике». Максимализм Рылеева казался Пушкину наигранным, позднее он убедился в своей ошибке. Но после нескольких столкновений в лавке Оленина чуть было не произошла катастрофа — едва не состоялась дуэль между ними.

Пока не коротко, а шапочно, но Рылеев перезнакомился со всем литературным Петербургом. С Гречем, издателем журнала «Сын Отечества». С Гнедичем, стихи которого Рылеев давно знал и любил, — его восхищали и отрывки из перевода «Илиады», сделанные гекзаметром, которые Гнедич публиковал в разных изданиях начиная с 1813 года. А в сезон 1819/20 года в Петербурге была возобновлена постановка трагедии Вольтера «Танкред», стихотворного перевода, сделанного Гнедичем в 1809 году, — для этой, новой постановки Гнедич усилил все те места пьесы, где звучат патриотические и вольнолюбивые мотивы. У Рылеева было издание этой трагедии 1816 года, где он делал свои читательские пометки. Гнедич обращался с текстом Вольтера свободно, стремясь приблизить его к русской общественной жизни. Выражения «свобода», «вольность», «народ», «сын отечества», «герой-мститель», «царь», «тиран», «раб», «кесарь надменный», «бич народных прав, законов и свободы», «иго варварское», «бремя рабских уз», «развратный гражданин» невольно заставляли думать о положении русского народа, об аракчеевщине, как раз в это время переживавшей пору расцвета. Духом гражданственности овеян и гнедичевскии перевод «Илиады» Гомера. Рылеев, автор сатиры «К временщику», чувствовал в Гнедиче единомышленника, настоящего российского гражданина, поэта-патриота.

Здесь же, в лавке Оленина, гостеприимного и просвещенного книгопродавца, Рылеев подружился с двумя молодыми людьми, скромными чиновниками (один — Департамента горных и соляных дел, другой — Газетной экспедиции), Иваном Сниткиным и Гавриилом Крутиковым, начавшими в сентябре 1819 года издавать «Невский Зритель» — журнал, который сыграет в судьбе Рылеева значительную роль. В «Невском Зрителе» будут печататься Пушкин, Глинка, Кюхельбекер, Дельвиг, Григорьев и другие петербургские поэты. Молодые издатели, может быть, не без влияния бесед с Рылеевым, зажглись желанием проповедовать гражданские

добродетели — они взяли у Рылеева сатиру «К временщику» и поклялись во что бы то ни стало напечатать ее.

Службу найти не удалось. В феврале 1820 года Рылеев вернулся в Подгорное. 23 мая Наталья Михайловна родила дочь, которая в честь матери Рылеева была названа Анастасией.

Рылеев не сидел сложа руки — что-то писал, конечно, много читал и еще больше размышлял. В свободное время он с удовольствием занимался «хозяйством», то есть ходил на конюшни и в скотные дворы, где разговаривал с работниками, косил траву с мужиками, что вообще не было редкостью для молодых дворян того времени (даже гусар Денис Давыдов вставал в ряд с косарями). Охотился в степном Придонье вместе с Бедрагой и братьями жены. Много ездил верхом. Посещал ярмарки.

Еще весной Измайлов прислал в Подгорное два мартовских номера — пятый и шестой — «Благонамеренного», где были напечатаны стихи Рылеева — две эпиграммы и мадригал под названием «Романс» с повторяющейся в каждой строфе строкой «Как счастлив я!», в котором крайне непритязательная сквозная рифма к «я» («тебя-я», «съединя-я», опять «тебя-я» и еще дважды «меня-я») ничуть не кажется бедной, так как стихи музыкальны, изящны и напоминают лучшие образцы ранней лирики Жуковского нежностью искреннего чувства, приглушенными тонами радости и счастья и вместе с тем — скрытой за видимой простотой сложностью формы. В этих стихах, как и в следующих, элегии «К Делии. Подражание Тибуллу», напечатанной также в «Благонамеренном» (в июле того же года), Рылеев обращается к своей жене со словами любви. В элегии он иносказательно приветствует свое скромное подгорнское бытие:

С тобой мне, Делия, и домик мой убогий
Олимпом кажется, где обитают боги;
Скудельностью своей и скромной простотой
Он гонит от себя сует крылатых рой;
И я за миг один, с тобой в нем проведенный,
Не соглашуся взять сокровищ всей вселенной.

Но все-таки на этом «Олимпе» ему было тесно, его тянуло в Петербург — дух бойца-гражданина все более властно призывал его к действию. Нашелся и предлог для поездки — все те же дела Тевяшовых в Сенате, а также поиски службы для себя. Выехал он один, распрощавшись с женой и дочерью-крошкой. На этот раз его резво мчали от станции к станции казенные лошади, и немилосердно прыгала и качалась на лету перекладная тележка…

Рылеев появился в Петербурге как раз после возмущения гвардейского Семеновского полка — волна восстаний докатилась до столицы (летом 1819 года в аракчеевских военных поселениях восстали Чугуевский и Таганрогский уланские полки и было арестовано более двух тысяч солдат). Семеновский полк в гвардии был на особенном положении — его шефом был сам император. Единственно только в нем не применялись телесные наказания: лучшей привилегии для тех времен нельзя и придумать — этого добился командир полка генерал Потемкин. Мемуарист Вигель вспоминал, что «семеновед в обращении с знакомыми из простонародья был несколько надменен и всегда учтив. С такими людьми телесные наказания скоро сделались ненужными, изъявление неудовольствия, сердитое слово были достаточными исправительными мерами. Все было облагорожено так, что, право, со стороны было любо-дорого смотреть».

Большинство солдат полка было грамотным, читало журналы и газеты, в чем способствовали им офицеры, среди которых было много будущих декабристов: Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Трубецкой, Чаадаев, Якушкин, Бестужев-Рюмин, Шаховской. Однако для Аракчеева этот полк был подобен гвоздю в сапоге — он не допускал и мысли, что без палок солдат может быть верным слугой царю. Он был убежден, что офицеры-семеновцы нарочно просвещают солдат, отбивая у них этим охоту к службе и уважение к начальству. Он и его приспешники (а это была довольно большая часть гвардейского офицерства) считали, что Семеновский полк подает дурной пример другим. К императору стали поступать многочисленные доносы. Наконец Аракчеев убедил его, что в полку нужно сменить командира, так как Потемкин не умеет или не хочет бороться с либерализмом солдат и офицеров.

Аракчеев знал, что обстановка благоприятствует его внушениям царю, так как именно в этом году произошли революционные события в Пьемонте, Неаполе, Испании. На конгрессе в Троппау в ноябре этого года было принято решение о «праве вмешательства» союза России, Австрии и Пруссии в дела других европейских государств для подавления в них революций.

Будучи за границей, стараясь навести «порядок» в Европе, царь получал из России одно неприятное известие за другим: офицеры Семеновского полка образовали какое-то подозрительное общество, «артель», вместе обедают, учатся; это его раздражало («Для чего учатся?»). Крестьянские бунты в России, мелкие и крупные, следовали один за другим: в течение только лета и осени 1820 года в Олонецкой, Воронежской, Минской, Тульской, Екатеринославской, Гродненской, Могилевской, Рязанской, Казанской, Тамбовской, Пермской, Тверской губерниях и на Земле Войска Донского. В некоторых губерниях были убиты при этом несколько помещиков. В крестьян стреляли. Их судили, сажали в тюрьму, били кнутом, штрафовали, ссылали в Сибирь…

Были у Александра и семейные неурядицы — великий князь Константин Павлович развелся со своей супругой, великой княгиней Анной Федоровной, и женится на польке, княгине Лович, а так как она не принцесса, то Константин теряет право наследования российского престола, но Константин и не против того, он готов заранее написать отречение…

И вот вести о Семеновском полку. Этот полк, хотя и любимый, вызывал у царя некоторые неприятные воспоминания — ведь именно семеновскими офицерами были убийцы его родителя, императора Павла. Чернить Семеновский полк ревностно помогал Аракчееву и младший брат Александра I — Михаил Павлович, знаток фрунта, бригадный генерал, который, по словам Вигеля, с малолетства не терпел «ничего ни письменного, ни печатного». Он-то и предложил заменить командира Семеновского полка генерала Потемкина неким полковником Шварцем, «чудесным фронтовиком», встреченным им в Калуге где тот забил насмерть половину

Калужского гренадерского полка, которым командовал. Михаил Павлович считал, что Шварц «выбьет дурь» и из семеновцев, устранив этим опасность возможного солдатского восстания.

Но вышло как раз наоборот — именно Шварц и вызвал восстание. Он явно перестарался. Заслуженных солдат, героев Отечественной войны, этот «пришлец иноплеменный» на русской службе лишил всякого отдыха и принялся тиранить с зверским ожесточением, проявляя сноровку профессионального палача. С мая по октябрь семеновские солдаты получили в совокупности 14 250 палочных ударов. Шварц изобретал новые наказания, например, пытку под видом учения — смотры «десятками», вызывая к себе солдат на квартиру, где учил их «тонкостям» шагистики, заставлял часами стоять неподвижно, связывал им ноги в лубки и т. п. Он наказывал за малейшую неисправность в обмундировании, но времени на чистку и починку его солдатам не оставлял. Все приходило в ветхость. Но Шварц не отпускал солдат и на заработки, как это было раньше. Амуниция была неудобная — толстые ремни целый день сдавливали грудь, а твердые, как дерево, краги — ноги. Даже бывалые солдаты с трудом переносили долгие учения в парадной форме.

Ротные и взводные офицеры пытались помочь солдатам, но мало что могли сделать. Командир полка имел неограниченную власть.

И вот разразилась катастрофа. Однажды во время краткой передышки солдаты разошлись было, но вдруг раздалась команда строиться: неожиданно появился Шварц. Один солдат, отходивший по нужде, не успел застегнуть мундира и так встал в строй. Шварц подбежал к нему, плюнул ему в лицо, взял за руку и повел перед строем, приказывая всем также плевать ему в лицо.

— В этот же день он отдал приказ о наказании награжденных орденами солдат-ветеранов, даже по уставу не подлежащих телесным наказаниям. Вечером первая — «государева» — рота заявила ротному командиру от имени всего полка, что не будет больше служить под командой Шварца. Вся эта рота была арестована и отправлена в Петропавловскую крепость.

Утром взволновался весь полк. Шварц, испугавшись за свою жизнь, скрылся из полка и больше там не показывался. Командование не знало, что делать, так как другие гвардейские полки могли отказаться подавлять семеновцев. Петербургский генерал-губернатор Милорадович приехал уговаривать солдат повиноваться, но семеновцы упорно отказывались от Шварца. Никакого, вооруженного сопротивления они не оказывали. Мало того, узнав, что первая рота сидит в крепости, остальные роты добровольно двинулись туда же: «Где голова — там и ноги».

Когда Рылеев приехал в Петербург, то здесь только и было разговору, что о семеновцах. Все осуждали Шварца, жалели солдат, которые вели себя в этой истории с удивительной выдержкой и благородством. Благодаря настоянию Аракчеева Семеновский полк был раскассирован — все солдаты и все офицеры были разосланы по провинциальным полкам. Был набран целиком новый Семеновский полк, с которым другие гвардейские полки долго не могли примириться.

Но Александр I в эти дни писал Аракчееву нечто совсем другое: «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца. Он был всегда известен за хорошего и исправного офицера… Отчего же вдруг сделаться ему варваром?.. По моему убеждению, тут кроются другие причины. Внушение, кажется, было не военное, ибо военный умел бы их заставить взяться за ружья, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял… Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам, которые, по доказательствам, которые мы имеем, в сообщениях между собою и коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау».

Это поистине удивительное признание: бунт полка в Петербурге царь приписывает козням международной тайной революционной организации, ветви которой, как ему кажется, есть и в

России. Дело, как ему казалось, шло к подрыву единения европейских монархов, а потом… Александр I ошибался. Сейчас точно установлено, что ни один офицер, включая будущих декабристов, во время возмущения полка не был помощником солдатам. Русские тайные общества еще не созрели для открытого выступления против старого порядка. Позже, в 1824 году, бывший семеновский офицер М.И. Муравьев-Апостол писал брату Сергею, тоже бывшему семеновцу, об этой истории: «Нашелся ли офицер Семеновского полка, готовый подвергнуться расстрелянию?.. Вы мне скажете, какая от этого была бы польза? Но дело не в возможной от этого пользе, а в том стремлении к другому порядку вещей, Которое это означало бы».

Впоследствии и Рылеев будет вспоминать восстание Семеновского полка как упущенную возможность хорошей встряски аракчеевского режима.

Расформировав взбунтовавшийся полк, разбросав солдат по губерниям, правительство пребывало в мучительных сомнениях. Великий князь Константин писал Александру, что «он сам заразил всю армию, разослав в ее недра семеновцев… Это распространит заразу повсюду». Константин был недалек от истины: декабристы, особенно в Южной армии, весьма рассчитывали на бывших семеновских солдат как на прекрасную агитационную силу среди солдатских масс.

Аракчеев, зверски подавивший бунты в военных поселениях, зорко «предупредивший» восстание всей гвардии против правительства, пожертвовав для этого Семеновским полком, оказался на гребне могущества. Большинство государственных деятелей выслуживалось перед ним. «В том положении, в каком была и есть Россия, никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея другого определенного звания, кроме принятого им титла «верного царского слуги», — писал Николай Бестужев. — Этот приближенный вельможа под личиной скромности, устраняя всякую власть, один, незримый никем, без всякой явной должности в тайне кабинета Ерацал всею тягостью дел государственных, злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления. Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно ему, сему невидимому Протею — министру, политику, царедворцу; не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр; не было происшествия, которое бы не отозвалось в этом дионисиевом ухе. Где деспотизм управляет, там утеснение — закон: малые угнетаются средними, средние большими, сии еще высшими; но над теми и другими притеснителями, равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик. Одни карались за угнетения, другие за жалобы. Все государство трепетало под железною рукою любимца правителя. Никто не смел жаловаться: едва возникал малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей».

Александр I, презиравший корыстных царедворцев, не считал таковым Аракчеева — «змея» он действительно считал своим другом, а тот не без ловкости поддержи вал в нем это о себе мнение. Аракчеев возвращал царю пожалованные им ордена. В ответ на усиленные просьбы царя принять награду Аракчеев ответил, что согласится принять лишь «подарок друга», а не награду, — и ему был поднесен миниатюрный портрет императора, который и был надет Аракчеевым на шею. Однако, когда в 1825 году, умирая, Александр призвал Аракчеева в Таганрог, «друг» пренебрег этим призывом.

Внешне это был сдержанный и мрачноватый генерал в темно-зеленом артиллерийском мундире и треуголке. Ездил он в скромной, даже потертой карете, запряженной шестеркой костлявых артиллерийских лошадей. Никакого блеска, никакой роскоши. Только долг, служба… Он как туча проползал на своих клячах по Петербургу, и казалось, даже собаки у ворот пугливо поджимали хвосты.

Надо думать, что у него под самым носом, в правительствующем Сенате, царили честность и верность высшему долгу… Однако вот письмо Рылеева к жене из Петербурга от 25 ноября

1820 года: «Милый друг Натанинька! Уведомляю, что просьба матушкина получена в Сенате, но, как полагают, возвращена будет с надписью, ибо таковых в общем собрании не рассматривают. Так говорил мне один секретарь сенатский; но я думаю, что это в переводе значит: дай!.. Без денег ничего нельзя будет сделать. Деньги — лучшие стряпчие, а потому и скажи матушке и Ивану Михайловичу, чтоб поспешили выслать к январю рублей тысячу… Завтра же еду к обер-секретарю Ушакову просить, дабы просьба была принята… Уже пора подмазывать».

А что делалось в низших инстанциях, Рылеев хорошо знал по Острогожску и Воронежу. Недаром Рылеев, искавший в Петербурге службу, мечтавший получить хотя бы самое скромное место, не всякое мог принять. Предложили ему быть в Софийском уезде, в котором располагалось Батово, исправником. «Я наотрез отказался от этой подлой должности, которою у вас так дорожат и тщеславятся», — пишет Рылеев жене. В системе аракчеевской бюрократии он надеялся найти такое место, где бы он мог действовать в защиту народных прав.

И вот в такой-то обстановке редакторы «Невского Зрителя» Сниткин и Кругликов пошли на огромный риск. Ли каким-то чудом провели через цензуру сатиру «К временщику». Десятый номер журнала, который должен был выйти в октябре, до конца ноября все еще не мог поступить в типографию, — борьба была нелегкой. Здесь, без сомнения, потребовалась хитрая, чуть ли не военная тактика.

Рылеев поставил на карту все. «Моя сатира «К временщику» уже печатается в 10-й книге «Невского Зрителя». Многие удивляются, как пропустили ее», — писал Рылеев Бедраге в Острогожск 23 ноября 1820 года.

В ноябре, 11-го числа, еще до выхода в свет 10-й книги «Невского Зрителя», Кругликов принес сатиру Рылеева на очередное заседание Вольного общества любителей российской словесности, Орест Сомов прочитал ее вслух перед членами- Федором Глинкой, Никитиным, Гнедичем, Измайловым и многими другими. Это был тактический ход автора и издателей журнала: сатира прозвучала в собрании «высочайше» утвержденного общества и была одобрена. Вероятно, в этом одобрении выразилась связь Вольного общества с декабристским Союзом Благоденствия.

В декабре наконец появился журнал. «Нельзя представить изумления, ужаса, даже, можно сказать, оцепенения, — пишет Николай Бестужев, — каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта и тех, которые внимали ему». «Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины… назвал его деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства», — продолжает Бестужев.

Преподаватель Петербургского военно-учительского института литератор-любитель Иван Николаевич Лобойко, который знал Рылеева как раз с 1820 года, передает рассказ поэта о том, что Аракчеев в самом деле принял сатиру «К временщику» на свой счет, что он, «оскорбленный в своем грозном величии неслыханной дерзостью, отнесся к министру народного просвещения князю Голицыну, требуя предать цензора, пропустившего эту сатиру, суду. Но Александр Иванович Тургенев, тайно радуясь этому поражению и желая защитить цензора, придумал от имени министра дать Аракчееву такой ответ: «Так как, ваше сиятельство, по случаю пропуска цензурою Персиевой сатиры, переведенной стихами, требуете, чтобы я отдал под суд цензора и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то, прежде чем я назначу следствие, мне необходимо нужно знать, какие именно выражения принимаете вы на свой счет?» Тургенев очень верно рассчитал, что граф Аракчеев после этого замолчать должен, ибо если бы он поставил министру на вид эти выражения, они не только бы раздались в столице, но и во всей России, ненавидевшей графа Аракчеева».

Бестужев говорит о том же: Аракчеев «постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо;

оковы оцепенения пали, мало-помалу расторглись, и глухой шепот одобрения был наградою юного правдивого стихотворца. Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластию».

В том же декабре, когда гремела вся эта гроза, Рылеев то ли намеревался войти в компанию к Сниткину и Кругликову, то ли они собирались сдать ему журнал в аренду целиком. Причины этого неизвестны, но Рылеев пишет жене: «С нового года я буду издавать журнал в Петербурге под названием «Невский Зритель». Однако этот план, как будто уже осуществившийся, все-таки не был исполнен — журнал спустя несколько месяцев был закрыт за какую-то «неприличную» в политическом смысле статью, а на самом деле — в память о сатире «К временщику».

…Рылеев живет в Петербурге без семьи, один, на каких-то случайных квартирах.

В январе он был избран дворянством Петербургского уезда в заседатели Петербургской уголовной палаты. Это учреждение было гнездом лихоимства, беспардонного утеснения слабых и бедных, и прежде всего крестьян. Рылеев решил здесь биться за правду. На особенные успехи он и не рассчитывал, но после сатиры «К временщику» это был следующий этап его борьбы: и в российском суде, думал он, пора зазвучать голосу истины; как бы он ни был одинок и слаб, но — лиха беда начало!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Рылеев разнообразит свои литературные пробы, он ищет формы для своих мыслей. В 1820 году он пишет очерки «Провинциал в Петербурге» и печатает их в «Невском Зрителе». Здесь он с юмором рисует безрассудство молодой женщины, только что вышедшей замуж, которая по пути на молебен заезжает во французские модные лавки и опустошает мужнин кошелек, описывает некую «двоюродную сестрицу», которая предпочитает современную цветистую и многословную прозу краткой и исполненной мысли древней, а «Липецкие воды» Шаховского — драматический пасквиль на Жуковского и его соратников — «Недорослю» Фонвизина. В общем, это были традиционные безделки, как и стихи — «Заблуждение», «Жестокой», — также напечатанные тогда в «Невском Зрителе».

Но, главное, он ищет конкретного действия, стремится проникнуть в среду масонов, как это делали и многие другие декабристы, пытавшиеся использовать масонство для своих целей.

К этому времени Рылеев был знаком с многими масонами, в частности с членами ложи «Избранного Михаила» — Н.И. Гречем, А.А. Дельвигом, А.Е. Измайловым, Ф.Н. Глинкой, Р.М. Зотовым, Н.А. Бестужевым, В.К. Кюхельбекером, историком А.И. Данилевским другими. Их имена он мог видеть и в изданной в Петербурге в 1819 году книге «Основные установления Великой ложи Астреи» («Tableau generale de la grande loge Astree»), где, кроме устава и прочих материалов были помещены списки членов всех лож этого масонского союза. Правда, уже в это время, то есть до официального запрещения масонства в России в 1822 году, многие декабристы стали выходить из лож, как это сделал Пестель еще в 1817 году, С.И. Муравьев-Апостол — в 1818 году, М.И. Муравьев-Апостол — в 1820 году.

Рылеев не вошел в ложу «Избранного Михаила». Осенью 1820 года (Рылееву — двадцать пять лет) он вступил в ложу «Пламенеющей Звезды».

Деятельность масонских лож протекала в рамках традиционной обрядовости, сложившейся за многие в (первые масонские организации в Европе возникли в самом начале новой эры). Это была сложная система символических действий, всевозможных символических же аксессуаров обстановки и одежды. У масонов был свой жаргон, были слова и жесты, служившие им паролем для узнавания своих, особая тайнопись, совершенно не поддающаяся расшифровке. Возникла огромная печатная рукописная — тайная и явная — масонская литература. Масоны отгораживались этой таинственной обрядовостью от непосвященных, то есть «профанов», стоящих как на низшей ступени духовного развития.

Рылеев при вступлении своем в ложу «Пламенеющей Звезды», символическим знаком которой были два сцепленных и образующих звезду треугольника, объятые пламенем, прошел, как и все прочие масоны в свое время, сложную цепь испытаний: его водили с завязанными глазами по лабиринту комнат, задавали вопросы, на которые он отвечал, приставляли к его груди меч и т. п. Все это было театрально, искусно продумано и настраивало на торжественный лад.

Почти все члены «Пламенеющей Звезды» были немцы, обрусевшие, иные давно, еще в предыдущих поколениях. Так что на заседаниях ложи среди немцев (кроме них, было еще несколько шведов и англичан) сидел только один русский — Рылеев, и говорил он здесь, как и все прочие, на немецком языке. На первый взгляд это кажется необъяснимой странностью.

Рылеев ничего не имел против обрусевших немцев (и даже не очень обрусевших, как Клингер), считавших Россию своей родной страной, если они не Бироны или Остерманы по своим устремлениям. И среди декабристов было немало немцев, французов, итальянцев, которые, будучи русскими подданными — да еще не в первом поколении, — являлись

страстными патриотами России. Так, например, Пестель, Бригген, Поджио, Кюхельбекер, Лорер, Розен, Сутгоф, Торсон, Штейнгель, Вегелин, Бодиско, Фаленберг — не равнодушные к судьбам России иностранцы, а лучшие из ее сынов, декабристы. Они и сами резко отделяли себя от тех «безродных пришельцев» («пришлецы» — позднее — в думах Рылеева), которые, как пишет в своих записках итальянец Александр Поджио, «русских и гнули и ломали» и при Петре, и при Екатерине. «Чего вы, мои бедные русские, не вынесли от этих наглых безродных пришельцев!» — восклицал Поджио, больше иных русских чувствовавший себя русским.

«Пришлецы иноплеменные» — Моро, Жомини, Каподистрия, Литта, Траверсе, Кампенгаузен, Нессельроде, Канкрин, Бенкендорф и другие — сильно потеснили Воронцовых, Киселевых, Мордвиновых, Гурьевых, Сперанских, не говоря о Тургеневых или, например, Муравьевых.

Об этом времени писал Огарев: «Немецкая централизация в Петербурге проникнулась духом татарщины и была уродливым соединением кнута с шпицрутенами, грабежа с канцелярией». Аракчеев ставил на командные посты в армии Шварцев, Стюрлеров, Сухозанетов и проч., отличавшихся верностью престолу и нелюбовью к русскому солдату.

По всей вероятности, Рылеева привлекла в ложу «Пламенеющей Звезды» возможность проникнуть в среду крупных чиновников (а таковыми были многие члены этой ложи), которые могли непосредственно влиять на государственные дела. И именно чиновников иностранного происхождения, которые в эти годы забирали в свои руки правительственный аппарат. Возможно, он не терял надежды воспользоваться своими «братьями» как рычагами государственной машины…

Все материалы «Пламенеющей Звезды» погибли, — после указа 1822 года они хранились у Рылеева; позднее, а именно вечером 14 декабря 1825 года, он их сжег, и прежде других бумаг. А так как многие его декабристские бумаги (например, переписанный его рукой текст «Конституции» Муравьева) сохранились, можно предположить, что среди масонских документов находились еще более криминальные. Но, может быть, — время покажет — не все материалы ложи находились у Рылеева, и тайна «Пламенеющей Звезды» не исчезла навсегда в рылеевском камине в один из самых трагических дней русской истории…

2

В феврале 1821 года началось восстание греков против турецкого владычества. Во главе добровольцев встал Александр Ипсиланти, состоявший на русской службе греческий князь, боевой, заслуженный офицер, потерявший руку в войне 1812 года. Греческие повстанцы, полулегально собиравшиеся на российской территории в Молдавии, наконец перешли границу по реке Прут. Их действиями руководила греческая революционная организация «Филики Этерия» («Дружеское общество»), возникшая в России.

Начальник штаба русской Второй армии, расквартированной на юго-западных границах, генерал П.Д. Киселев в эти дни писал дежурному генералу Главного штаба А.А. Закревскому: «Дело не на шутку, — крови прольется много, и, кажется, с пользою для греков. Нельзя вообразить себе, до какой степени они очарованы надеждою спасения и вольности. Все греки Южного Края — старые, как молодые, богатые и бедные, сильные и хворью — все потянулись за границу, все жертвуют всем и с восхищением собою для Отечества. Что за время, в которое мы живем, любезный Закревский! Какие чудеса творятся и какие твориться еще будут! Ипсиланти, перейдя за границу, перенес уже имя свое в потомство. Греки, читая его прокламацию, навзрыд плачут и с восторгом под знамена его стремятся. Помоги ему Бог в святом деле! Желал бы прибавить: и Россия».

Так думали многие офицеры Второй армии. Они почти не сомневались в том, что Россия вступит в войну с Турцией.

Русское общество ждало, что Александр I поможет грекам в их справедливой борьбе. Как не помочь братьям по вере? Да еще в столь решительный час, когда дело идет о жизни и смерти целого народа! От мелких служащих до высших сановников — как в армии, так и на гражданской службе — все в России сочувствовали грекам. Но действительную помощь Ипсиланти оказывали пока только его сородичи, жившие в России греческие купцы, которые на свои средства покупали повстанцам боеприпасы и всякое снаряжение. Когда в Молдавии и Валахии начались военные действия, в греческое войско стали вливаться болгары, албанцы и сербы, не менее греков заинтересованные в разгроме турок. Оказалось там немало и русских, как солдат, так и офицеров.

Весной прошел слух, что генерал Ермолов назначается командующим русской армией, которая будет сформирована на юге специально для поддержки добровольческого войска Ипсиланти.

Рылеев обратился к Ермолову с пылким посланием:

...Ужо в отечестве Потомков Фемистокла
Повсюду подняты свободы знамена,
Геройской кровию земля промокла
И трупами врагов удобрена
Проснулися вздремавшие перуны,
Отвсюду храбрые текут!
Теки ж, теки и ты, о витязь юный,
Тебя все ратники, тебя победы ждут.

Однако надежды греков и русского общества на Александра I не оправдались. На письмо Ипсиланти, содержавшее просьбу о помощи, император ответил отказом — он обвинил греческого вождя в том, что тот «дал увлечь себя революционным духом, распространившимся в

Европе». Ипсиланти был объявлен изгнанным из России. Казачьим пикетам по Дунаю а Пруту было предписано задерживать греков, переходящих из России в Молдавию, и возвращать назад под Надзор полиции. Ермолова же царь вызывал в Лайбах не для того чтобы назначить его командующим антитурецкцми войсками, как об этом говорили слухи, а с намерением послать его на дело, совсем противоположное по Духу, на подавление восстания в Пьемонте. Однако восстание в Пьемонте было задушено австрийцами, и Ермолов возвратился на Кавказ.

Война в Греции приняла затяжной характер, — только в 1829 году потомки эллинов, пережив превратности полустихийной войны, потеряв в битвах множество своих сограждан, добились подлой самостоятельности своей страны. Ипсиланти не дожил до этого дня. Россия объявила Турции войну в апреле 1828 года; 14 сентября 1829 года в Адрианополе Турция приняла все требования России и признала полную независимость Греции.

…Весной 1821 года, будучи в Париже, пламенными строками встретил начало войны греков Кюхельбекер:

…Уставы власти устарели;
Проснулись, смотрят и встают
Доселе спавшие народы:
О радость! грянул час, веселый час Свободы!
Друзья! нас ждут сыны Эллады:
Кто даст нам крылья? полетим!..

Очень сочувственно отнесся к восстанию греков Пестель, находившийся тогда в Кишиневе. «Мотивы, определяющие поведение Ипсиланти, — пишет он Киселеву, — заслуживают самого высокого уважения».

Пушкин в Кишиневе был свидетелем сбора повстанцев, готовившихся к походу; их энтузиазм был так велик, что и Пушкин воспламенился желанием идти с ними. Тогда и возникло стихотворение:

Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей…

(Это стихотворение под названием «Мечта воина» было помещено Рылеевым и Бестужевым в альманахе «Полярная Звезда» на 1823 год.)

«Участие в их беде будет всемирное», — записал о греках в своем дневнике Н.И. Тургенев. Он, один из основателей декабристского движения в России, один из образованнейших и умнейших людей своего времени, увидел во всеобщей симпатии российского общества к делам греков и другую сторону, вот еще запись из его дневника: «Странно… что все — и дипломаты, и министры, и публика — более или менее принимают участие в греках… Все это хорошо. Но кто из всех этих господ принимает должное или какое-нибудь участие в судьбе наших крестьян?.. А тут долг более святой, нежели в отношении к грекам. Лучше ли жить многим из наших крестьян под своими помещиками, нежели грекам под турками?.. Сколько изнемогающих страдальцев!..

Боже праведный! Бог России! Когда правосудие твое будет действительно и для сей несчастной земли?»

И все-таки война в Греции оказала большое нравственное влияние на русские общество, многих заставила как бы проснуться, с обостренным вниманием взглянуть и на дела своей родины.

О тех же, кто проснуться был не в состоянии, Рылеев так писал в том же 1821 году:

Для пылкого поэта
Как больно, тяжело
В триумфе видеть зло
И в шумном вихре света
Встречать везде ханжей,
Корнетов-дуэлистов,
Поэтов-эгоистов
Или убийц-судей,
Досужих журналистов,
Которые тогда, —
Как вспыхнула война
На Юге за свободу,
О срам! о времена!
Поссорились за оду!..

Ни за кем не оставляет Рылеев права сказать: «Какое мне дело до свободы Греции?» Никто не вправе принимать с равнодушием урок живой, современной истории, когда «от слез и крови взмокла Эллада средь святой борьбы» (как напишет он в стихотворении 1824 года «На смерть Байрона»).

3

Зимой и весной 1821 года Рылеев посещает заседания Вольного общества любителей российской словесности, куда его ввел Дельвиг. Начало этому обществу положил Андрей Афанасьевич Никитин (1790–1859) — литератор, автор комедии и стихов в оссианическом роде. 17 января 1816 года у него на квартире состоялось первое заседание, на котором присутствовали литераторы братья Боровковы и Люценко (Ефим Петрович, поэт; его перевод поэмы Виланда «Вастола» в 1836 году был издан А.С. Пушкиным). 28 января был принят в новое общество Ф.Н. Глинка, в том же году вступивший и в декабристскую организацию Союз Спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества (Глинка в то же время был и ритором в ложе «Избранного Михаила»). Вскоре пришли в Вольное общество Кюхельбекер, Сомов, Плетнев, Греч (издатель журнала «Сын Отечества»). В этом тройственном союзе обществ — тайного декабристского, масонского (ложа «Избранного Михаила») п литературного (два последних — легальные) — утверждались патриотические идеи, неразрывно связанные с вольнолюбием.

Учредители Вольного общества любителей российской словесности начали разработку плана следующих капитальных изданий: 1) «Полной Российской энциклопедии», заключающей в себе все, что известно о России в отношении истории, искусства, науки, литературы; 2) «Жизнеописаний многих великих людей Отечества» — многотомного издания; 3) Нового иконологического словаря с изображениями — это должна была быть иллюстрированная история живописи, рисунка и гравюры; 4) Журнала трудов членов Общества — это издание — «Соревнователь просвещения и благотворения» — начало выходить в 1819 году. Проекты энциклопедии и иконологического словаря не были утверждены министром просвещения, усмотревшим здесь неуместное соревнование общества с Академией наук, которой труды такого размаха более пристали (однако в это время заканчивал восьмой том своей грандиозной «Истории государства Российского» Карамзин — не академия и не общество, а один человек). И все же члены Вольного общества начали работу над биографиями русских людей. Многотомного биографического словаря также не получилось, общество и в этом не нашло поддержки, но ряд биографий, намечавшихся для словаря, был помещен в «Соревнователе» — это жизнеописания поэта Петрова, полководца Суворова, И.И. Шувалова и других отечественных деятелей.

Ф.Н. Глинка напечатал в 1816 году в «Сыне Отечества» «Рассуждение о необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года» (первый вариант этой статьи появился в «Русском Вестнике» С.Н. Глинки в 1815 году). «Всякий мыслящий ум, — писал Глинка, — пожелает иметь средства составить себе полную картину всех необычайных происшествий, мелькавших с блеском молний в густом мраке сего великого периода… Потомки с громким ропотом на беспечность нашу, потребуют истории… Русские захотят особенно иметь живое изображение того времени, когда внезапный гром войны пробудил дух великого народа; когда народ сей, предпочитая всем благам в мире честь и свободу, с благородным равнодушием смотрел на разорение областей, на пожары городов своих и с беспримерным мужеством пожинал лавры на пепле и снегах своего отечества… Одна история торжествует над тленностью и разрушением… О ты, могущая противница времен и случаев, вмещая деяния всех народов и бытия всех веков, история! уготовь лучшие из скрижалей твоих для изображения славы моего отечества и подвигов народа русского! Смотри, какую пламенную душу показал народ сей, рожденный на хладных снегах Севера… Историк Отечественной войны должен быть русским по рождению, поступкам, воспитанию, делам и душе. Чужеземец, со всею доброю волею, по может так хорошо знать историю русскую, так упоиться духом великих предков россиян, так дорого ценить знаменитые деяния протекших, так живо чувствовать обиды и восхищаться славою

времен настоящих».

В этой статье Глинка, отталкиваясь от истории Отечественной войны, говорит о русской истории вообще. Он как бы доказывает закономерность того, что историю Отечественной войны пишет А.И. Данилевский, участник ее («Сочинитель должен быть самовидец», — пишет Глинка), а историю России — Н.М. Карамзин.

«Чужеземец, — пишет Глинка, — невольно будет уклоняться к тому, с чем знакомился с самых ранних лет, к истории римлян, греков и своего отечества. Он невольно не отдает должной справедливости победителям Мамая, завоевателям Казани, воеводам и боярам Русской земли, которые жили и умерли на бессменной страже своего отечества. Говоря о величии России, иноземец, родившийся в каком-либо из тесных царств Европы, невольно будет прилагать ко всему свой уменьшенный размер. Невольно не вспомнит он, на сколь великом пространстве шара земного опочивает могущественная Россия. Вся угрюмость Севера и все прелести Юга заключены в пределах ее… Русский историк не проронит ни одной черты касательно свойств народа и духа времени. Он не просмотрит ни предвещаний, ни признаков, ни догадок о случившихся несчастиях».

Первые восемь томов «Истории» Карамзина выйдут в 1818 году. Карамзин, реформатор русского литературного языка, языка русской прозы, мог принять близко к сердцу все сказанное Глинкой в его статье, за исключением следующего пожелания: «Русский историк постарается изгнать из писаний своих все слова и даже обороты речей, заимствованные из чуждых наречий. Он не потерпит, чтобы слог его испещрен был полурусскими или вовсе не русскими словами, как то обыкновенно бывает в слоге ведомостей и военных известий»[3].

Глинка не указал на «доисторическую» прозу Карамзина, в которой еще в 1803 году в своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» А.С. Шишков нашел сонм нелепых, по его мнению, галлицизмов.

1815–1816 годы — время особенно острой борьбы двух литературных партий — архаистов, членов «Беседы любителей русского слова», основанной в 1811 году Шишковым, и сторонников обновления русского языка путем разумной европеизации (однако не в ущерб разумному же использованию и старославянских слов и форм языка) — членов литературного общества «Арзамас», основанного в 1815 году Жуковским.

«Беседа» была почти целиком официозной, но разумное, творческое начало представлено было в ней такими ее членами, как Державин, Крылов и близкий к «Беседе» Гнедич (который станет вскоре одним из руководителей Вольного общества любителей российской словесности). В «Арзамас» вошли некоторые из будущих декабристов — Н.И. Тургенев, М.Ф. Орлов, Н.М. Муравьев. И все же воззрения декабристов на язык, на «слог», именно ввиду своих патриотических истоков, нередко примыкали к шишковским.

Шишков был патриот, нападки на него арзамасцев не объясняют нам ни всего Шишкова, ни тем более всей «Беседы». Шишков был высмеян так успешно, так остроумно и так надолго, что одна из питающих русских литературный язык жил почти перестала действовать, не смогли ее оживить и декабристы.

Карамзин и Жуковский как реформаторы языка не ответили на запрос своей современности полностью — эти великие русские люди, основоположники прозы и поэзии XIX века в России, не были всеобъемлющими гениями. Пушкин — в юности, в качестве арзамасца высмеивавший Шишкова, — в своей творческой практике нередко подтверждал верность некоторых его суждений о языке, о конце 1820-х годов Пушкин и прямо высказывается в пользу Шишкова: «Во многом он был прав». Утвердившаяся за Пушкиным репутация арзамасца и карамзиниста мешала его современникам увидеть скрытые течения в его поэзии.

Однако в самом начале века у Шишкова был единомышленник из окружения Карамзина.

Это поэт Андрей Тургенев (старший брат декабриста Николая Тургенева и историографа Александра Тургенева), гениальный юно-[a]i Умерший в 1803 году двадцати двух лет.

Жуковский клялся своим друзьям, что он соберет и издаст со своим предисловием стихи, письма и дневники Андрея Тургенева, но — не будем гадать почему — не сделал этого, и многое, бывшее тогда в руках у него, со временем пропало. Он не совершил того, что позднее сделали друзья точно так же рано погибшего Веневитинова, которые открыли его как поэта, критика и философа для всех последующих поколений.

Андрей Тургенев — основатель и вдохновитель преддекабристского (и предарзамасского) Дружеского литературного общества, просуществовавшего немногим более года (1801) в Москве, но оставившего неизгладимый след в литературной судьбе Жуковского.

Обостренный патриотизм был главной чертой воззрений Тургенева. В одной из своих речей, произнесенных в обществе, он напал па Карамзина, совершенно неожиданно для своих товарищей. Нужно указать, что Карамзин был его старшим другом, учителем, Тургенев неподдельно и глубоко уважал его. Напал ради открытой им, Тургеневым, истины, что русская литература должна стремиться к национальному своеобразию.

«О *русской* литературе! — говорил он. — Можем ли мы употреблять это слово? Не одно ли это пустое название, тогда как вещи в самом деле не существует?.. В одном только Державине найдешь очень малые оттенки русского, в прекрасной повести Карамзина «Илья Муромец» так же увидишь русское название, русские стопы, и больше ничего… Теперь только в одних сказках и песнях находим мы остатки русской литературы, в сих-то драгоценных остатках, а особливо в песнях находим мы и чувствуем еще характер нашего народа».

Тургенев с грустью говорил, что «по крайней мере *теперь* нет никакой надежды, чтобы когда-нибудь процвела у нас истинно русская литература. Для сего нужно, чтобы мы и в обычаях, и в образе жизни, и в характере обратились к русской оригинальности, от которой мы удаляемся ежедневно». Тургенев верил в силу гениальной личности: «Один человек явится и… увлечет за собою своих современников». Карамзина он такой личностью не считал, тогда еще не была создана его «История». Но и в 1816 году, когда писал свою статью Глинка, «История государства Российского» еще не попала в руки читателей.

Шишков не был гением и не обладал почти никаким авторитетом. Ему мешали известная прямолинейность и ограниченность. И все же в его высказываниях много такого, что близко и Тургеневу и Глинке. В главной своей книге («Рассуждение о старом и новом слоге») он говорит интересные вещи: «Древний славенский язык, повелитель многих народов, есть корень и начало российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка[4], на коем витийствовали гремящие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты, Дамаскины и многие другие христианские проповедники. Кто бы подумал, что мы, оставя сие многими веками утвержденное основание языка своего, начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка? Кому приходило в голову с плодоносной земли благоустроенный дом свой переносить на бесплодную болотистую землю?»

На Шишкова бросились так дружно, что книга его вскоре выпала из читательского обихода, будучи осмеянной и обруганной. О ней стали судить по критическим статьям, направленным против нее. Защитить Шишкова было некому. Дело в том, что среди арзамасцев были не только действительно крупные литераторы, как Жуковский, Вяземский, молодой Пушкин, но и весьма мало причастные к художественному творчеству чиновники, гордые своим «непогрешимым» вкусом, но далекие от объективности в критике, например — Вигель, Северин, Дашков, Блудов, Уваров (многие из них вскоре по выходе из «Арзамаса» стали задавать тон в реакционных правительственных сферах, в особенности такой идеолог монархизма, как Уваров).

Все положительное и намеренно не замеченное в то время необходимо разглядеть и переоценить.

Шишков предвидел, что его сочтут за упрямого архаиста: «Многие ныне… презирают славенский язык и думают, что они весьма разумно рассуждают, когда изо всей мочи кричат: неужли писать аще, точию, векую, уне, поне, распудить и проч.? Таких слов, которые обветшали уже и места их заступили другие, конечно, нет никакой нужды употреблять; но дело в том, что мы вместе с ними и от тех слов и речей отвыкаем, которые составляют силу и красоту языка нашего… Я не утверждаю, что должно писать точно славенским слогом, но говорю, что славенский язык есть корень и основание российского языка; он сообщает ему богатство, разум, силу, красоту».

А.С. Шишков был почетным членом Вольного общества любителей российской словесности и нередко присутствовал на его собраниях. Например, 28 февраля 1821 года он был там вместе с другими почетными членами — Н.С. Мордвиновым и Н.И. Тургеневым. В этот вечер Гнедич декламировал поэму Боратынского «Пиры».

Время показало, что Шишков был во многом прав, — нельзя было сбрасывать со счетов его рассуждений: вопрос о засорении русского языка (теперь уже как литературного, так и разговорного) в конце XX века встал с необычайной остротой.

Шишков одним из первых в то время по-настоящему оценил поэзию народную. Поэт Михаил Дмитриев отмечал в своих мемуарах (1869), что Шишков «силился обратить внимание словесников к простонародным русским песням, которые тогда были в пренебрежении». В. Стоюнин в биографии Шишкова (1880), сравнивая его с карамзинистами, приходит к выводу, что он «в одном пошел дальше своих противников: указывая на источники, по которым мы должны учиться русскому языку, он включает в число их русские песни, на которые в то время почти не обращали внимания».

В 1821 году выступил в Вольном обществе любителей российской словесности с речью «О назначении поэта» Н.И. Гнедич. «Писатель да любит более всего язык свой, — призывал он. — Могущественнейшая связь человеческих обществ, узел, который сопрягается с нашими нравами, с нашими обычаями, с нашими сладостнейшими воспоминаниями, есть язык отцов наших! И величайшее унижение народа есть то, когда язык его пренебрегают для языка чуждого. Да вопиет противу зла сего каждый ревнующий просвещению, да гремит неумолкно и поэзией и красноречием! Пусть он в желчь негодования омачивает перо и всем могуществом слова защищает язык свой, как свои права, законы, свободу, свое счастие, свою собственную славу».

Глинка выдвинул в Вольном обществе предложение о коллективном создании многотомного исторического повествования о Древней Руси, сочинении типа «Путешествия младшего Анахарсиса по Греции» француза Бартелеми (1716–1795), издававшегося Российской академией в 1800–1810 годы (последний том вышел в 1818 году.).

В романе Бартелеми юный скифский царь, будущий философ, путешествуя по Греции, знакомится со всеми сторонами ее жизни — государственным устройством, бытом и нравами, культурой. Эта книга, очень популярная в России как в переводе, так и на языке подлинника, была талантливой своего рода художественно-исторической энциклопедией. Занимательность изложения сочеталась в ней с глубокой научностью.

Глинка говорил на одном из заседаний Общества: «Великие деяния, рассеянные в летописях отечественных, блестят, как богатейшие восточные перлы или бразильские алмазы на дне глубоких морей… Стоит только собрать и сблизить их, чтоб составить для России ожерелье славы, которому подобное едва ли имели Греция и Рим. Древнейшие русские летописи, рассеянные по разным рукам, любопытнейшие грамоты и записи, погребенные в архивах древних городов и монастырей, старинные предания, песни, стихотворения русские — вот

первые источники для исторического путешествия… Тогда увидим мы в сей любопытнейшей книге, как в очарованном зеркале, гражданские законы, воинское искусство, нравы, обычаи, одежду людей и слог — одежду мыслей их… Тогда, конечно, взыграет дух юного россиянина при воззрении на великие доблести и воинскую славу предков».

С 1818 года Глинка был фактически руководителем Вольного общества любителей российской словесности, он возглавлял его левое, сильнейшее крыло и упорно проводил патриотические декабристские идеи.

В 1820–1822 годах в общество пришли будущие декабристы А.А. и Н.А. Бестужевы и А.О. Корнилович. Среди членов общества уже были поэты Боратынский, Дельвиг, Плетнев, Измайлов, Остолопов, Григорьев, В. Туманский. 18 апреля 1821 года Дельвиг предложил принять в члены общества Рылеева. Рылеев прочел на заседании переведенную им с польского языка сатиру Ф.В. Булгарина (уже члена общества к тому времени) и был принят в члены-сотрудники. 2 мая он был приглашен для ознакомления с уставом общества, в связи с чем и расписался в особой книге.

Имя Булгарина, которое мы еще не раз назовем в этой книге, не должно резать ухо: до восстания 14 декабря 1825 года он еще не был осведомителем Третьего отделения.

Булгарин был близко знаком с многими будущими декабристами, в том числе с Рылеевым, с которым он учился в кадетском корпусе, хотя и вышел оттуда на несколько лет раньше. Он печатал стихотворения Рылеева в 20-х годах в своих журналах «Северный Архив» и «Литературные Листки», а Рылеев — прозу Булгарина в «Полярной Звезде». Бывало, они ссорились, и крепко. Но Рылеев ушел из жизни другом Булгарина, с верой в его порядочность. Какое же смятение он внес в душу Булгарина, отвернувшегося от своих друзей в тот роковой день!.. Вечером 14 декабря Рылеев вручил ему на хранение часть своего архива. Булгарин не передал его в Третье отделение — материалы эти были опубликованы в 1870-х годах в журнале «Русская Старина».

…Патриотическое просветительство, которым была пронизана деятельность общества, затронуло самые заветные струны души Рылеева.

Гражданственность — как категория поэтического, прекрасного, высокий пафос героического и свободолюбивого, поэзия гражданственного примера, — вот о чем стал все больше думать Рылеев.

«Великий гражданин, страстный патриот, защитник народных вольностей — вот герои, которые нужны сегодня русскому читателю», — думал он. Ровесник Рылеева историк Карлейль писал в очерке о Вольтере: «Не осмеянием и отрицанием, но более глубоким, серьезным создается что-нибудь великое для человечества».

Культ героев — творцов истории — вот что стало постепенно захватывать Рылеева. Он, впрочем, думал об этом еще смолоду. Он и сам, если можно так сказать, готовился в герои, к гибели за какое-нибудь правое дело ради Отечества.

В его черновиках стали появляться знаменательные наброски:

…Приветствую тебя, о елавная страна!
Свободы колыбель, отечество Вадима! —
это след замысла стихотворения о древней новгородской республике.
…Они под звуком труб повиты,
Концом копья воскормлены, —
Луки натянуты, колчаны их открыты,
Путь сведом ко врагам, мечи наточены.
Как волки серые они по полю рыщут

И — чести для себя, для князя славы ищут.
Ничто им ужасы войны!

«Слово о полку Игореве». Перевод строфы сделан Рылеевым не по подлиннику, а по изложению Карамзина в третьем томе его «Истории». К сожалению, из этой пробы не выросло рылеевского перевода «Слова». Другая проба — оставленное недоработанным стихотворение о молодом Державине (дума «Державин» появится в следующем году). Рылеев почувствовал, что он наконец подходит к чему-то очень существенному для него — к своей патриотической, вольнолюбивой поэзии.

Этому способствовало и общение его с людьми, с которыми он знакомится в это время.

Например, Александр Корнилович, который был утвержден действительным членом Вольного общества в одно время с Рылеевым. Это был будущий декабрист, товарищ Рылеева по Северному обществу.

Корнилович, украинец по происхождению, окончил в Москве муравьевскую школу колонновожатых, стал офицером Гвардейского генерального штаба и был откомандирован в распоряжение генерал-адъютанта Д.П. Бутурлина, официального военного историка, который направил его в петербургские архивы для сбора материалов. Корниловича увлекла эта работа. Он читал — на десяти языках — документы по истории России с заботой не столько о выписках для Бутурлина, сколько о накоплении собственного архива.

Вскоре он взялся за перо — стал писать статьи по истории России, документальную прозу об иностранцах, путешествовавших по Руси, о русском кораблестроении в XVII веке, о русских царях, временщиках. Создал ряд очерков о Петре I, которыми воспользовался позднее Пушкин во время работы над «Арапом Петра Великого» и «Полтавой».

Как историк, Корнилович нашел свою позицию, свою тему: он выделился среди историков, писавших о Петре I, самостоятельным истолкованием личности царя. Пример Петра доказывал возможность реформ социального порядка, проводимых сверху. Петр производил своего рода революцию в России.

Корнилович трудился очень много. Его писания, печатавшиеся в 1820-х годах в журналах и альманахах (в том числе в «Полярной Звезде»), читавшиеся им на заседаниях Вольного общества, всегда отличались новизной, значительностью содержания и увлекательностью изложения; он, как и Карамзин (конечно, в меньших масштабах, но с полным своеобразием материала и стиля), соединял науку с литературой, добиваясь этим не популяризации истории, а углубления представлений о ней.

Многие статьи Корниловича были запрещены цензурой, в частности, прочитанная в Вольном обществе и 1821 году статья «О жизни царевича Алексея Петровича», где будущий декабрист предпринял попытку оправдания Петра, — он сближал его с Люцием Брутом, героем античной древности, осудившим своих сыновей на смерть за измену республике.

В 1823 году Корнилович напишет «Жизнеописание Мазепы» — предисловие к поэме Рылеева «Войнаровский».

Итак, в 1821 году возникли те дружеские связи, о которых Рылеев мечтал. Он на «ты» с Глинкой, Бестужевыми, Корниловичем, Кюхельбекером, Сомовым, знаком с влиятельными журналистами Гречем и Воейковым, вместе издававшими в это время «Сына Отечества».

Рылеев служит в суде. Посещает заседания масонской ложи, Вольного общества любителей российской словесности. Бывает у Гнедича, к которому относится с почтительным восхищением и которому отдает на суд все свои новые стихи.

К этому времени прекратил свое существование декабристский Союз Благоденствия —

решение о его роспуске было принято в январе 1821 года на Московском съезде. Почти сразу же возникло новое общество — Северное, в Петербурге. Прямой дорогой шел Рылеев на соединение с ним.

4

В конце мая 1821 года Рылеев уехал — до осени — в Подгорное, в Воронежскую губернию. С непривычки он устал от Петербурга, от всей этой интересной, но до крайности напряженной жизни:

...Едва заставу Петрограда
Певец унылый миновал,
Как разлилась в душе отрада,
И я дышать свободней стал,
Как будто вырвался из ада...

В июне Рылеев провел некоторое время вместе с женой в Острогожске у городничего — брата Федора Глинки, Григория Николаевича, с которым он познакомился еще за два года до того. Это был просвещенный человек, жена его, как писал Рылеев друзьям, тоже «весьма любила литературу». Но там, в губернии и уездах, забыв на время о петербургском «аде», невольно попал он в другой, провинциальный ад, еще более свирепый.

Он писал Булгарину, имея в виду «род приказных», которых, как он сказал, бог, «карать не переставая» Россию, «повсюду расселил» вместо изгнанных татаро-монголов: «Ты, любезный друг, на себе испытал бессовестную алчность их в Петербурге; но в столицах приказные некоторым образом еще сносны… Если бы ты видел их в русских провинциях — это настоящие кровопийцы, и я уверен, что ни хищные татарские орды во время своих нашествий, ни твои давно просвещенные соотечественники в страшную годину междуцарствия не принесли России столько зла, как сие лютое отродие… В столицах берут только с того, кто имеет дело, здесь со всех… Предводители, судьи, заседатели, секретари и даже копиисты имеют постоянные доходы от своего грабежа, а исправники…»

Ада этого в старину не было. И в Острогожске жители некогда имели понятие о свободе и человеческом достоинстве. Чтобы доказать это, Рылеев углубился в историю города, начал писать очерк, быть может, он замыслил записку, предназначенную для правительства.

При царе Алексее Михайловиче Острогожск был вольным казачьим городом, целый век оберегали казаки границы Руси от ногайцев и крымцев, за что получили грамоты и разные права от Петра, Екатерины, Павла и Александра. «Не за излишнее считаю сказать, — писал Рылеев, — что на землях острогожских не видали крепостных крестьян до конца прошедшего столетия. Полковые земли, доставшиеся впоследствии разным чиновникам Острогожского полка, были обрабатываемы вольными людьми или казаками. Некоторые частные беспорядки от свободного перехода сих людей, побеги на Дон и некоторые другие причины были поводом к разным прошениям Екатерине Великой и императору Павлу, вследствие которых и состоялся указ декабря 12-го дня 1798 года. Но прикрепленные к земле малороссияне по сие время называют себя только подданными, как бы а отличие от крепостных, коих они зовут и дразнят *крепаками».*

Рылеев попытался разобраться и в причинах экономического упадка края — бывшие вольные казаки обнищали. Торговля, животноводство, хлебопашество — все скатилось на самый низкий уровень. Рылеев утверждает, что этот упадок начался всего только «года за три пред сим», то есть с 1817–1818 годов. Называя разные причины этого, Рылеев говорит: «Могу ошибаться, но ошибаюсь как гражданин, радеющий о благе отечества». «Желательно, — пишет он, — чтобы попечительное правительство вникнуло и в другие причины теперешних несчастных обстоятельств края». Как на основную причину этого Рылеев указал на

закрепощение свободных хлебопашцев, попавших под произвол помещиков и чиновников.

К тому времени, когда Рылеев взялся за записку об Острогожске, сильно повыветрился либерализм Александра I.

Еще в 1819 году Александр говорил, что «либеральные начала одни могут служить основою счастия народов». А осенью 1820 года он на конгрессе в Троппау заявил Меттерниху, что он «совершенно изменился», то есть перестал быть либералом. «Я люблю конституционные учреждения, — говорил он, — но можно ли вводить их безразлично у всех народов. Не все народы готовы в равной степени к их принятию». Он объяснял свою поддержку реакционных постановлений конгресса в Троппау тем, что необходимо «сдержать революционеров и не дать свободы духу анархии». Отсюда проистекала принципиальная невозможность нововведений, которые могли бы улучшить жизнь крестьян в России. Очень скоро, буквально через несколько месяцев, по поводу одного крупного крестьянского дела в Петербургской уголовной палате Рылеев столкнется с жесткой позицией императора — бывшего либерала — по отношению к русским крепостным.

Записку свою Рылеев, кажется, не окончил. Начало ее сохранилось в архиве Булгарина.

Исключительно плодотворным было лето 1821 года для Рылеева в отношении поэзии.

Созданное в это время послание к М.Г. Бедраге «Пустыня» — по форме подражание «Моим пенатам» Батюшкова, а по сути — взгляд на самого себя как бы со стороны, самооценка, проверка своих сил перед трудным походом.

В своем деревенском уединении («пустыне») Рылеев с «ложа» встает, «зарю предупреждая»:

И в садик свой идет
Немного потрудиться,
Взяв заступ, па грядах.
Когда ж устанет рыться,
Он, с книгою в руках,
Под тень дерев садится.

Как и Пушкин в «Городке» (1814), Рылеев очерчивает круг своего чтения: «Пушкин своенравный», «Батюшков, резвун, мечтатель легкокрылый», «честь и слава россов, как диво-исполин, парящий Ломоносов», «Озеров, Княжнин», «Тацит-Карамзин с своим девятым томом», «Крылов с гремушкою и Момом», «Гнедич и Костров со стариком Гомером», «Жан-Жак Руссо с проказником Вольтером», «Воейков-Буало», «Жуковский несравненный», «Дмитриев почтенный», «Милонов — бич пороков», «ветхий Сумароков», Богданович, идиллик Панаев, Державин…

Это взгляд на реальную книжную полку.

«Пустыня» интересна как биографический источник. А вообще она — одно из последних «легких» произведений Рылеева, где едва слышен его собственный голос сквозь трескотню штампов: «Бежавши от сует… младой… анахорет»; «В уютный домик мой… утехи налетели и весело обсели в нем все углы, мой друг»; «В уединеньи, как пышные цветы, кипят в воображенья прелестные мечты»; «Бог сна, Морфей младой, ему гирлянду свяжет из маковых цветов»; «Цветов благоуханье, и Филомелы глас — все, все очарованье в священный ночи час!» и т. п.

И все же есть в стихотворении образ литератора — усердного читателя, и отзыв на освободительную войну греков («Подняв свободы знамя, грек оттоману мстит!»), с добродушным юмором описанная, очень живая — фигура «героя Кавказа» (напоминающая

лермонтовского «Кавказца»), старого майора с его колоритными рассказами, сатирическая сцена с «надутым вельможей». Есть и отдельные яркие картины: «Пучина голубая безоблачных небес»…

В целом стихотворение суетливо-многословно и лишено композиционной стройности. Тем не менее оно было одобрено в Вольном обществе и в том же году напечатано в «Соревнователе».

Не отличается поэтическими достоинствами и «Послание к Н. И. Гнедичу», написанное александрийским стихом (с несколькими укороченными трех- и четырехстопного ямба строками). Оно важно только как документ, как отклик Рылеева на ожесточенную полемику, Развернувшуюся вокруг гнедичевского перевода «Илиады», еще не оконченного тогда:

На трудном поприще ты только мог один
В приятной звучности прелестного размера
Нам верно передать всю красоту картин
И всю гармонию Гомера.
Не удивляйся же, что зависть вкруг тебя
Шипит, как черная змея! —

пишет Рылеев.

...На площадную брань и приговор суровый
С Гомером отвечай всегда беседой новой.
...Пускай завистники вокруг тебя шипят!
О Гнедич! Вопли их, и дикие и громки,
Тобой заслуженной хвалы не заглушат:
Защитник твой — Гомер, твои судьи — потомки!

«Завистники» выступали не столько против гекзаметра, выработанного Гиедичем для его перевода «Илиады» (им больше нравился французский ямб с рифмами, которым, впрочем, следуя Кострову, Гнедич и перевел поначалу VII–XI песни поэмы), сколько против всей идейно-художественной направленности перевода, примыкающей к вольнолюбиво-патриотическим устремлениям литераторов-декабристов. Перевод Гнедича — великое явление русской культуры, — работал он над ним с мыслью о России, как древней, так и новой. Гораздо более умело, чем архаисты, союзники Шишкова, он пользовался всеми сокровищами древнерусского языка, талантливо соединяя его с современным.

Гнедич, отдавший своему труду много лет жизни, был такой же подвижник, как Карамзин, как и тот — он был историк-исследователь самого высокого уровня. Кроме того, он был одним из крупнейших поэтов своего времени, и свой высокий авторитет он старался поставить на службу России — он стремился привлечь к патриотическим темам и других поэтов, особенно молодых — Пушкина, Кюхельбекера, Боратынского, Дельвига, Рылеева.

Рылеев охотно бывал на квартире Гнедича в здании Императорской публичной библиотеки, где Гнедич служил с 1810 года. Холостяцкое жилище поэта было кельей ученого-затворника: везде громоздились книги — переводы поэм Гомера, изданные в разное время и на разных языках, всевозможные комментарии к ним, исторические, этнографические и лингвистические сочинения, словари, альбомы рисунков, бюсты античных героев, великолепная копия античного бюста Гомера. Однако ученый-отшельник никогда не встречал гостей запросто, в домашней

одежде, тем более в халате, — он всегда был одет строго по моде и даже в соответствии с часом дня. Отлично сшитые фраки, свежее белье, никакой небрежности ни в чем. Он был высок и строен, говорил глубоким и мощным басом, поставленным так великолепно, что Гнедич многие годы из любви к театру занимался с лучшими русскими актерами-трагиками (например, с великой Семеновой). Он был крив — один глаз вытек у него в детстве от оспы, которая и все лицо его покрыла ямками. Сдержанный и даже важный, он не бывал веселым, но умел быть огненно-пылким в беседе о театре, поэзии, Гомере или героях русской старины.

Гнедич советовал молодым литераторам писать биографические сочинения о русских деятелях. В 1814 году в речи на открытии библиотеки он заявил о необходимости создания «жизнеописаний наших героев». Он боготворил Суворова. «Ни один из знаменитых людей, мне современных, — писал он, — не вселял в меня столько разнообразных чувств, как Суворов. Я видел в нем идеал, какой составил себе о героях». Гнедич приветствовал замысел Никиты Муравьева написать биографию Суворова; в статье Муравьева «Рассуждение о жизнеописаниях Суворова», напечатанной в «Сыне Отечества» в 1816 году, было немало близкого Гнедичу — он, как и Муравьев, видел силу героев в их *народности.*

С Рылеевым Гнедич говорил о народном эпосе — русском и малороссийском. О былинах, песнях, о тех героических «думах», которые он слыхал нередко на Полтавщине в детстве, — их пели бродячие кобзари-слепцы. Слеп был и Гомер, так же, как говорит легенда, нищий бродячий певец-сказитель. Гнедич с умилением говорил о древней малороссийской «раде» (вече), свободном казачестве. В Острогожске на ярмарках случалось и Рылееву встретить кобзаря, вокруг которого толпились потомки вольных острогожских казаков. В Богдане Хмельницком Гнедич видел мудрого правителя, который снова свел в одну семью русский и украинский народы, «единокровных братьев», — по словам Гнедича. В бумагах его сохранились наброски и планы поэм из древнерусской истории — о Васильке Теребовльском, Святославе, о «начале христианизма в Киеве». Долг писателя русского, говорил Гнедич, — пробуждать дух высокого героизма…

Беседы длились далеко за полночь.

Покидая весной 1821 года Петербург, Рылеев вез с собой девятый том «Истории государства Российского» Карамзина, только что вышедший в свет. Уже в пути вспоминал он о «думах» слепцов кобзарей. В них всегда говорилось о богатырях старого времени. Вспомнил, как слушает их сермяжная толпа — с непокрытыми головами, задумчиво. — иногда только тяжелый вздох поднимет грудь того или другого крестьянина. «Вот какие мы были», — думает каждый из них.

«…В своем уединении прочел я девятый том Русской Истории… Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита», — пишет Рылеев 20 июня 1821 года Булгарину из Острогожска. И далее: «Вот безделка моя — плод чтения девятого тома (следует текст думы «Курбский». — *В.А.)*. Если безделка сия будет одобрена почтенным Николаем Ивановичем Гнедичем, то прошу тебя отдать ее Александру Федоровичу (Воейкову. -*В.А.)* в «Сын Отечества».

В августе Рылеев снова пишет Булгарину: «Посылаю несколько моих безделок. Потрудись показать их почтенному Николаю Ивановичу Гнедичу, и если годятся, отдай их Александру Федоровичу для «Сына Отечества».

Безделки! Нет, это уже были не безделки. Это были думы, высшее достижение декабристской поэзии, — стихотворения-портреты, изображающие знаменитых людей русской истории. Стихи нового жанра. Он возник почти стихийно — вырос из всей патриотическо-вольнолюбивой обстановки, окружавшей Рылеева в Петербурге, из разговоров с Гнедичем, из чтения «Истории государства Российского», из страстного желания стать настоящим, то есть полезным народу поэтом. Как писал он — почти без юмора — в послании к Бедраге: «Желал бы

я — пачкун бумаги — писать как истинный поэт…»

Через два года А. Бестужев скажет кратко и исчерпывающе точно: «Рылеев, сочинитель дум, или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков».

Возникнут споры о жанре — эпическая элегия, героида или дума, то есть песнь, гимн?

Журналист В.И. Козлов указал в «Русском Инвалиде», что дума — род поэзии хотя и неясный еще, не определившийся и не объясненный теоретиками, но все-таки взятый из польской литературы. То есть никакой «новой тропы»… Действительно, польский поэт Немцевич писал исторические песни (так и определяя свой жанр). Книгу этих песен Рылеев читал по-польски, и очень внимательно. Позднее он откроет отдельное издание своих дум переводом его песни «Олег Вещий», отметив в предисловии, что это не дума. Этот шаг Рылеева имеет определенный смысл: он как бы сказал — отстаньте от меня с Немцевичем, вот его произведение, сравните его со всем тем, что следует далее, и вы увидите, что это — разные вещи.

«В польской словесности, — возражал Козлову Бестужев, — дума не составляет особого рода: поляки сливают ее с элегиею».

Вяземский в 1823 году писал, что думы Рылеева «носят на себе печать отличительную, столь необыкновенную». Он отметил, что Рылеев создал именно точный жанр думы, а не что-то среднее между элегией и героидой. Вяземский не вспомнил в этой связи эпических элегий Батюшкова, и потому не вспомнил, что там не было никакой, связи с фольклором, с народными историческими песнями. И о каких бы литературных влияниях ни писали в связи с думами Рылеева — Байрона, Оссиана, Жуковского, сентименталистов и романтиков (все это — тогдашняя литературная почва), — он создал жанр глубоко национальный и своеобразный. «Дума, — ответил на все споры сам Рылеев, — старинное наследие от южных братьев наших, наше, русское, родное изобретение».

Пусть в большинстве дум почти один и тот же пейзаж с бурными тучами и молниями, пусть во многих герои однообразно сидят в задумчивости (ведь это думы!) на «мшистом» камне, на «диком бреге», на пиру, в темнице, угрюмые, мрачные; пусть говорят они часто на языке стихов Батюшкова или Жуковского, но современники, которым близок был героический пафос дум, читали их «с живым удовольствием» (Вяземский), называли их «умными, благородными и живыми» (Греч), находили в них «чистый и легкий язык, наставительные истины, прекрасные чувствования» (Плетнев).

В думы Рылеева вошел круг тем, почти два десятилетия тревоживший воображение русских поэтов. В «Певце во стане русских воинов» Жуковского, хотя и в беглых штрихах, прошла целая галерея героев 1812 года. Несколько лет Жуковский разрабатывал планы поэмы «Владимир». Воейков в 1813 году подсказывал Жуковскому темы, наряду с Владимиром — Дмитрий Донской, Петр Великий, Суворов, Кутузов, атаман Платов. Тот же Воейков позднее советовал Пушкину воспеть «Владимира Великого, Иоанна, покорителя Казани; Ермака, завоевателя Сибири». «Тень Святослава скитается невоспетая», — писал Пушкину Гнедич, сам замысливший ряд сочинений на русские исторические темы. Пушкин в ответ Гнедичу: «А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский?»

Первой думой Рылеева, посланной на суд Гнедичу в июне 1821 года, была «Курбский», названная при публикации в том же году в «Сыне Отечества» еще не думой, а элегией (без сомнения, этот подзаголовок принадлежит не автору, а издателю — Воейкову). За «Курбским» последовали в то же лето и в течение всего этого года «Святополк» (также напечатанный Воейковым в «Сыне Отечества»), «Олег Вещий», «Ольга при могиле Игоря», «Рогнеда», «Бонн». «Михаил Тверской», «Смерть Ермака», «Борис Годунов», «Дмитрий Самозванец», «Богдан

Хмельницкий» и «Волынский» (некоторые из этих дум Рылеев перерабатывал в следующем году).

Сюжеты многих своих дум Рылеев брал из «Истории государства Российского». Труд Карамзина в период с 1818 по 1821 год сделался широко известным в обществе, вызвал толки и споры, нападки и похвалы, но совершил свое главное действие — открыл русским Россию во всем величии ее истории. Для поэтов и прозаиков «История» Карамзина явилась сокровищницей сюжетов и образов (как наиболее важное в этом плане можно назвать именно думы Рылеева и, конечно, «Бориса Годунова» Пушкина). «Подвиг честного человека» — так назвал труд историка Пушкин. Позднее Белинский скажет: «История государства Российского» — творение великое, которого достоинство и важность никогда не уничтожатся… «История» Карамзина навсегда останется великим памятником в истории русской литературы». Белинский отметит огромное значение этой «Истории» для русской литературы в отношении языка, так как в ней историк «преобразовал русский язык, совлекши, его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи». В «Истории» Карамзина — начало великой прозы классиков XIX века. Как много дал русским Карамзин своим трудом! Нельзя назвать другого произведения, так сильно подвинувшего вперед национальное самосознание русских людей.

Исследователи дум Рылеева показали, что он часто как бы переводил стихами прозу Карамзина. Например, У Карамзина: «Бегство нас не спасет… волею или неволею должны мы сразиться: не посрамим отечества»; у Рылеева в думе «Святослав»:

Друзья, нас бегство не спасет!..
Нам биться волей иль неволей.
Сразимся ж, храбрые, смелей,
Не посрамим отчизны милой.

Подобная точность в следовании тексту Карамзина имела большой смысл: «История государства Российского» в глазах читателей стала как бы первоисточником (недаром Пушкин назвал Карамзина «последним летописцем»): историк-художник собрал и переработал огромную массу исторических документов, стремясь подкрепить авторитетными свидетельствами каждый факт, даже — по возможности — мельчайший. Читатели в думах узнавали там и сям текст Карамзина — Рылеев на это и рассчитывал: это увеличивало патриотическо-воспитательное действие дум.

Однако Рылеев не следовал в думах той психологической правде в отношении образа мыслей героев древности, какой старался добиться Карамзин. «Герои его дум мыслят и говорят как декабристы», — пишет один исследователь. То есть у Рылеева исторические лица, жившие в разное время, испытывают примерно одинаковые чувства и проявляют редкое единомыслие, тогда как установка Карамзина говорила, что «всякий век имеет свой особливый нравственный характер», что этот характер «никогда уже не является на земле в другой раз». Героическая личность — порождение условий и обстоятельств конкретной исторической эпохи, говорит Карамзин, считавший, что русский национальный характер развивался постепенно. Рылеев же со всей страстью доказывал, что Вадимы, Сусанины и Яковы Долгоруковы могут явиться в его современности и в будущем со всеми своими выдающимися нравственными качествами и готовностью жертвовать собой за правду, вольность, родину.

Конечно, те же герои у Карамзина тоже были для Русских примером, но идеальным, отдаленным, хотя исторически и более объективным. И Карамзин и Рылеев воспитывали, но

Рылеев еще звал и к действию. Карамзин как бы говорил: гордитесь своими великими предками, старайтесь быть похожими на них. Рылеев же как бы уверял русских читателей, что среди них есть Минины и оолынские, что каждый из них способен быть ими. Рыле-ев утверждал национальное единство характера русских людей во все времена.

Удивительна цельность, неизменность представлений ылеева о патриотизме соотечественников в разное время его жизни. Так, например, уже в стихотворении 1813 года «Любовь к Отчизне» он пишет:

...Но римских, греческих героев
В любви к отечеству прямой
Средь мира русские, средь боев,
Затмили давнею порой.
Владимир, Минин и Пожарский,
Великий Петр и Задунайской
И нынешних герои лет,
Великие умом, очами,
Между великими мужами,
Каких производил сей свет.

Героем первой своей думы Рылеев избрал Курбского. Карамзин в VIII и IX томах «Истории» настолько выразительно изобразил эту трагическую фигуру времени царствования Грозного, что она врезалась в память читателя, поражала.

По Карамзину, Курбский — выдающийся государственный деятель, но вместе с тем и «государственный преступник», так как не только покинул родину, но и выступал против нее во главе вражеских войск: «Горе гражданину, который за тирана мстит отечеству!»

Дума Рылеева, при первой публикации не снабженная, как он это сделал позже, развернутым примечанием-введением, рисовала образ изгнанника, сильного человека, лишенного тираном возможности совершать героические дела во славу отечества.

«Курбский» не иллюстрация к «Истории» Карамзина. В ней есть один неожиданный аспект, связавший ее с декабризмом: Рылеев как бы предугадывал судьбу одного из своих соратников по Северному обществу — Николая Тургенева, в чем и нашла свое подтверждение историческая концепция Рылеева о неизменности основных черт национального характера русских героев.

Тургенев тоже крупный государственный деятель, энергичный, талантливый, свободомыслящий; он, как и Курбский, покинул Россию и вынужден был долгие годы провести на чужбине, так как путь на родину ему заградил смертный приговор, вынесенный ему в связи с восстанием 14 декабря. Как и Курбский, Тургенев на чужбине писал о России — он издал во Франции своя «Записки изгнанника» под общим названием «Россия и русские», где, в частности, подробно обрисованы многие события общественно-политической жизни в России с 1812 по 1825 год. Тургенев с большим вниманием читал «Историю» Карамзина. В 1818 году он записал в дневнике: «Сию минуту я кончил VIII т. Истории Карамзина… В царствание Иоанна удивляет меня Курбский своим умом и доблестию».

В думе Рылеева «Курбский» — «вождь младой», «в совете мудрый, страшный в брани» (у Карамзина «юный, бодрый воевода, в нежном цвете лет ознаменованный славными ранами, муж битвы и совета»), «гроза ливонцев и Казани». Все стихотворение — монолог. Курбский, «грустный странник», сидит «на камне мшистом в час ночной» где-то «в Литве»:

Сидел — и в перекатах гром
На небе мрачном раздавался,
И темный лес, шумя кругом,
От блеска молнии освещался…

Курбский жалуется на свою судьбу, на несправедливость Грозного:

До дряхлой старости влача
Унылу жизнь в тиши бесславной,
Не обнажу за Русь меча,
Гоним судьбою своенравной.

За то, что изнемог от ран,
Что в битвах край родной прославил,
Меня неистовый тиран
Бежать отечества заставил…

Позднее, прибавя к думе примечание, Рылеев сделает к этому полубайроническому образу изгнанника поправку, довольно значительную, указав, как и Карамзин, на действительное изменничество Курбского: «Забыл отечество, предводительствовал поляками во время их войны е Россиею и возбуждал против нее хана Крымского».

Измены родине не оправдывает ничто. И великолепные письма Курбского Грозному, обличающие жестокости его правления, письма, ставшие одним из ярких памятников древнерусской литературы (как и письма Грозного к нему), ни в какой мере не обеляют изменника.

И все же Курбский в думе Рылеева — трагическая личность. Дума эта — как бы один из монологов ненаписанной трагедии. Вся трагедия — как грозовая туча, клубится за ней. Недаром (как и в других думах Рылеева — недаром) монолог произносится на фоне грозы.

И вот — в то же лето 1821 года — разразилась еще одна гроза — гроза над Иртышом, и опять в царствование Грозного:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали,
Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали…
Ко славо страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Возникла «Смерть Ермака», та героическая песнь, которую вот уже второй век поет русский народ, — дума стала народной песней, одной из любимейших. «Ермак узнал о близости врага… — пишет Карамзин. — Лил сильный дождь, река и ветер шумели».

Сама эта гроза — исторический факт. Однако некоторые исследователи и в ней усматривают атрибут иностранного происхождения: грозы и бури характерны для поэм Оссиана… Оссиан (точнее — Джеймс Макферсон, его создатель) оказал большое влияние на мировую литературу, в том числе и на русскую. Оссиан в русской поэзии — тема важная. Но

вряд ли нужно все оссианическое стягивать в один узел и в каждой грозе видеть бурю над Кромлой, а в каждом задумавшемся герое — самого Оссиана. Думы Рылеева никак не сводятся только к байронизму и оссианизму — то и другое только печать времени.

Согласно такому взгляду — «все герои Рылеева непременно задумчивы и почти всегда печальны». Объясняется же эта «задумчивость» оссиановской традицией, а в качестве доказательства приводится такой пример: на титульном листе первого издания «Дум» (М., 1825) гравер А. Флоров с ведома автора поместил изображение Оссиана из 4-го издания оссиановских стихотворений… Он сидит над рекой, погруженный в глубокую думу…

Во-первых, неизвестно, «ведал» ли Рылеев о том, что делал гравер: Рылеев находился в Петербурге, а сборник печатался в Москве под наблюдением П.А. Муханова и Е.П. Оболенского. Во-вторых, выбор рисунка для титульного листа мог определиться не тем, что это именно изображение Оссиана; главное здесь то, что изображенная фигура погружена в раздумье, в *думу* — ведь сборник состоит из дум, — естественно, что поведение героев обусловлено этим — рылеевским — жанром.

Вообще же титульные листы сборников стихотворений 1820-х годов полны случайных или более или менее подходящих изображений — урн, венков, воинских доспехов, «мшистых» скал, амуров, жертвенников, храмов, статуй, гениев и муз, играющих на лирах, арфах, флейтах или сидящих в задумчивости.

Рылеев углубился в «Историю» Карамзина. Еще четыре думы в 1821 году были подсказаны ему русским историком: «Святополк», «Михаил Тверской», «Борис Годунов» и «Ольга при могиле Игоря».

В думах Рылеева действуют не только герои, но и злодеи — как резкий контраст к ним, — злодеи тоже пример, но отрицательный. Это Святополк и Димитрий Самозванец. За первым летописная традиция закрепила прозвище Окаянного, второго Рылеев в последней строке думы окрестил «нераскаянным злодеем».

Святополк был братоубийца, он убил, как возможных претендентов на киевский великокняжеский стол, Святослава, Бориса и Глеба. Четвертый брат — новгородский князь Ярослав — повел с ним борьбу и через несколько лет (1019 год) разбил его войско при реке Альте. «Окаянный Святополк обратился в бегство. И обуяло его безумие, и так ослабели суставы его, что не мог сидеть на коне, и несли его на носилках… Невыносимо ему было оставаться на одном месте, и пробежал он через Польскую землю, гонимый гневом божьим. И прибежал в пустынное место между Чехией и Польшей и тут бесчестно скончался» («Сказание о Борисе и Глебе»).

Рылеев изображает только предсмертные метания Окаянного.

Что касается Владимира Святого, то Рылеев в думе о нем (1822 или 1823), не вошедшей в окончательно составленный цикл, рисует муки его совести:

Братоубийством отягченный,
На светлых пиршествах сидел он одинок
И, тайной мыслию смущенный,
Дичился радостей…

Но, как говорит Рылеев, его преступление — остаток мрачного язычества, а язычество он по внушению свыше уничтожил крещением Руси. Он сделал Русь христианской, православной.

…Дума «Михаил Тверской» — рассказ о князе-мученике, зверски убитом в Орде за то, что он разбил войско московского великого князя, утвержденного ханом, — своего племянника,

князя Георгия, раболепствовавшего перед татарами. Это один из эпизодов героического сопротивления игу ордынцев за шестьдесят лот до Куликовской битвы. Ожидая расправы, Тверской со слезами «мечтал, потупя взор»:

Я любил страну родную
И пылал разрушить в ней
Наших бед вину прямую:
Распри злобные князей.
О Георгий! Ты виною,
Ты один тому виной,
Если кровь сограждан мною
Пролита в стране родной!
Ты на дядю поднял длани;
Ты в душе был столь жесток,
Что на Русь всю лютость брани
И татар толпы навлек![5]

Одна из лучших дум Рылеева — «Борис Годунов». Когда он ее писал, вышел еще только девятый том «Истории» Карамзина, тогда как образ Годунова, сходный с рылеевским, у Карамзина появится в томе одиннадцатом (он выйдет в 1824 году). Но у Рылеева был материал, изложенный с необходимой полнотой, — это «Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам Первого кадетского корпуса» П.С. Железникова (изданная в Петербурге в 1804 году), — отличная хрестоматия, по которой учился Рылеев в этом самом корпусе. Греч впоследствии отметил даже, что эта книга способствовала развитию в Рылееве революционных идей. В русском литературоведении не раз отмечалось сходство думы Рылеева и трагедии Пушкина «Борис Годунов».

Особенно близок к думе Рылеева монолог Годунова «Достиг я высшей власти»:

...Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе...
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна...
...Ах, чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда — беда!..

Тема разлада между благими намерениями и нечистой совестью. У Рылеева в думе:

«О заблуждение! — он возопил. —
Я мнил, что глас сей сокровенный

Навек сном непробудным усыпил
В душе, злодейством омраченной!
Я мнил: взойду на трон — и реки благ
Пролью с высот его к народу,
Лишь одному злодейству буду враг;
Всем дам законную свободу…
…Добро творю, — но ропота души
Оно остановить не может:
Глас совести, в чертогах и в глуши
Везде равно меня тревожит.
Везде, как неотступный страж, за мной,
Как злой, неумолимый гений,
Влачится вслед — и шепчет мне порой
Невнятно повесть преступлений!..
Ах! Удались! дай сердцу отдохнуть
От нестерпимого страданья!..

Версии Рылеева, Пушкина и Карамзина совпали. Карамзин говорит о «злодейском убийстве» царевича Дмитрия в Угличе, о том, что Годунов, подославший убийц, являет собой «дикую смесь набожности и преступных страстей».

В упоминавшейся книге Железникова, которую Рылеев знал с детства, говорилось следующее: «Борис Годунов был один из тех людей, которые сами творят блестящую судьбу свою и доказывают чудесную силу натуры… Принимая венец, Годунов со слезами клялся быть правосудным, человеколюбивым, отцом народа. Он старался исполнить обет свой. Летописцы наши, столь неохотно отдающие ему справедливость, признаются, что Борис «любил в судах правду» и что в его время не лилась кровь на эшафотах… Царь Борис хотел ввести в России науки с художествами… хотел употребить все способы для просвещения России… И сего монарха, о котором Петр Великий отзывался с уважением, летописцы наши не стыдятся описывать безумным злодеем».

Историки наших дней подтверждают мнение Железникова. Погубила Годунова необдуманная мера по отношению к крестьянам — отмена Юрьева дня, когда крепостные могли переходить от одного помещика к другому. Неурожайные годы, голод довершили дело — крестьянские бунты переросли в целую войну. Появился Лжедмитрий…

Годунов у Рылеева, несмотря на муки совести, полон стремления к добру:

Пусть злобный рок преследует меня —
Не утомлюся от страданья,
И буду царствовать до гроба я
Для одного благодеянья.
Святою мудростью и правотой
Свое правление прославлю
И прах несчастного почтить слезой
Потомка позднего заставлю.

Пушкин впервые прочел думу Рылеева в «Полярной Звезде» на 1823 год. В письме к брату

из Кишинева он сетовал, что в альманахе его стихотворение «Война» (в «Полярной Звезде» — «Мечта воина») «напечатано с ошибочного списка — *призванье* вместо *взыванъе; тревожных дум,* слово, употребляемое знаменитым Рылеевым, но которое по-русски ничего не значит». В строке Пушкина «ничто не заглушит моих привычных дум» — эпитет «привычных» был кем-то исправлен на «тревожных». Может быть, Пушкин думал, что это сделал Рылеев, так как он иронически назвал его «знаменитым» и сослался на его строки из думы «Борис Годунов»:

Пред ним прошедшее, как смутный сон,
Тревожной оживлялось думой…

И все-таки Рылеев нашел эпитет удачный: сегодняшнему читателю он не кажется бессмысленным.

Все думы Рылеева — трагедии (хочется назвать их «маленькими трагедиями»), сконцентрированные, сведенные к главному, все определяющему монологу героя. У Рылеева есть дума, которая даже как бы заменяет собой целую трагедию — конкретную, а именно «Димитрия Самозванца» А.П. Сумарокова (1771).

Создавая одноименную думу, Рылеев пользовался не «Историей» Карамзина, а трагедией Сумарокова. В двенадцати восьмистрочных строфах уместилась вся суть пьесы, причем Рылеев и за пределы ее не вышел. Это очень любопытный опыт поэтического конспектирования большого произведения. Конечно, от тяжеловесного языка Сумарокова не осталось в думе и следа, а вместо классического шестистопного ямба («александрийца») появился живой и поворотливый четырехстопный хорей:

Чьи так дико блещут очи?
Дыбом черный волос встал?
Он страшится мрака ночи;
Зрю — сверкнул в руке кинжал!..
Вот идет… стоит… трепещет…
Быстро бросился назад;
И как злой преступник мещет
Вдоль чертога робкий взгляд!
Но убийца ль сокровенной,
За Москву и за народ,
Над стезею потаенной
Самозванца стережет?..

Так метался в Кремле, предчувствуя свою гибель, Самозванец. Он хотел покончить жизнь самоубийством, но — «смерть тирана ужаснула: выпал поднятый кинжал»:

Но как будто вдруг очнувшись:
«Что свершить решился я? —
Он воскликнул, ужаснувшись. —
Нет! не погублю себя.
Завтра ж, завтра все разрушу,
Завтра хлынет кровь рекой —

И встревоженную душу
Вновь порадует покой!
...И твоя падет на плахе,
Буйный Шуйский, голова!
И, дымясь в крови и прахе,
Затрепещешь ты, Москва!»

Москва не ждала — загудел набат, «волны шумные народа, ко дворцу стремясь, кипят. Вот приближались, напали; храбрый Шуйский впереди — и сарматы побежали с хладным ужасом в груди». Самозванец в панике выскочил в окно и был растерзан восставшими. Для Рылеева не то важно, что Дмитрий именно Самозванец, а то, что он тиран, жестокий и бессмысленный, притом эгоист и трус. Он точно следует Сумарокову, у которого Дмитрий также мечется:

Не венценосец я в великолепном граде,
Но беззаконник злой, терзаемый во аде.
Я гибну, множество народа погуби.
Беги, тиран, беги!.. Кого бежать?.. Себя?
Не вижу никого другого пред собою.
Беги!.. Куда бежать?.. Твой ад везде с тобою.
Убийца здесь: беги!.. Но я убийца сей.
Страшуся сам себя и тени я моей.

Однако нужно сказать, что образ Самозванца у Сумарокова, как и все его действия в пьесе, не историчен. Рылеев не прочел еще десятого и одиннадцатого томов «Истории» Карамзина, где говорится о Самозванце (они выйдут в 1824 году). Карамзин же нарисовал образ личности незаурядной, Самозванец у него «оказывал много Ума», он, «мечтатель, был неплохим стихотворцем», то есть по тем временам сочинителем «канонов», которые и были древнерусской книжной поэзией, ориентировавшейся на сочинения Иоанна Дамаскина и Андрея Критского (Пушкин в своей трагедии назвал в одном месте Самозванца «виршеписцем»). Карамзин пишет, что Самозванец «с прилежанием читал российские летописи». Сумароковско-рылеевский подход к изображению Самозванца не был поддержан в русской литературе. За Рылеевым не последовал никто: у Пушкина в «Борисе Годунове» Самозванец не тиран, не ничтожество, а проницательный, умный деятель, хотя порой и был «беспечен он как глупое дитя». В драме А. Хомякова (1832) Самозванец — мудрый правитель, заботящийся о благе народа, но не сумевший найти в нем опоры, так как был орудием Ватикана, католиком, а не православным человеком, как необходимо — по Хомякову — для русского самодержца. В драматической хронике А. Островского «Димитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866), которую драматург назвал «плодом пятнадцатилетней опытности и долговременного изучения источников», Самозванец рисуется хотя и с определенной антипатией, но также далеко не тираном.

В 1821 году, в самый разгар работы над думами, Рылеев натолкнулся на еще одну тему — важности для него необыкновенной. В этом году вышли в свет «Записки князя Я.П. Шаховского», очевидца событий при дворе императрицы Анны Иоанновны, когда ее именем властвовал жестокий и бездарный немец — временщик Бирон.

Образ статс-секретаря Артемия Петровича Волынского, пламенного патриота, вступившего

в борьбу с иностранным выходцем, наглым чужаком, которому свой карман был дороже всего русского народа, захватил поэта. Волынский пал жертвою доносов и был казнен. Рылеев увидел в нем образец гражданина, борца с тиранами, народного героя, пример для всех, кто хочет служить России.

Волынский (1689–1740) был сподвижником Петра I, послом в Персии; при Екатерине I он был казанским губернатором в чине генерал-майора; в царствование Анны Иоанновны он воевал под началом фельдмаршала Миниха, затем начал вести тонкую, рискованную политическую игру, делать карьеру. В 1738 году он уже кабинет-министр и докладчик у императрицы по делам кабинета. Продвигаясь вверх по служебным ступеням, Волынский вынашивал планы устранения Бирона и дворцового переворота в пользу «дщери Петровой» Елизаветы. Вокруг него постепенно собрался кружок единомышленников — архитектор Еропкин, историк Татищев, дипломат и поэт Кантемир и еще несколько лиц.

В этом кружке толковали о политике, изучали труды Макиавелли, Тацита, новейшую политическую литературу Запада. Волынский сочинил ряд трактатов: «О гражданстве», «О дружбе человеческой», «Каким образом суд и милость государям иметь надобно», а главное — «Генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел» (извлечения из этого труда он даже представил императрице). В этом проекте Волынский ратовал за введение общего образования для русских, за создание академии и университета, издание свода законов, за улучшение финансового хозяйства.

Что касается правления, Волынский полагал, что все государственные должности должны замещать исключительно русские люди. Он предлагал посылать молодых русских дворян учиться за границу, «чтоб свои природные министры со временем были». Он считал, что даже священников нужно выбирать из образованных дворян, чтоб они могли двигать просвещение в народ.

Записка о вреде, приносимом России Бироном, поданная Волынским императрице, не имела успеха. Это решило судьбу патриота. На него донесли, что он вел «крамольные речи», критиковал «систему», называл государыню «дурой» («Как докладываешь, — говорил Волынский, — резолюции от нее никакой не добьешься»). Бирон заявил Анне: «Либо мне быть, либо ему». После расследования, конечно крайне тенденциозного, после жестоких пыток Волынский был четвертован (перед этим ему в камере Петропавловской крепости вырезали язык). Вместе с ним казнены были его друзья Хрущов и Еропкин. Тела всех троих были погребены в ограде церкви Самсония-Страннопримца.

После того как дума Рылеева была опубликована (1822 и 1825), началось настоящее паломничество к могиле Волынского. Народ ответил на призыв поэта:

Сыны отечества! в слезах
Ко храму древнего Самсона!
Там, за оградой при вратах,
Почиет прах врага Бирона.
Отец семейства! приведи
К могиле мученика — сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!
Любовью к родине дыша,
Да все для ней он переносит
И, благородная душа,
Пусть личность всякую отбросит.

Пусть будет чести образцом,
За страждущих — железной грудью,
И вечно заклятым врагом
Постыдному неправосудью.

Образу, созданному Рылеевым, никак не противоречил образ реального исторического лица, которое, помимо столь великих достоинств, имело свои недостатки. Изгнав эти недостатки из думы, Рылеев упомянул их в прозаическом примечании к ней: «Манштейн изображает его человеком обширного ума, но крайне искательным, гордым и сварливым». Волынского некогда до полусмерти избил дубинкой Петр I. Сам Волынский чуть не попал под суд за избиение в 1724 году мичмана Мещерского. Впоследствии он поколотил во дворце поэта Тредьяковского. Были у него проступки и более неприглядные — он жестоко притеснял калмыков, будучи в 1700-е годы астраханским губернатором. Он брал и взятки. Став губернатором в Казани, он принялся угнетать татар и марийцев. Продвигаясь к своей цели — стать во главе правительства, — Волынский хитрил: ненавидя чужеземцев (Миниха, Остермана, Бирона), он позволял себе в какие-то моменты заискивать перед ними.

Манштейн (иностранец) все это припомнил. А другой современник Волынского, князь Шаховской, русский человек, запомнил лишь хорошее. «Все его мне являемые дела, — писал он, — мнения и рассуждения патриотическими и верно радетельными монархине и отечеству признавал и, тщася в таком случае ему доказать мою благодарность, посещал его в доме, когда уже все его оставили, а только еще бывали его друзья. Учрежденный тогда суд над моим благотворителем Волынским по большей части под надсмотрением и руководством его злодеев и ненавистников производился».

Екатерина II, изучив следствие по делу Волынского, заключила, что он «добрый и усердный патриот и ревнитель к полезным поправлениям своего отечества, и так смертную казнь терпел, быв невинен».

В думе «Волынский» Рылеев, выступая против «тиранства» и «неправосудия», не нападает на самое самодержавие:

Стран северных отважный сын,
Презрев и казнью и Бироном,
Дерзнул на пришлеца один
Всю правду высказать пред троном:
Открыл царице корень зла,
Любимца гордого пороки,
Его ужасные дела,
Коварный ум и прав жестокий.

Однако Рылеев не мог оправдать Анны Иоанновны — ее именем, благодаря ее безнравственности совершал Бирон свои гнусные дела. Следом за думой «Волынский» он написал другую — «Видение Анны Иоанновны», основанную на предании о том, что мертвая голова Волынского явилась императрице и смутила ее совесть. «Говорят, что как Елизавета после казни Эссекса, так и императрица Анна после ужасной казни Волынского не знала более покоя. Измученный и окровавленный призрак ее прежнего министра преследовал ее беспрестанно. Даже на смертном одре ей казалось, что она видит его, и в момент смерти на

лице ее был изображен страшный ужас» (Н.И. Тургенев, «Россия и русские», ч. 2-я). В думе Рылеева:

Она взглянула — перед ней
Глава Волынского лежала,
И на нее из-под бровей
С укором очи устремляла.
Лик смертной бледностью покрыт,
Уста раскрытые трепещут;
Как огнь болотный в ночь горит,
Так очи в ней неясно блещут.
Кругом главы во тьме ночной
Какой-то чудный свет сияет,
И каплющая кровь порой
Помост чертога обагряет.
Рисует каждая черта
Страдальца славного отчизны;
Вдруг посинелые уста
Залепетали укоризны…

Эта дума была запрещена цензурой — Рылеев не увидел ее в печати.

В 1833–1834 годах И.И. Лажечников изобразил Волынского в историческом романе «Ледяной дом», следуя именно рылеевской, патриотической трактовке его образа. Лажечников внимательно изучал первоисточники, как и Рылеев — он знал о Волынском все, но и его интересовала прежде всего борьба русского государственного деятеля с подлинной бандой немецких временщиков, окружившей главаря — Бирона.

«Как? — восклицает Волынский в романе, — из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй — ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества; слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого!.. Стоит только раскрыть Петербург. Архипастырь, измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которою свыкся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице; иноки, вытащенные из келий и привезенные сюда, чтоб отречься от святого обета, данного богу, и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию; система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движения имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека — движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы; расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя; народность, каждый день поруганная; Россия Петрова, широкая, державная, могучая — Россия, о боже мой! угнетенная ныне выходцем, — этого ли мало, чтоб стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы?.. Мы, русские, мы протянули свои воловьи шеи под ярмо недостойного пришельца, мы любуемся, как он, вогнав нас в смрадную топь, взбивает нам кровь ремнями, вырезанными из наших спин… Я друзьям и себе дал слово идти против чужеземного нашествия и предводителя его. В этом я поклялся пред образом Спасителя, — мне достался крест по жребью — я опоясался им, как мечом; я крестоносец, и если я изменю клятве своей, наступлю на распятие сына божия!»

Такой Волынский, как справедливо отметил в биографии Рылеева К. Пигарев, «мог

посмертно претендовать на звание почетного члена Союза Благоденствия».

У Рылеева и Лажечникова герцог Бирон — только мрачный злодей. В 1822 году и Пушкин назвал его «кровавым злодеем».

В то время, когда Рылеев написал и напечатал «Волынского», вопрос о «пришлецах иноплеменных» стоял в России достаточно остро. Патриотизм Александра I, отличавший начало его царствования, выдохся. А. Пыпин писал, что «во времена Священного союза в Александре в особенности стали обнаруживаться черты, которые возбуждали к нему антипатию даже в среде русского общества. Безучастный к интересам, волновавшим мыслящую часть общества, он желчно относился к русской жизни… Складывалось мнение, что Александр не любит России; говорили, что он не любит русского языка и литературы».

Александр годами пропадал в Европе, проводя конгресс за конгрессом, «устраивал» европейские дела, искал в Европе популярности. Он почти забыл русский язык, — было замечено, что ему трудно при разговоре по-русски быть умным. На французском и немецком языках он был остроумен и иногда даже глубок.

…Летом 1821 года впервые возникла в творчестве Рылеева тема Украины — он написал думу «Богдан Хмельницкий» (позднее он задумает цикл «украинских» поэм). К этому его привел целый ряд причин. Острогожск, город русский, имел в себе много украинских черт — в быту, в истории. Живя в Острогожском уезде, Рылеев пишет Булгарину в июне 1821 года: «Вот уже три недели, как я пирую на Украине». В стихотворении «Пустыня», написанном в Подгорном:

...Как дни мои летят
В Украине отдаленной.
...Покину скоро я
Украинские степи...

Вообще к началу 1820-х годов интерес к Украине — к Малороссии — необычайно возрос среди русских литераторов и историков. Так, в 1818 году в Петербурге вышла «Грамматика малороссийского наречия» А. Павловского. В 1819 году князь И. Цертелев, член Вольного общества любителей российской словесности, знакомый Рылеева, выпустил «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (собиратель многие песни записал на Украине непосредственно от народных певцов). В Харькове при университете в 1810-1820-х годах выходили «Украинский Вестник» и «Украинский Журнал», помещавшие статьи о Малороссии. Интересовался Малороссией Орест Сомов, один из ближайших знакомых Рылеева, — он переводил на русский язык украинские песни и стихи (так, он поместил в «Благонамеренном» в 1821 году перевод «Песни о Богдане Хмельницком» Л. Рогальского — этот перевод явился одним из источников для думы Рылеева); позднее (1825) он напишет повесть «Гайдамак». В книге «О романтической поэзии» (1823) Сомов призывал современных русских поэтов описывать «малороссиян с сладостными песнями и славными воспоминаниями, воинственных сынов тихого Дона и отважных переселенцев Сечи Запорожской… Цветущие сады плодоносной Украины, живописные берега Днепра, Пела н других рек Малороссии, разливистый Дон, в который смотрятся, красуясь, виноградники, — все сии места и множество других ждут своих поэтов и требуют дани, от талантов отечественных». Об этом, без сомнения, говорил Сомов в 1820–1821 годах и с Рылеевым. Прекрасно знал историю своей родины, Украины, и Корнилович, позднее доставлявший Рылееву некоторые материалы для его поэм. Позднее член Северного общества А. Ф. фон дер Бригген (или, как звали его товарищи, Брыгин), имевший поместье в

Черниговской губернии, перешлет Рылееву «Историю Руссов, или Малой России» Г.А. Полетики. «Я буду прилагать старания, — писал Бригген Рылееву, — доставить вам колико возможно материалы из Малороссийской истории».

Хмельницкий стал главным героем повести Федора Глинки, напечатанной в «Соревнователе просвещения и благотворения» в 1819 году. Вполне вероятно, что номера журнала с этой повестью были у Рылеева в Острогожске летом 1821 года; во всяком случае — сюжет думы Рылеева во многих деталях следует повести Глинки. «Что бессмертный Тель для Швейцарии, — писал Глинка, — Густав Ваза для Швеции, Вильгельм Нассау для Голландии и Пожарский для отечества нашего, то знаменитый Хмельницкий для освобожденной им Малороссии». Глинка сообщает во вступлении к повести, что он собирал материалы для биографии Хмельницкого на Украине и в Польше (по примеру Глинки позднее и Рылеев хотел объехать все места в Малороссии, где действовал Хмельницкий), «вслушивался даже в песни народа»: читал рукописи еще не опубликованных трудов историков Малороссии — В.И. Григоровича, М.К. Грибовского. Словом, Глинка был знатоком в украинской истории и, конечно, не раз беседовал на эту тему с товарищами по Вольному обществу любителей российской словесности.

Дума Рылеева «Богдан Хмельницкий» рассказывает о герое-патриоте, не жалевшем сил ради свободы «украинских степей». Эта дума — в некотором роде параллель к «Волынскому» — оба героя противостоят «пришлецам иноплеменным» (в обеих думах есть это выражение), только Волынский борется на поприще гражданственном, а Хмельницкий на поле брани; Волынский — словом и пером. Хмельницкий — словом и саблей. Там — Бирон против России; здесь Чаплицкий, ставленник польского короля, против Малороссии. Оба «пришлеца» относятся с «холодным презреньем к священнейшим правам людей», несут народам «рабство», оба — «мучители ожесточенные».

В думе Рылеева говорится только о раннем этапе борьбы Хмельницкого — его бегстве из польской тюрьмы и сражении его войск с «сарматами» (поляками) при Желтых Водах.

…Лето подходило к концу. Много было сделано. Еще больше задумано. Но Рылеев не был бы Рылеевым, если бы его стремления замыкались только в области литературы.

В стихотворении «К К(осовско)му в ответ на стихи, в которых он советовал мне навсегда остаться на Украине», Рылеев пишет:

Чтоб я младые годы
Ленивым сном убил!
Чтоб я не поспешил
Под знамена свободы!
Нет, нет! тому вовек
Со мною не случиться;
Тот жалкий человек,
Кто славой не пленится!
Кумир младой души —
Она меня, трубою
Будя в немой глуши,
Вслед кличет за собою
На берега Невы!

…«Знамена свободы», «слава»… Какая свобода? какая слава? Свобода — крестьянская, общая, конец аракчеевщины, неправедного суда. Слава — да, Рылеев мечтал о том, чтобы в истории России осталась о нем «страница». Но тут на первом месте именно Россия, — ее благо. И к этой славе он не собирался лезть по лестнице чинов — военных или гражданских. Он первым из Декабристов «дал мысль, чтобы служить в палатах для показания, что люди облагораживают места и для примера бескорыстия». Вслед за Рылеевым на место мелкого чиновника в суде поступил Пущин. И потом «многие молодые люди сделали то же», как вспоминал современник.

Конец лета 1821 года Рылеев провел в Батове. В сентябре он нанял за 750 рублей в год деревянный одноэтажный дом с мезонином на Васильевском острове, в 16-й линии — между Большим и Средним проспектами (номер 17, дом Белобородова). «Квартира выгодная, — писал он матери, — 4 комнаты довольно большие, из коих одна перегороженная. Людская с кухней особенная; конюшня на два стойла, может стать и третья лошадь. Сарай и ледник, в который можно будет складывать дрова». Рылеев забыл упомянуть сад, бывший при доме. Очевидно, новое жилье было не совсем по средствам. «Беда, — говорит Рылеев в том же письме, — что деньги за каждую треть вперед; но я как-нибудь изворочусь… Пришлите на первый случай посуды какой-нибудь, хлеба и что вы сами придумаете нужное для дома, дабы не за все платить деньги». Мать сверх «нужного» прислала и корову вместе с возом сена для нее, чтоб было молоко для малютки Настеньки.

В этом доме в конце октября собралась вся семья Рылеева, включая сводную сестру его Аннушку.

5

Перейти из «сотрудников» в действительные члены Вольного общества любителей российской словесности было не так-то легко: каждое читавшееся на заседаниях произведение ставилось на голосование. 12 сентября 1821 года Рылеев прочел в обществе три стихотворения — перевод (размером подлинника) элегии Проперция «К Цинтии», «Надгробную надпись» («Под тенью миртов и акаций…») и «Младенцу» («На рождение Я.Н. Бедраги»). Из 19 членов 9 голосовало против этих стихов. 17 октября Рылеев читал «Пустыню» — она была одобрена и рекомендована к печати в журнале общества, но не засчитана как основание для перевода Рылеева в действительные члены. 28 ноября Рылеев выступил с чтением думы «Смерть Ермака», и тут успех был полным. В соответствующем протоколе было отмечено: «Общество, отдав должную справедливость трудам и усердию г. члена-сотрудника К.Ф. Рылеева и найдя представленное им стихотворение «Смерть Ермака» достойным особенного уважения, определило… переименовать его в действительные члены, будучи уверено, что он в сем новом и важном звании потщится усугубить ревность свою в трудах общества». 5 декабря Рылеев с успехом прочел думы «Бонн» и «Богдан Хмельницкий».

Рылеев стал одним из самых активных деятелей общества, как и Глинка, он редко пропускал заседания. Основное ядро общества в 1822 году составляли, кроме Глинки и Рылеева, братья Бестужевы, Корнилович, Сомов, Плетнев, Дельвиг, Никитин и Булгарин. Гнедич, занятый переводом «Илиады», в этом году из 26 заседаний посетил только 6. Рылеев был назначен одним из цензоров (здесь — редакторов) общества по разделу поэзии. По его рекомендации были рассмотрены в обществе стихи поэтов Н. Языкова и В. Григорьева, они вскоре были приняты в члены.

…Наступил 1822 год. Рылееву — двадцать семь лет.

В этом году была издана в Петербурге поэма Пушкина «Кавказский пленник». Вышел и переведенный Жуковским «Шильонский узник» Байрона. Это были первые русские романтические поэмы. В том же году Вяземский писал в «Сыне Отечества»: «Шильонский узник» и «Кавказский пленник», следуя один за другим, пением унылым, но вразумительным сердцу, прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнасе нашем… Явление упомянутых произведений, коими обязаны мы лучшим поэтам нашего времени, означает еще другое: успех посреди нас *поэзии романтической».*

Споры о классицизме и романтизме, о том, что лучше — влияние французской или английской поэзии на русскую, мало занимали Рылеева. Однако новый жанр — романтическая поэма — возник в России не без его участия. Думы, появившиеся в печати до «Кавказского пленника», несли в себе прообраз нового жанра независимо от устремлений Рылеева. Позднее он напишет о классиках и романтиках: «Обе стороны спорят… более о словах, нежели о существе предмета, придают слишком много важности формам… на самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а была, есть и будет одна истинная самобытная поэзия, которой правила всегда были и будут одни и те же».

Байрон, как и Оссиан, не был все-таки решающей силой в становлении русского романтизма, кстати говоря, мало похожего на романтизм английский, французский или немецкий. В развитии нашей поэзии была своя логика, зародившаяся в XVIII веке. Русский быт, русские существенные условия, русская история влияли на русских поэтов в гораздо более важном смысле, чем форма произведений. Чем сильнее талант, тем меньше он считается с формами и условиями, с авторитетами и теориями.

Рылеев считал «Кавказского пленника» лучшим произведением Пушкина (и до конца жизни не изменил этого мнения, хотя успел прочесть начало «Евгения Онегина»), в этой поэме для него неважна была ее байроническая окраска, ее романтическая форма. Его захватила новизна ее содержания, ее герой, «отступник света, друг природы», который «в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Это был русский человек, современник Пушкина и Рылеева, отправившийся воевать (или путешествовать — это остается неясным) на Кавказ.

«Байронизм» — до некоторой степени вещь условная. Романтизма также ни во времена Пушкина и Рылеева, ни позже (вплоть до наших дней) никто не сумел определить с исчерпывающей точностью. Вяземский, один из первых и самых усердных его защитников, спрашивал в некотором недоумении: «Как наткнуть на него (то есть на романтизм. — *В.А.)* палец?», то есть как его определить, какой формулировкой? Современные исследователи подчеркивают, что романтизм — явление сложное, существующее во множестве форм и оттенков, приводят, например, такие слова Д. Дидро (во времена которого о романтизме, как известно, речи не было): «Все высокое исчезнет из поэзии, из живописи, из музыки, когда суеверные страхи уничтожат юношескую свежесть темперамента… Умеренные страсти — удел заурядных людей. Если я не устремлюсь на врага, когда дело идет о спасении моей родины, я не гражданин, а обыватель», и отметил, что «подобное заявление мог бы подписать Байрон, Рылеев, любой революционный романтик». Здесь отмечен один из «оттенков» романтизма — просветительский, идущий из эпохи классицизма. Героическая духовность, гражданская страсть в мировой поэзии возникли далеко не во времена Байрона. Но они выявились по-новому. В России тоже по-своему. Рылеев уже в первых своих думах наметил — резко и определенно — главную идею декабристского поэтического романтизма о героическом порыве духа как двигателе общественного развития. Героическом до безрассудства.

«Кавказский пленник» Пушкина — та форма поэмы (вернее, поэма без формы), которой искал Рылеев. Он с восторгом принял открытие Пушкина. И — это произойдет несколько позже — создал на этой основе свой вариант романтической поэмы, оригинальность которого будет отмечена и самим Пушкиным.

Известность Рылеева как поэта росла. Его думы соперничали в популярности со стихами и поэмами Пушкина. В 1822 году Рылеев напечатал в периодике четырнадцать дум, некоторые из них — по два раза. А.Ф. Воейков, публикуя в январе 1822 года в газете «Русский Инвалид» думу «Смерть Ермака», сопроводил ее примечанием: «Сочинение молодого поэта, еще мало известного, но который скоро станет рядом с старыми и славными».

Одновременно возникла и стала упрочиваться слава Рылеева как народного заступника.

Николай Бестужев писал о Рылееве: «Сострадание к человечеству, нелицеприятие, пылкая справедливость, неутомимое защищение истины сделали его известным в столице. Между простым народом имя и честность его вошли в пословицу. Однажды по важному подозрению схвачен был какой-то мещанин и представлен бывшему тогда военному губернатору Милорадовичу. Сделали ему допрос: но как степень виновности могла только объясниться собственным признанием, то Милорадович грозил ему всеми наказаниями, если он не сознается. Мещанин был невинен и не хотел брать на себя напрасно преступления; тогда Милорадович, соскуча запирательствами, объявил, что отдает его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вверяются судам. Он думал, что этот человек от страха суда скажет ему истину, но мещанин вместо того упал ему в ноги и с горячими слезами благодарил за милость.

— Какую же милость оказал я тебе? — спросил губернатор.

— Вы меня отдали под суд, — отвечал мещанин, — и теперь я знаю, что избавлюсь от всех мук и привязок, знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать невинным».

До этого мещанина дошли преувеличенные слухи: Рылеев ничего не мог поделать с

укоренившимся беззаконием, но он все-таки выступал против него, используя любую возможность в суде. Он не боялся подать на рассмотрение Комитета министров вместе с решением суда свое особое мнение. И хотя невинные гибли — слава Рылеева не была безосновательной.

Особенно это видно из разбирательства крупного дела крестьян графа К.Г. Разумовского, обер-камергера двора, помещика Ораниенбаумского уезда Петербургской губернии.

Летом 1821 года крестьяне его обширной вотчины Гостилицы, включающей несколько деревень (всего около пятисот дворов), направили Александру I жалобу на разорительный оброк и слишком тяжелую барщину. Отклик последовал почти немедленно: в Гостилицы был введен батальон солдат. Однако волнения не прекратились. Крестьяне требовали сменить жестокого бурмистра. Отказывались косить барское сено. Собирались огромными толпами на сходки. В августе двое крестьян исчезли — это были ходоки, тайно понесшие новую жалобу властям. Они жаловались на то, что их заставляют работать в праздники, с чрезмерной строгостью наказывают. Ходоки были арестованы. Вслед за тем из Гостилиц ушло пятьдесят ходоков. Они надеялись доставить жалобу вдовствующей императрице Марии Федоровне. Часть их была поймана полицией.

Тем временем в самой вотчине крестьяне пытались освободить арестованных, но солдаты разогнали толпу. Комитет министров поручил гражданскому губернатору усмирить непокорных и предать суду зачинщиков. Губернатор в сопровождении нового войска — батальона пехоты и кавалерии — вступил в Гостилицы, усилив стоявший там отряд. Вооруженных солдат распределили по деревням. Предполагаемые вожаки были схвачены и отправлены в Петербург.

Разбиравшая это дело Петербургская уголовная палата (главное судебное учреждение столицы, находившееся в ведении Сената) предложила десять человек наказать кнутом и сослать в каторжные работы в Нерчинск, десять — плетьми и отдать на усмотрение помещика. Александр I заменил кнут плетьми[6] и разрешил сосланным ехать с семьями. Тем дело не кончилось. В январе 1822 года четыреста крестьян пришло к управляющему имениями с заявлением, что они не будут ни платить оброка, ни исполнять барщину. Александр I приказал отправить в вотчину одного из самых опытных усмирителей — генерал-лейтенанта Гладкова с командой солдат. Последовали новые аресты. Уголовная палата совершила скорый суд и приговорила трех «зачинщиков» наказать кнутом с последующей ссылкой в Нерчинск, семерых — плетьми.

В вотчине все осталось по-прежнему — крестьяне не добились никаких послаблений.

Рылеев как представитель Петербургского уезда, дворянский заседатель, дважды — 11 и 22 апреля 1822 года — выступал в суде. Он решительно протестовал против приговоров гостилицким крестьянам, вынесенных без исследования действительных причин недовольства крестьян. Его мнения были кратко изложены в «Журнале Комитета министров». 1-е: «Дворянский заседатель палаты уголовного суда Рылеев, подписав означенный приговор, остался при особом мнении, что как дело подсудимых основалось только на донесениях управляющего вотчиной гр. Разумовского и на предположении обер-полицеймейстера и что из показаний подсудимых не видно ни причины возмущения, возникшего после решения, ни виновников и главных зачинщиков оного, то и не может он приступить к обвинению кого-либо из подсудимых». 2-е: «Почитаю необходимым для предупреждения могущего вновь возникнуть неповиновения крестьян в вотчине гр. Разумовского послать, по избранию правительства, благонадежного чиновника для исследования на месте, действительно ли бурмистр Николай Егоров делает крестьянам притеснения, как то показывают некоторые из подсудимых, и если делает, то в чем оные состоят; а как из первоначально производившегося в палате дела видно, что бурмистр действует не сам собою, а по установлениям, издавна в вотчинной конторе

существующим, то исследовать: нет ли чего отяготительного в сих установлениях».

Эти мнения — только резюме пламенных речей «заседателя от дворянства» Кондратия Рылеева в суде. Он призывал к расследованию на месте «установлений», заведенных в вотчинной конторе одним из крупнейших вельмож, которого взял под свою защиту сам император. «Император, вельможи, власти, судьи — угождающие силе, все было против, один Рылеев взял сторону угнетенных, и это его мнение будет служить вечным памятником истины, с какой смелостью Рылеев говорил правду», — писал Николай Бестужев.

Именно в 1822 году — в апреле — полушутливо обращался Рылеев к Александру Бестужеву:

В своем болотистом Кронштадте
Ты позабыл совсем о брате
И о поэте — что порой.
Сидя, как труженик, в Палате,
Чтоб свой исполнить долг святой,
Забыл и негу и покой…
Но тщетны все его порывы:
Укоренившееся зло
Свое презренное тело,
Как кедр Ливана горделивый,
Превыше правды вознесло.
Так… сделавшись жрецом Фемиды,
Ты о Парнасе позабыл…

Однако знаменательно, что «жрец Фемиды» именно в стихах говорит о том, что он «Парнас позабыл». Пока длилось дело гостилицких крестьян, Рылеев не только «сидел, как труженик, в Палате», но успевал писать новые стихи — новые думы, а кроме того, он в начале 1822 года (в феврале или марте) вместе с Александром Бестужевым, с которым сдружился и душевно сошелся, положил начало альманаху «Полярная Звезда». «Мы иногда возвращались вместе из Общества соревнователей просвещения и благотворения, — вспоминал впоследствии Бестужев, — то и мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня еще более».

6

К 1822 году Александр Бестужев-Марлинский (Марлинский — его литературный псевдоним, образованный от названия местечка Марли под Петергофом, где он служил в полку) — известный и боевой критик, выступающий против архаистов: Шишкова, Катенина, Шаховского. Он печатает в «Благонамеренном», «Невском Зрителе» и «Сыне Отечества» острые, вызывающие противника на полемику, полные блестящего остроумия статьи. В 1821 году вышла его книга «Поездка в Ревель», дневник путешествия. Он пишет и стихи. Вместе с Вяземским (хотя и не во всем они были друг с другом согласны) в начале 1820-х годов Бестужев-Марлинский был защитником принципов романтического направления в русской литературе, школы Жуковского — Пушкина. Как и Рылеев — независимо от него, — он увлекся русской героической стариной. В одном из тогдашних стихотворений он говорит:

И вспять течет река времен;
И снова край отчизны зрится,
Богатырями населен.

Он углубился в изучение русской истории и фольклора, написал стихотворение о Михаиле Тверском, «старинную повесть» «Роман и Ольга». Таким образом, когда Бестужев и Рылеев встретились в Вольном обществе любителей российской словесности (другое название его — Общество соревнователей просвещения и благотворения), им было о чем поговорить. Бестужев, бывший на два года моложе Рылеева, состоял в это время адъютантом при главноуправляющем путями сообщения герцоге Александре Вюртембергском, брате вдовы Павла I.

Неизвестно, кому из них первому пришла идея издавать альманах (князь Евгений Оболенский, декабрист, в своих воспоминаниях отметил, что Рылееву), но уже в апреле — мае 1822 года оба они направили ряд писем лучшим русским литераторам, в том числе Денису Давыдову, Пушкину, Жуковскому и Вяземскому.

«Предпринимая с А.А. Бестужевым издать русский альманах на 1823 год, — писал Рылеев Вяземскому, — мы решились составить оный из произведений первоклассных наших поэтов и литераторов». Вяземский прислал три стихотворения, несколько эпиграмм и «Надписей к портретам».

21 июля 1822 года Пушкин из Кишинева отвечал Бестужеву: «Посылаю вам мои бессарабские бредни и желаю, чтоб они вам пригодились». «С живейшим удовольствием, — прибавил он в конце, — увидел я в письме вашем несколько строк Рылеева, они порука мне в его дружестве и воспоминании. Обнимите его за меня». Пушкин прислал в альманах стихотворения «Гречанке», «Мечта воина» и «Овидию».

Стихи и проза были получены новыми издателями от Ф. Глинки, А. Корниловича, В. Жуковского, Д. Давыдова, Н. Гнедича, А. Воейкова, О. Сомова, О. Сенковского, Н. Греча, И. Крылова, А. Дельвига, А. Измайлова и других авторов. Бестужев дал для «Полярной Звезды» две повести — «Роман и Ольга» и «Вечер на бивуаке», а также критический обзор, открывавший книжку, — «Взгляд на старую и новую словесность в России», а Рылеев — думы «Рогнеда», «Борис Годунов», «Мстислав Удалой» и «Иван Сусанин».

«При составлении нашего издания, — писал Бестужев, — г-н Рылеев и я имели в виду более чем одну забаву публики. Мы надеялись, что по своей новости, по разнообразию предметов и достоинству пьес, коими лучшие писатели удостоили украсить «Полярную Звезду», она понравится многим… Подобными случаями должно пользоваться, чтобы по возможности более

ознакомить публику с русской стариной, с родной словесностью, со своими писателями».

Составители сумели в одной небольшой книжке карманного формата отразить современное состояние русской литературы. Практически все лучшие русские писатели приняли участие в «Полярной Звезде», причем рядом с крупными, выдающимися литераторами здесь поместили свои произведения поэты и прозаики второго ряда — Ободовский, Плетнев, Лобанов, Туманский, Панаев, Остолопов. Они не фон для великих, а часть общелитературного процесса, у них есть свои достоинства, и картина без них не была бы полна.

«Ознакомить публику… с родной словесностью» (Бестужев) — вот цель издания. Была и еще цель, важная, но, разумеется, не главная, — решить проблему литературного гонорара, дать пример, впервые в альманашно-журнальном деле вознаградив авторов за их труды. Однако полностью этой цели Бестужев и Рылеев достигли только в 1825 году, на третьем выпуске «Полярной Звезды», избавившись от издателя Оленина, который, платя составителям за право издания альманаха, ничем — по традиции — не вознаграждал авторов. Когда Рылеев писал Вяземскому о «Полярной Звезде», что «издание сие у нас — первое явление в этом роде», он имел в виду, конечно, не коммерческую сторону дела.

Альманахи в России выходили и раньше, среди них были очень удачные, например содержательные сборники «Аглая» и «Аониды» конца XVIII века, изданные Карамзиным; «Свиток Муз» поэтов-радищевцев 1800-х годов, однако «альманачный» период в русской литературе, как отметил Белинский, открыли именно Бестужев и Рылеев — этот период продлится до конца 1830-х годов. Позднее — с 1825 по 1832 год — выходили великолепные «Северные Цветы», издававшиеся Дельвигом, «благоуханный» — по слову Гоголя — альманах, но «Полярная Звезда» осталась для всего периода классикой.

В дальнейшем — после 1825 года — ни в одном легальном русском альманахе не были так сильны гражданские, вольнолюбивые мотивы. «Полярная Звезда» в этом смысле была и новой, и единственной. В выпуске па 1823 год есть немало стихотворений «на случай», вполне благонамеренных, но была помещена, например, элегия Пушкина «Овидию», которую автор просил напечатать без подписи, чтобы обойти цензуру, — ведь в ней ссыльный поэт вспоминает о другом, тоже некогда сосланном поэте, древнеримском, который «в тяжкой горести» обращался к друзьям. «Суровый славянин, я слез не проливал», — говорит Пушкин, достойно переносивший опалу. Стихотворение Пушкина «Мечта воина» («Война!.. развиты, наконец, шумят знамена бранной чести…») — о войне в Греции, о «стремленье бурных ополчений» в сражения за свободу народа. Вяземский в послании к поэту Ивану Дмитриеву клеймит тот разряд читателей, которых «осужденье — честь, рукоплесканье — стыд». В стихотворении Глинки, написанном на библейскую тему, аллегория звучала до дерзости современно: «Рабы, влачащие оковы, высоких песней не поют». Басня Крылова «Крестьянин и овца» резкосатирична: суд Волка не мог не привести на память Петербургскую уголовную палату или любое другое судилище тогдашней России. Здесь же были патриотические думы Рылеева и повесть Бестужева о древнем вольном Новгороде. В дальнейших выпусках «Полярной Звезды» (на 1824 и 1825 годы) эти вольнолюбивые и гражданские мотивы будут звучать еще отчетливее.

Была и еще замечательная новинка в альманахе — «Взгляд на старую и новую словесность в России» Бестужева-Марлинского, критический обзор, прообраз обзоров Белинского (начатых «Литературными мечтаниями» в 1834 году), Надеждиа и Полевого. Статья Бестужева невелика, но он сумел живо и с присущим ему художественным остроумием «обозреть» русскую литературу от полумифических ее истоков в домосковской Руси до «последнего пятнадцатилетия», отметив почти всех русских поэтов и писателей в беглых, но интересных характеристиках.

Бестужев явно на стороне романтиков, но вместе с тем, как и Рылеев, не одобряет

разделения русских литераторов на «школы» («В отношении к писателям, я замечу, что многие из них сотворили себе школы, коих упрямство препятствует усовершенствованию слова»).

Бестужев, которого, как и архаистов, заботит чистота русского языка, пишет, что в XVI–XVII столетиях «русское слово» было искажено «славено-польскими выражениями», что при Петре Великом в русский язык «вкралась… страсть к германизму и латинизму», а со времен Елизаветы настал «век галлицизмов». «Теперь только, — говорит Бестужев в своем обзоре, — начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий». Бестужев находил, что автор «Слова о полку Игореве» «вдохнул русскую боевую душу в язык юный». Он советует писателям читать «Задонщину» — «наравне со всеми древностями нашего слова, дабы в них найти черты русского народа и тем дать настоящую физиогномию языку».

Рукопись этого критического обзора Бестужев обсуждал с Рылеевым — это ведь была их общая литературная программа. Их стремлением было развеять мрачные «туманы, лежащие теперь на поле русской словесности», — то есть начать говорить смело, открыто.

30 ноября 1822 года цензор А. Бируков, с которым издатели выдержали отчаянную борьбу по поводу многих стихотворений (его, как вспоминал один мемуарист, Рылееву и Бестужеву приходилось даже «закупать»), подписал в печать рукопись альманаха. Печатался он в типографии Греча и потом, в декабре, поступил в лавку книгопродавца Слёнина.

Рылеев и Бестужев то и дело заходили в лавку — изящные, маленькие (в 16-ю долю листа) томики альманаха быстро переходили с полок в руки покупателей. Через неделю не осталось ни одного экземпляра. Успех был полным. Только «История государства Российского» Карамзина была продана до этого так же быстро.

«Толки о «Полярной Звезде» не перестают», — отмечал Бестужев. Вскоре в журналах появились отклики на нее. Начались споры. Альманах взбудоражил не только литературный мир, но и все читающее общество. Много было похвал. Но были и нападки. Особенно сильно полемика разгорится после выхода второго выпуска «Полярной Звезды», в 1824 году.

…В июне и июле 1822 года Рылеев совершил поездку в Киев, куда призвала его начавшаяся еще в 1814 году тяжба с княгиней Голицыной. Он приехал с женой и дочерью в Острогожск. Затем один отправился в Харьков, где навестил учившегося в пансионе младшего брата жены — Михаила. Своего бывшего однополчанина Косовского, переехавшего сюда на житье, он не застал дома. Из Харькова Рылеев отправил назад бричку Тевяшовых и поехал в Киев на перекладных, взяв у губернатора подорожную.

Дни стояли жаркие. Белая пыль легко взвивалась за быстро бегущим экипажем. Стеной вставала сбоку пшеница. Белые хатки деревень, белые рубахи мужиков, белое, знойное, едва голубеющее небо… Огромные подсолнухи в палисадниках… Ночью, теплой и благоуханной, во время остановки Рылееву не спалось. Кругом степь. Вольная, таинственная. Возникала и пропадала вдалеке протяжная песня. Рылееву казалось — скачут там казаки, развеваются казацкие знамена. Что там — «старая козацкая слава по всему степу дыбом стала», как пел один кобзарь.

Рылеев присматривался к степному быту.

Например, позднее, объясняя в примечаниях к поэме «Войнаровский», что такое «толокно», он расскажет, что «в чумакованьи, то есть в поездках за рыбою и солью, малороссияне запасались всегда небольшим количеством толокна или гречневых круп для кашицы, которую называют они кулиш… Идучи обозом, они останавливаются в поле, разводят огонь и всем кошем, то есть артелью, садятся за кашицу… Кто едет в осеннюю ночь по степным полям Полтавской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерний, тому часто случается видеть несколько таких огней, мелькающих, как звездочки, в разных расстояниях на гладкой

необозримой равнине».

Киев… Сколько великой и героической старины здесь пересеклось! Сколько славных имен он напоминает — русских и украинских, от Святослава и Владимира Святого до Наливайко, Сагайдачного, Хмельницкого… Один звук этих имен заставлял сильно биться сердце Рылеева.

Только что вышла «История Малой России» Д.Н. Бантыша-Каменского. Сколько замыслов возникло у Рылеева, когда он ее прочитал! Он мечтал о новых думах, о поэмах из малороссийской истории, даже о трагедии. Для последней он избрал очень сложную историческую фигуру — гетмана Мазепу. В «Перечне действующих лиц» Рылеев охарактеризовал его так: «Гетман Малороссии. Угрюмый семидесятилетний старец. Человек властолюбивый и хитрый; великий лицемер, скрывающий свои злые намерения под желанием блага к родине». Далее, в «Характеристиках персонажей» Рылеев развивает эту оценку: «Для Мазепы, кажется, ничего не было священным, кроме цели, к которой стремился… Ни уважение, оказываемое ему Петром, ни самые благодеяния, излитые на него сим великим монархом, ничто не могло отвратить его от измены. Хитрость в высочайшей степени, даже самое коварство почитал он средствами, дозволенными на пути к оной». (В разговоре о поэме Рылеева «Войнаровский» мы увидим, как усложнился образ Мазепы в представлении поэта.)

В «Перечне действующих лиц» появился и герой будущей поэмы Рылеева — Войнаровский: «Племянник Мазепы. Пылкий, благородный молодой человек». Другой положительный герой трагедии — Полуботко: «Молодой человек, пылающий любовью к родине и благу соотечественников, решительный козак. Гордый и благородный человек».

Наброски эти были пока отложены в сторону.

Скоро, очень скоро стихия украинской истории ворвется в поэзию Рылеева. А пока, вернувшись с Украины, Рылеев снова погрузился в заботы по подготовке первого выпуска «Полярной Звезды». Немало времени он отдавал и своему первому, пока главному творческому замыслу — думам.

7

В 1822 году Рылеев написал восемь дум: «Святослав», «Мстислав Удалый», «Рогнеда», «Димитрий Донской», «Глинский», «Артемов Матвеев», «Иван Сусанин» и «Державин». Кроме того, несколько дум неоконченных, в их числе «Вадим», «Марфа Посадница» и «Владимир Святый». Целый ряд героических страниц русской истории!

Дума о Святославе Игоревиче подсказана была Рылееву Гнедичем, который мечтал написать об этом герое поэму. По недостатку времени он не продвинулся дальше плана. Дума Рылеева даже в деталях совпадает с гнедичевским планом поэмы «Святослав».

Что касается «Рогнеды» — то это даже не дума, а «повесть», как и было означено в ее подзаголовке при публикации в «Полярной Звезде» на 1823 год. Она и по объему гораздо больше других дум и построена иначе.

Рогнеда (другое ее имя — Горислава) была супругой Владимира Святого, дочерью варяга Рогволода. В «Истории» Карамзина есть рассказ о том, как Владимир ворвался в Полоцк, умертвил Рогволода, двух его сыновей и взял себе в жены Рогнеду, незадолго перед тем сговоренную за князя Ярополка Святославича. Когда родился у Рогнеды сын Изяслав, Владимир охладел к ней и отправил ее на житье в окрестности Киева, на берег реки Лыбеди. У Карамзина (и в предисловии к думе Рылеева, сделанном Строевым при отдельном издании дум) Рогнеда — только покинутая супруга, замыслившая месть мужу. Такой она изображена и в произведениях Хераскова (XVIII в.) — трагедии «Идолопоклонники, или Горислава» и героиде «Рогнеда ко Владимиру». Историю Рогнеды-Гориславы Карамзин называет «трогательным случаем».

У Рылеева Рогнеда также покинутая жена. Однако автор думы заставил ее пылать и тираноборческой страстью. Вот как в ссылке поучает она сына:

Пусть Рогволодов дух в тебя
Вдохнет мое повествованье;
Пускай оно в груди младой
Зажжет к делам великим рвенье,
Любовь к стране твоей родной
И к притеснителям презренье.

Она рассказывает Изяславу, как Рогволод в Полоцке «приветливо и кротко правил», «привязав к себе народ». И потом, пойманная на месте с мечом в руках, Рогнеда обличает Владимира:

Забыл, во мне чья льется кровь,
Забыл ты, кем убит родитель!..
Ты, ты, тиран, его сразил!

...Испепелив мой край родной,
Рекой ты кровь в нем пролил всюду
И Полоцк, дивный красотой,
Преобразил развалин в груду.
...Тебе я сына даровала...

И что ж?.. еще презренья хлад

В очах тирана прочитала!..
...С такою б жадностию я
На брызжущую кровь глядела,
С каким восторгом бы тебя,
Тиран, угасшего узрела!..

Рогнеда не единственный образ героической женщины в думах Рылеева, она встает рядом с дочерью князя Глинского, последовавшей за отцом в темницу, с княгиней Наталией Долгоруковой, предвосхитившей подвиг жен декабристов, добровольно отправившихся в Сибирь, с женой пана Чаплицкого, которая (пусть не в истории, а только у Рылеева в думе) порвала с мужем-тираном и освободила из темницы Хмельницкого. В том же ряду колоритная фигура защитницы древней вольности Новгорода Марфы Посадницы.

Речь Марфы полна гордого достоинства:

Свершила я свое предназначенье;
Что мило мне, чем в свете я жила:
Детей, свободу и свое именье —
Все родине я в жертву принесла.

Три наброска неоконченной думы «Вадим» отсылают читателя в более раннюю историю вечевого Новгорода — ко временам Рюрика, пришлого варяжского князя, против которого Вадим поднимает восстание. Замышляя этот решительный шаг, он говорит:

Ах! если б возвратить я мог
Порабощенному народу
Блаженства общего залог,
Былую праотцев свободу.

Известны симпатии декабристов к Новгороду, «вечевой республике». Суть этих симпатий хорошо выразил Рылеев в одном из дружеских разговоров. Он, как вспоминает мемуарист, «завел мечты о России до Петра и сказал, что стоит повесить вечевой колокол, ибо народ в массе его не изменился, готов принять древние свои обычаи и сбросить чужеземное». И, конечно, сам Рылеев говорил устами Вадима:

Грозен князь самовластительный!
Но наступит мрак ночной,
И настанет час решительный,
Час для граждан роковой.

Вадим Новгородский — одна из самых бунтарских фигур в русской литературе, и именно поэтому одни писатели стремились его «развенчать» (Екатерина Вторая в «Историческом представлении в жизни Рюрика»; Херасков в стихотворной повести «Царь, или Спасенный Новгород» и т. д.), другие — сделать примером для сограждан (Я.Б. Княжнин в трагедии «Вадим Новгородский», Кюхельбекер в лекциях, читанных в Париже в 1821 году, В.Ф. Раевский в

стихотворении «Певец в темнице», Хомяков в поэме «Вадим»). В том же 1822 году, когда Рылеев делал наброски к своей думе, начал писать драму и поэму о Вадиме Пушкин. Возможно, что друг Рылеева Муханов переслал ему из Одессы список первой части поэмы Пушкина — в письме он обещал это сделать, но неизвестно, выполнил ля обещание, так как, по его же словам, Пушкин «их назначил к истреблению» и не хочет, чтобы драма и поэма «ходили по рукам и даже говорили об оных».

Позднее (в 1824 году), когда Пушкин был сослан в Псковскую губернию, Рылеев постарался напомнить ему, что это также бывший русский город-республика: «Ты около Пскова, — там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?» Пушкин не оставил Псков без внимания и написал стихотворение о его бывшей свободе, отметив в нем, что теперь это город, «лишенный честных благ народного правленья».

Всякую историческую тему Рылеев поворачивал к читателю ее гражданской стороной. Если в избранном сюжете такой стороны не было, Рылеев ее измышлял. Так было в «Рогнеде». Языком современного Рылееву гражданина-патриота, чуть ли не декабриста, говорит и Димитрий Донской в одноименной думе:

Летим — и возвратим пароду
Залог блаженства чуждых стран:
Святую праотцев свободу
И древние права граждан.

Источники этой думы — «История» Карамзина и трагедия Владислава Озерова «Димитрий Донской», вторая — значительно более. В свое время — в 1806 году — трагедия Озерова вызвала «исступленный энтузиазм» (по словам мемуариста) у публики, которая в период первых наполеоновских войн, горя чувством мщения за разгром русских войск под Аустерлицем, повторяла во время представлений строку трагедии: «Языки, ведайте: велик российский бог!» (В думе Рылеева: «Враги смешались — от кургана промчалось: «Силен русский бог!») Пафос думы Рылеева — освободительная борьба: в результате Куликовской битвы, сражения русских с «тираном» Мамаем, с «ратью тирана», — «расторгнул русский рабства цепи», возродилась Русь к новой жизни.

Позднее, в своем дневнике 1831 года, в ссылке, Кюхельбекер, перечитав думу «Димитрий Донской», скажет, что она «очень не дурна и принадлежит к хорошим произведениям Рылеева». В думе есть живая, яркая изобразительность. Вот, например, картина переправы русских войск через Дон:

...Несутся полные отваги,
Волн упреждают быстрый бег:
Летят как соколы — и стяга
Противный осеняют брег.
Мгновенно солнце озарило
Равнину и брега реки
И взору вдалеке открыло
Татар несметные полки.
Луга, равнины, долы, горы
Толпами пестрыми кипят;

Всех сил объять не могут взоры…
Повсюду бердыши блестят.

Еще явственнее эта художественность в думе «Иван Сусанин». Пушкин, не жаловавший вообще рылеевских дум, сделал исключение для «Ивана Сусанина». Он писал Рылееву, что это «первая дума, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант».

Редко встретишь в поэзии начала 1820-х годов такую, например, картину утра в лесу:

Сусанин ведет их… Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло:
То скроется быстро, то ярко блеснет,
То тускло засветит, то вновь пропадет.
Стоят не шелохнясь и дуб и береза,
Лишь снег под ногами скрипит от мороза,
Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит,
И дятел дуплистую иву долбит.

Однако в думе «Иван Сусанин» Рылеев добился и гораздо большего. Он создал потрясающий образ русского человека, костромича, крестьянина-героя, навсегда врезавшийся в сердца читателей. Дума Рылеева вдохновила М.И. Глинку на создание оперы «Иван Сусанин». Сколько поколений повторяло — как девиз — слова Сусанина:

Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!

Сюжет этой думы и некоторые детали повествования Рылеев почерпнул из статьи Сергея Глинки (брата Федора Глинки) «Крестьянин Иван Сусанин, победитель лести и избавитель царя Михаила Федоровича Романова», напечатанной в «Русском Вестнике» в 1812 году. После появления думы Рылеева в «Полярной Звезде» на 1823 год, она получила большое распространение, была несколько раз перепечатана. Даже в пансионах, еще при жизни Рылеева, ученики должны были наряду с произведениями Державина, Озерова и Жуковского учить наизусть думу «Иван Сусанин».

В том же 1822 году Рылеев создал и особенно важную для всего цикла думу «Державин», посвященную им Гнедичу. И выбор героя и посвящение имели программный характер.

Рылеев искал в современности образ поэта-героя, поэта-гражданина, каким он предстает в речи Гнедича «О назначении поэта», произнесенной в Вольном обществе любителей российской словесности (1821). «Чтобы владеть с честию пером, — говорил Гнедич, — должно иметь более мужества, нежели владеть мечом… Писатель не должен отделять любви к славе своей от любви к благу общему». Многие положения этой речи нашли отзвук в Думе «Державин».

После смерти Державина (1816) появилось немало стихотворений о нем (Капниста, Нестерова, Грамматина, Милонова), но великий поэт предстает в них «певцом Фелицы», блеска и пышности России-победительницы. Однако поэты-радищевцы (Пнин, Борн, Востоков, Попугаев) еще в 1800-х годах положили начало другому прочтению поэзии Державина: «Он был

для них не только самым влиятельным поэтом эпохи, но и живым примером того, каким должен быть истинный поэт… В деятельности Державина и в самом человеческом его облике они находили и выделяли черты гражданственности… Закрепленный в обличительных одах Державина образ поэта — учителя и пророка, смело гласящего «истину» и бичующего «неправду» перед лицом «земных богов», безусловно, должен был импонировать деятелям Вольного общества и, нужно полагать, оказал существенное воздействие на формирование образа поэта-гражданина в их собственном творчестве» (В.Н. Орлов, 1950. — «Вольное общество», о котором здесь говорится, — это Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, существовавшее в Петербурге в 1801–1808 годах).

Рылеев в своей думе еще более заострил гражданские черты Державина, создав образ во многом идеальный — образец для подражания, особенно в первом варианте думы:

К неправде он кипит враждой,
Ярмо граждан его тревожит;
Как вольный славянин душой,
Он раболепствовать не может.
Повсюду тверд, где б ни был он —
Наперекор судьбе и року;
Повсюду честь — ему закон,
Везде он явный враг пороку.
Греметь грозой нротиву зла
Он чтит святым себе законом
С спокойной важностью чела
На эшафоте и пред троном.

Не лишним будет отметить (разумеется, не ставя его на одну доску с Державиным), что Рылеев-поэт, равно как и Рылеев-человек, соответствует этой стихотворной характеристике. И соответствует неизмеримо больше всех других современных ему поэтов.

8

В воспоминаниях Н. Греча есть такая запись: «С Николаем Тургеневым Рылеев познакомился у меня, 4 октября 1822 года, на праздновании десятилетия «Сына Отечества». Меня и многих изумило, что аристократ и геттингенский бурш долго беседовал с плебеем и кадетом… Могли ли мы вообразить, о чем они толкуют».

Конечно — в это время, уже будучи знакомым с Тургеневым, Рылеев не мог знать, что этот «аристократ» и «бурш» — один из главных деятелей декабризма, основателей «Союза благоденствия», глава одной из двух групп возникшего в 1821 году Северного общества в Петербурге (другой группой руководил Никита Муравьев). Греча и «многих», как он пишет, «изумило» внимание Тургенева, кроме всего, крупного государственного чиновника, к такой незначительной фигуре, как Рылеев. Греч задним числом, так как пишет много лет спустя после восстания, недоброжелателен к бывшему своему товарищу-литератору. И, вспоминая, Греч вообразил, будто они, уединившись от прочих гостей, строили планы переворота в России и, может быть, даже убийства царя и всех членов царской семьи.

Греч, далекий от декабристских обществ, хотя и фрондировавший в свое время, ошибался в том, что Тургенев, как и прочие декабристы-аристократы, как правило, не снисходит до знакомства и бесед с «плебеями» (здесь — неродовитыми и небогатыми дворянами) и «кадетами» (мелкими чинами). И самого Тургенева он вовсе не знал, несмотря на знакомство с ним. Тургенев был воспитан отцом, Иваном Петровичем Тургеневым, соратником Новикова, как и его братья Андрей, Александр и Сергей, в твердых правилах скромности и доброты к людям, независимо от их происхождения и достатка. Тургенев с юности ненавидел надутых вельмож, в особенности жестоких крепостников. Вся его служебная деятельность (а он достиг поста члена Государственного совета) была подчинена буквально сжигавшей его страсти — делу освобождения крепостных крестьян в России. С этой мыслью он пришел и в декабристские общества.

В 1821–1822 годах Тургенев разрабатывал проект судебной реформы, который он обсуждал с Мордвиновым и Сперанским. Тургенева не могло не заинтересовать дело гостилицких крестьян, в котором такое необычное для того времени участие принял Рылеев, протестовавший против вынесения приговоров без предварительного беспристрастного следствия. А ведь подобная несправедливость была почти обычным делом в русских судах, какой-то уродливой традицией. Тургеневу наверняка известны были мнения Рылеева, зафиксированные в журнале Комитета министров.

Критикуя в своем проекте российскую систему судопроизводства, Тургенев как раз и указывал, что вместо следствия у нас практикуется вынуждение у подсудимого признания, почти пытка — то есть допрос с пристрастием, а не уличение подсудимого путем публичного допроса свидетелей в его присутствии, как это делается в конституционных странах (Тургенев имел в виду Францию и Англию). Тургенев предлагал также учредить независимое сословие адвокатов с правом самоуправления. По свидетельству С.Г. Волконского, декабристы намеревались после переворота в России использовать судебные планы Тургенева, а его самого ввести в состав Временного правительства.

Было о чем поговорить Тургеневу и Рылееву и не вдаваясь в сугубо революционные дела, тем более что Рылеев и не состоял еще в членах тайного общества.

Однако в то время все поведение и вся деятельность Рылеева уже были декабристскими. Он до принятия в общество был более революционер, чем иные давние члены.

…Там, у Греча, было пестрое общество. Вспоминал он потом одно, а на самом деле было

другое. Не только Булгарин, Воейков и Свиньин были завсегдатаями его вечеров. Декабрист Розен уточняет: «Карамзин, Гнедич, Жуковский приезжали с поздравлениями (к Гречу. — *В.А.),* но не оставались обедать… Беседа за столом и после стола была веселая, непринужденная; всех более острил хозяин, от него не отставали Бестужевы, Рылеев, Булгарин, Дельвиг и другие». Декабрист Батеньков: «У сего последнего (у Греча. — *В.А.)* были приятные вечера, исполненные ума, остроты и откровенности. Здесь узнал я Бестужевых и Рылеева». Бестужевы начали бывать у Греча с конца 1817 года. «В его доме, — пишет Александр Бестужев, — развился мой ум от столкновения с другими. Греч первый оценил меня и дал ход». В журнале Греча «Сын Отечества» печатали свои произведения многие из декабристов, в том числе Рылеев, Кюхельбекер, Никита Муравьев, Александр Одоевский, Федор Глинка, Муханов, Николай Тургенев. Батеньков, Колошин, Чижов, Корнилович, Штейнгель, Бобрищев-Пушкин, Оржицкий, Александр и Николай Бестужевы. В типографии Греча печаталась «Полярная Звезда».

Греч был человек деятельный. Журнал отнимал у него много времени, но он успевал путешествовать и выпускать объемистые описания увиденных стран, сочинять романы и повести, переводить с немецкого, — кроме того, он составил неплохую хрестоматию по русской словесности и много сил отдал разработке грамматики русского языка, — он выпустил целый ряд популярных и сугубо ученых книг, относящихся к этой области: «Таблицы русских склонений», «Пространная и практическая русская грамматика» и т. п. Он же в 1825 году написал первую историю русской литературы, сжатую, но подробную. Он был одним из известных петербургских остряков. Остроты его нередко метили в Аракчеева и других сильных мира сего. Однако, как пишет Михаил Бестужев, Греч уже в 1825 году, незадолго до восстания, проявил себя как провокатор. У них состоялся такой разговор:

— Скажи, Мишель, ведь ты принадлежишь тайному обществу. В чем его цель и какие намерения?

— Вы не сыщик, — отвечал Бестужев, — а я не доносчик… Но если я ошибаюсь в первом — поверьте, что я не Иуда и за несколько серебряных рублей не предам неповинных.

«Я вышел, — продолжает Бестужев, — в каком-то угаре от него и ушел из его дома, чтоб никогда с ним не видаться».

Таков был Греч.

…В кабинете, полном шумных разговоров и трубочного дыма, два человека тихо и серьезно беседовали у окна, не обращая внимания ни на кого.

Николай Тургенев — высокий, в синем фраке с медными пуговицами, устало прищуривающий и без того небольшие серо-голубые глаза. Рылеев — в коричневом фраке, худощавый, с черными, слегка вьющимися волосами, сверкающими темными глазами и таким носом, за который Греч и прозвал его (вряд ли в глаза) «цвибелем», то есть луковицей.

Это были единомышленники.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

В начале 1823 года член Северного общества Иван Иванович Пущин, поручик Конной артиллерии, после столкновения с великим князем Михаилом Павловичем (тот грубо выговорил ему за какую-то мелкую неисправность в форменной одежде) вышел в отставку. «Желая показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унизительной», Пущин намеревался стать квартальным надзирателем. Его родные умоляли его не делать такой «глупости», — так настойчиво его просили об этом, что он уступил, однако — не вовсе: он все же пошел в мелкие чиновники, а именно — сверхштатным членом в Петербургскую палату уголовного суда. Этот шаг, связанный с декабристскими идеалами (и конкретно — с законоположениями «Союза благоденствия»), свел его на одной дороге с Рылеевым, который ее проложил. «Места сего я никак не почитал малозначущим», — отвечал Пущин позднее на допросе после восстания.

В черновом варианте стихотворения «И.И. Пущину» (1825) Пушкин вспомнил это событие из жизни своего лицейского друга;

Ты победил предрассужденья
И от признательных граждан
Умел истребовать почтенья,
В глазах общественного мненья
Ты возвеличил темный сан.
В его смиренном основанье
Ты правосудие блюдешь…

Два бывших артиллерийских поручика «преобразовались в судьи» и подали благой пример другим. Чуть ли не с первой встречи Пущин почувствовал в Рылееве прирожденного борца; не кандидата в революционеры, а уже действующего бунтаря с решительным характером вожака.

Рылеев же так отозвался о своем новом друге: «Кто любит Пущина, тот уже непременно сам редкий человек».

Пущин, проявлявший большую осторожность в рекомендовании новых членов тайному обществу (вспомним, что он так и не открылся как заговорщик Пушкину, своему ближайшему другу, может быть, не из недоверия, а из желания уберечь поэта), уже в самом начале знакомства с Рылеевым принял его в члены петербургской декабристской организации. И принял не в качестве «согласного» (первая ступень), как это делалось обычно, а в качестве «убежденного», то есть хорошо проверенного. «Убежденные» имели право принимать в общество новых членов.

Пущин, «первейший злодей из всех» среди декабристов (по отзыву Николая I), увидел в Рылееве ту силу, которая сможет оживить замершую деятельность Северного общества, оказавшегося на грани распада. В то время как Южное общество, возглавляемое Пестелем, добивалось слияния своего и столичного обществ в одно и начала решительных действий, руководители Северного (Никита Муравьев, Тургенев, Трубецкой, Оболенский) занимались теоретическими разработками (конституцией, судебным уложением, экономическими проектами).

Северное общество было малочисленным, и старые члены не спешили принимать новых. А тут как раз подоспел указ Александра I о запрещении масонских лож и тайных обществ — ответственность, естественно, возросла. Умеренные члены Северного общества стали вести себя очень осмотрительно.

По правилам конспирации, принятым в Северном обществе, Рылеев еще долгое время — несколько месяцев — не знал других членов, тем более состава Думы, состоящей из трех директоров. Но вокруг него самого стала быстро возникать особая отрасль общества — рылеевская. Позднее, на следствии, возник даже термин «общество Рылеева» — и в самом деле, влияние Рылеева было так велико, что он исподволь занял в столичной революционной организации ведущее место (и тем более с декабря 1824 года, когда он вошел в Думу).

Трубецкой счел даже, что Северное общество распалось и на его месте возникло новое — рылеевское.

Тот же Греч, вспоминая бурные 1820-е годы, рисует Рылеева неким злодеем, главарем шайки: «Батеньков пошел в заговор Рылеева… Александр Бестужев… познакомившись с Рылеевым, заразился его нелепыми идеями… Пущин… познакомился, на беду свою, с Рылеевым, увлекся его сумасбродством и фанатизмом… Штейнгель, на беду, познакомился с Рылеевым и пристал к ним… Оболенский… увлечен был в омут Рылеевым и погиб».

По мнению Пущина и Рылеева, нужно было произвести в России переворот, а затем, собрав депутатов от всех сословий, определить форму нового государственного правления. Это должна была быть республика.

Уже в 1823 году Рылеев участвует в двух крупных совещаниях в Петербурге. Одно состоялось на квартире полковника Митькова на Васильевском острове с участием Пущина, И. Муравьева, Оболенского, Тургенева, Трубецкого, Поджио. В связи с этим совещанием Поджио сказал о Рылееве: «В нем я видел человека, исполненного решимости». Другое совещание, также в декабре, было на квартире Рылеева, где собрались Митьков, Н. Муравьев, М. Муравьев-Апостол, Оболенский, Нарышкин, Тургенев и Трубецкой. М. Муравьев-Апостол отметил, что Рылеев в это время был «в полном революционном духе».

Единственным программным документом Северного общества была «Конституция» Никиты Муравьева, которую он перерабатывал постоянно, обсуждая ее с членами организации. До 1821 года Муравьев (остававшийся главой Северного общества до 1824 года) высказывался за республиканское правление, за истребление царской семьи и революционную диктатуру. К 1822 году, в результате усиления реакции в Европе и в России, он начинает переходить на позиции умеренного либерализма, что отразилось и на его «Конституции» — она стала проектом государственного устройства с ограниченной монархией. В 1824 и 1825 годах в результате обсуждений и споров (в них участвовал и Рылеев — сохранился экземпляр этого документа с его пометками) возникли еще редакции «Конституции», но она, по словам самого Муравьева, одобрена была только старейшими членами Северного общества, то есть не Рылеевым и не теми членами, которые были приняты им за 1823–1825 годы. «Старых» членов в Северном обществе насчитывалось около десятка, а новых — более пятидесяти.

«Солдатами Рылеева» считали себя (по словам Батенькова) братья Бестужевы (Александр, Николай, Петр, Михаил), Торсон, Одоевский, Якубович, Каховский, Репин, Розен, братья Кюхельбекеры, Штейнгель, братья Беляевы, Арбузов.

Из «старейших» — член Думы, один из директоров Северного общества, офицер лейб-гвардии артиллерийской бригады князь Евгений Оболенский, к 1823 году утративший политическую активность, сближается с Рылеевым и с новым рвением возвращается к делам. «Он с Рылеевым обыкновенно рассуждал и толковал о конституции», — вспоминал А. Бестужев. А. Боровков, литератор, член Вольного общества любителей российской словесности (позднее — делопроизводитель Следственной комиссии), отмечал, что князь Оболенский, который был «в числе учредителей Северного общества и ревностным членом Думы» «был самым усердным сподвижником предприятия и главным, после Рылеева, виновником мятежа в Петербурге».

Сам Оболенский вспоминал: «Начало моего знакомства с Кондратием Федоровичем было

началом горячей, искренней к нему дружбы… Не могу не сказать, что я вверился ему всем сердцем… Он с первого шага ринулся в открытое ему поприще и всего себя отдал той великой идее, которую себе усвоил».

Оболенский рассказывает, как Рылеев поддержал его, когда он начал сомневаться в справедливости революционных выступлений: «Возникло во мне самом сомнение, Довольно важное для внутреннего моего спокойствия. Я сообщил его Кондратию Федоровичу… Я спрашивал себя, имеем ли мы право, как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве, составляющем наше Отечество, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на государственное устройство налагать почти насильственно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего, если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития? Эта мысль долго не давала мне покоя… Сообщив свою думу Кондратию Федоровичу, я нашел в нем жаркого противника моему воззрению… Он говорил, что идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, что они свободно рождаются и свободно развиваются в каждом мыслящем существе; далее, что они сообщительны, и если клонятся к пользе общей, если они не порождение чувства себялюбивого или своекорыстного, то суть только выражения несколькими лицами того, что большинство чувствует, но не может еще выразить. Вот почему он полагал себя вправе говорить и действовать в смысле цели союза как выражения идеи общей, еще не выраженной большинством, в полной уверенности, что едва идеи сообщатся большинству, оно их примет и утвердит полным своим одобрением. Доказательством сочувствия большинства он приводил бесчисленные примеры общего и частного неудовольствия на притеснения, несправедливости и частные и проистекающие от высшей власти, наконец, приводил примеры свободолюбивых идей, развившихся почти самобытно в некоторых лицах, как купеческого, так и мещанского сословия, с которыми он был в личных сношениях… Много и долго спорили мы с Кондратием Федоровичем или, лучше сказать, менялись мыслями, чувствами и воззрениями. Ежедневно, в продолжение месяца или более, или он приходил ко мне, или я к нему… Усилия его клонились к тому, чтобы не допустить меня до охлаждения».

Так выковалось содружество Рылеева и Оболенского, вождей Северного общества, на которых очень надеялся руководитель общества Южного Павел Пестель, который хотел добиться создания единого революционного общества.

Весной 1823 года Пестель прислал в Петербург для переговоров с Думой северян сначала В.Л. Давыдова, потом князя А.П. Барятинского и Матвея Муравьева-Апостола. Осенью того же года прибыл новый посол — князь С Г. Волконский. Дело в том, что Южное общество намеревалось начать революционные действия уже в 1823 году: положено было арестовать в Бобруйске во время смотра войск императора Александра и двинуться в Москву. Тем временем нужно было начать восстание и в Петербурге. Но ни Южное, ни Северное общества не были готовы, поэтому Александр I не был арестован в Бобруйске (приказ был отменен Пестелем), а Никита Муравьев заявил, что Северное общество пока будет заниматься только пропагандой. В 1824 году переговоры руководителей Южного и Северного обществ будут продолжены.

Александр Поджио пишет, что в октябре 1823 года было совещание членов Северного общества у Пущина: «Здесь были: Матвей Муравьев, Тургенев, Брыгин (Бригген. — *В.А.),* Нарышкин, Оболенский, Пущин, Митьков… Приступили к избранию трех директоров Северного общества. Пало на Тургенева, он отказался, говоря, что занятия его ему сие не позволяют, что уж столь был неудачен в правлении, что не хочет более того, но что от общества не отклоняется. Избраны были: Никита Муравьев, Оболенский и кн. Трубецкой… Всякий наименовывал членов к принятию. Я назвал Валериана Голицына. Пущин — Рылеева».

Некоторая нечеткость этого текста позволяет предположить, что Рылеев на этом собрании

был принят в члены общества. Однако очевидно, что Пущин здесь выдвинул кандидатуру Рылеева на пост одного из директоров. Для принятия в члены не нужно было выносить имени принимаемого на общее обсуждение. Любой член общества из категории «убежденных» мог принять кого ему угодно на свой страх и риск вне всяких собраний.

К этому можно прибавить сообщение Боровкова о том, что «Рылеев принят в общество коллежским асессором Пущиным в *начале* 1823 года». Рылеев на следствии дал умышленно неточное показание о том, что он принят был в общество в *конце* этого года.

…Твердый республиканизм Рылеева возник не сразу. Поначалу и он колебался в своих теоретических представлениях от республики до конституционной монархии, считая, что Россия не готова принять такие конституции, какие существуют в Англии и Соединенных Штатах Америки.

В марте 1824 года в Петербург приехал Пестель.

На собраниях Северного общества обсуждалась его «Русская Правда» — Пестель не убеждал, а требовал, чтобы этот демократический, республиканский документ был принят как основа законодательства России после революционного переворота. Однако у Пестеля была слишком радикальная — по мнению северян — линия (и даже для Рылеева): ввести новый строй при помощи диктатуры Временного правительства, избранного на десять-пятнадцать лет, без всякого обсуждения, без сбора представителей от всех сословий. Глава такого Временного правительства получал неограниченную власть и, как счел, например, Рылеев, мог ею злоупотребить. У всех на памяти был Наполеон Бонапарт, превратившийся из консула в императора и ввергший свою страну и всю Европу в пучину бесчеловечных, разорительных войн. Рылееву показалось, что в Пестеле есть такой бонапартизм[7].

Однако «Русская Правда» (названная так в память свода законов Киевской Руси) еще более укрепила в Рылееве республиканский образ мыслей. Рылееву многое было в ней близко. Во-первых, она утверждала свободу граждан (всех, включая крестьян). «Личная свобода, — пишет Пестель, — есть первое и важнейшее право каждого гражданина и священнейшая обязанность каждого правительства». Проект Пестеля открывал путь буржуазному развитию России. Он предусматривал возникновение по всей стране системы банков и ломбардов, которые могли бы способствовать переходу крестьян к частному предпринимательству. Что касается самодержавия, то «Русская Правда» предполагала в первые же дни переворота уничтожить всю царствующую фамилию.

«Народ российский, — писал Пестель, — не есть принадлежность какого-либо лица или семейства. Напротив того, правительство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народного, а не народ существует для блага правительства».

Высшим законодательным органом будущей республики намечалось Народное Вече. Исполнительной властью должна была стать Державная Дума, состоящая из пяти членов и избранная сроком на пять лет. Кроме того, Пестель намеревался создать особый наблюдательный орган — Верховный Собор. Столицей Российской республики должен был бы стать Нижний Новгород, расположенный в центре страны и на великой реке Волге, город, освященный героическими делами Минина и Пожарского.

Конечно, Рылеев далеко не все принимал в «Русской Правде». А что именно — это видно из его разговора с Пестелем.

Встретившись с Оболенским, которого Пестель сумел склонить на свою сторону, и Трубецким, который от предложений Пестеля пришел в ужас, и еще до встречи с Муравьевым Пестель явился к Рылееву, о котором много слышал как об одном из самых решительных й авторитетных членов общества. Их свел Оболенский.

Вот как описывает эту встречу Рылеев: «При свидании с Пестелем я имел с ним долгий

разговор, продолжавшийся около двух часов. Всех предметов, о коих шла речь, я не могу припомнить. Помню только, что Пестель желал выведать меня; в два упомянутые часа он был и гражданином Северо-Американской республики, и иаполеонистом и террористом, то защитником Английской конституции, то поборником Испанской. Например: он соглашался со мною, что образ правления Соединенных Штатов есть самый приличный и удобный для России. Когда же я заметил, что Россия к сему образу правления еще не готова, то есть к чисто республиканскому, Пестель стал выхвалять Устав Англии, приписывая оному настоящее богатство, славу и могущество сего государства. Спустя несколько времени он согласился со мною, что Устав Англии уже устарел, что теперешнее просвещение народов требует большей свободы и совершенства в управлении, что Английская конституция имеет множество пороков и обольщает только слепую чернь, лордов, купцов… «Да близоруких англоманов, — подхватил Пестель. — Вы совершенно правы». Потом много говорил он в похвалу Испанского государственного Устава, и, наконец, зашла речь о Наполеоне. Пестель воскликнул: «Вот истинно великий человек! По моему мнению: если уж иметь над собою деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию! Сколько создал новых фортун! Он отличал не знатность, а дарования!» и проч. Поняв, куда все это клонится, я сказал: «Сохрани нас Бог от Наполеона! Да, впрочем, этого и опасаться нечего. В наше время даже и честолюбец, если только он благоразумен, пожелает лучше быть Вашингтоном, нежели Наполеоном». «Разумеется! — отвечал Пестель. — Я только хотел сказать, что не должно опасаться честолюбивых замыслов, что если бы кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном, и в таком случае мы все останемся в проигрыше!» После сего он спросил меня: «Скажите же, какое вы предпочитаете правление для России в теперешнее время?» Я отвечал, что мне удобнейшим для России кажется областное правление Северо-Американской республики при императоре, которого власть не должна много превосходить власти президента Штатов. Пестель задумался и сказал: «Это счастливая мысль! об этом надо хорошенько подумать». Причем я прибавил, что я хотя и убежден в совершенстве предлагаемого мною образа правления, но покорюсь большинству голосов членов общества, с тем однакож, чтобы и тот Устав, который будет принят обоими обществами, был представлен великому Народному собору как проект и чтоб его отнюдь не вводить насильно. Пестель возражал на это, что ему, напротив, кажется и справедливым и необходимым поддержать одобренный обществом Устав всеми возможными мерами, а иначе значило бы остановиться на половине дороги, что, по крайней мере, надобно стараться, дабы как можно более попало в число народных представителей членов общества. «Это совсем другое дело! — сказал я. — Безрассудно б было о том не хлопотать, ибо этим некоторым образом сохранится законность и свобода принятия Государственного Устава». После этого говорили о разделении земель. Пестель полагал, что все вообще земли, как помещичьи, так экономические и удельные, должно разделить в каждом селе и деревне на две половины. Из коих одну половину разделить поровну крестьянам (с правом дара и продажи) в вечное и потомственное владение. Другую же половину земель помещичьих оставить помещикам. Удельных же и экономических крестьян навсегда приписать к деревням и селам их, с тем чтобы участками из оных каждогодно наделять крестьян, смотря по требованию каждого, начиная с тех, кто требует менее. Сим последним средством предполагал он уничтожить в России нищих. После сего я распростился с ним, и более уже мы не виделись».

Как видим, Пестель и Рылеев в этом разговоре полностью сошлись лишь в одном пункте — чтобы «стараться» ввести как можно более членов общества в число депутатов Учредительного собрания («Великого народного собора» — по словам Рылеева). Диктатуру Временного правительства Рылеев считал нарушением прав народа. Мнения их о разделе земли были почти сходны. Ни «Конституция» Муравьева, ни «Русская Правда» Пестеля не устраивали Рылеева, он

желал выработки на их основе третьего Устава, который мог бы быть одобрен всеми членами Южного и Северного обществ. Рылеев мечтал о всепроникающей и всесторонней демократии, о таких законах для будущей республики, которые искоренили бы всякую возможность злоупотребления властью. Рылеев скорее согласился бы на конституционную монархию, чем на диктатуру лица не избранного, но назначенного руководителями революционного переворота. И в Пестеле он видел черты честолюбца и бонапартиста, способного стать железной пятой на горло завоеванной общими усилиями свободе.

Во время разговора Рылеев приглядывался к Пестелю. Тот вел себя со спокойной расчетливостью актера. Был он невысокого роста, плотного сложения, с правильными чертами лица. Глаза черные, слегка выпуклые. Спокоен, уверен в себе. Однако за ничем не нарушаемым спокойствием чувствовалась страстность, даже запальчивость. Пестель и в самом деле напоминал Бонапарта!

Рылеев невольно подумал, что не худо бы Пестеля держать под наблюдением — как бы не наделал он беды для России…

А для того чтобы все делалось гласно и с ведома всех членов, необходимо соединить Южное и Северное общества в одно, с единым руководством, — так думал Рылеев. Именно это и было решено во время совещания членов Северного общества на квартире Рылеева перед его встречей с Пестелем.

После Рылеева Пестель виделся с Никитой Муравьевым. Планы Пестеля о диктатуре Временного правительства показались Муравьеву не только «несбыточными и невозможными», но и «противными нравственности». Новое совещание Думы положило истребовать у Пестеля и Муравьева их конституционные проекты и приступить к выработке общей программы, взяв все полезное из «Конституции» Муравьева и «Русской Правды» Пестеля.

На совещании директоров Северного общества с участием Пестеля собрались на квартире Оболенского, кроме хозяина дома, Трубецкой, Н. Муравьев, М. Муравьев-Апостол. Здесь в результате споров Пестель вынужден был согласиться, что созыв Великого народного собора после восстания необходим. Но он продолжал утверждать, что его «Русская Правда» и в этом случае должна получить большинство голосов. «Так будет же республика!» — воскликнул он, раздраженный противодействием северян, и, яростно стукнув кулаком по столу, вышел. Наполеоновская выдержка в самый последний момент изменила ему. С тем он и уехал на юг.

Рылеев не был свидетелем этой сцены. Он еще не вошел в состав Думы, и его не на всякое совещание приглашали.

Он не стремился быть руководителем, но в нем были все качества вожака, что и почувствовал Пестель, обратившись к нему наряду с директорами Северного общества.

2

В 1823 году Рылеев несколько раз посетил салон Софьи Дмитриевны Пономаревой в ее доме возле Таврического сада, на Фурштадтской улице.

Это, собственно, был не салон с определенными днями сбора членов, хоть с каким-нибудь порядком в проведении встреч, — это был попросту кружок знакомых, литераторов, которых собрала вокруг себя молодая, красивая, остроумная, образованная и наделенная многими талантами женщина.

Литературные знакомства ее начались с 1817 года, — навещая в Царскосельском лицее воспитывавшегося там своего брата — Ивана Позняка, — она познакомилась с Дельвигом и Кюхельбекером.

Поэт-идиллик Владимир Панаев писал, что она была женщиной «со множеством странностей и проказ, но очаровательной». По его словам, «всякий, кто только знал ее, был к ней неравнодушен… В ней с добротою сердца и веселым характером соединялась бездна самого милого, природного кокетства». А.Е. Измайлов вспоминал, что Софья Дмитриевна «имела необыкновенные таланты», знала языки и «переводила на русский прозою лучше многих записных литераторов», писала «недурно» стихи, рисовала и к тому же хорошо пела.

В ее гостиной собирались литераторы разных партий, потому что, как сообщает мемуарист, «своенравный ум ее, жажда перемен и разнообразия впечатлений не довольствовались одним и тем же кружком: сегодня собирались у нее Измайлов, Панаев, Сомов и другие сотрудники «Благонамеренного»… в другой день туда являлись Дельвиг, Гнедич, Боратынский, Илличевский». Вместе с Гнедичем приходил к Софье Дмитриевне Батюшков — душевная болезнь, начавшаяся у него в 1821 году в Неаполе (он там служил при посольстве), все более овладевала им. Он был мрачен, подозрителен. Стихов уже не писал. Но рисовал по-прежнему прекрасно — в альбоме Пономаревой он оставил несколько карандашных рисунков: автопортрет, жанровые сцены с мужиками и странниками.

В альбоме Пономаревой — он сохранился — стихи, прозаические записи и рисунки Дельвига, Кюхельбекера, Боратынского; Плетнева, Измайлова, Сомова, Гнедича, Крылова. Есть в нем и автограф Рылеева — единственное свидетельство его причастности к этому салону. Это отрывок из поэмы «Войнаровский», над которой поэт в этом — 1823-м — году начал работать.

Тогда же посещал Рылеев и другой салон — Александры Андреевны Воейковой, племянницы Жуковского и жены А.Ф. Воейкова. Это была одна из самых замечательных русских женщин, умевших создавать около себя духовную, творческую атмосферу. Еще в ее ранней молодости Жуковский (он был ее воспитателем) посвятил ей балладу «Светлана». После этого за ней закрепилось имя Воейковой-Светланы. Ею увлекался молодой Языков, посвятивший ей несколько стихотворений. Ее поклонниками были Гнедич, Боратынский и особенно слепой поэт Козлов, которого она часто навещала, и он выезжал к ней, в дом на Невском против Аничкова дворца, где в то время жил и Жуковский. Постоянными гостями и друзьями Воейковой были Александр и Николай Тургеневы.

Рылеев вошел в этот кружок благодаря мужу Светланы, Александру Федоровичу Воейкову, соредактору Греча по «Сыну Отечества» и издателю журнала «Новости литературы», а также газеты «Русский Инвалид». Воейков печатал в своих изданиях думы Рылеева. Одну из дум — «Рогнеду» — Рылеев посвятил А.А. Воейковой. Воейков был очень странной фигурой в литературе того времени — образованный, талантливый человек, обладавший хорошим вкусом, родственник Жуковского, неплохой поэт (из лучших его сочинений — «Дом сумасшедших», сатира на целый ряд русских литераторов, а также перевод эпической поэмы Делиля «Сады»),

он в то же время был нечистоплотным нравственно человеком. Сколько страданий и даже горя принес он Жуковскому в дни его юности! Жена его — Светлана — терпела от него иной раз даже грубые оскорбления (за одно из таких оскорблений Жуковский — это было в 1824 году — Даже отколотил Воейкова тростью). Не отличался Воейков честностью и как журналист. Он позволял себе перепечатывать стихи из чужих журналов и альманахов, из-за чего возникали, конечно, ссоры. В июле 1824 года с ним порвали отношения и Рылеев с Бестужевым — за то, что он по «праву корсара» похитил из «Полярной Звезды» начало поэмы Пушкина «Братья разбойники», отданной автором именно в этот альманах.

Через Светлану Рылеев познакомился с Жуковским. Вместе с ней и Жуковским Рылеев бывал у Ивана Козлова, прикованного к креслу и слепого поэта, поражавшего своих гостей блестящей речью, необыкновенной памятью — на нескольких языках читал он стихи. У Козлова Рылеев встречал многих своих знакомых — Боратынского, Льва Пушкина, Плетнева, Кюхельбекера, Дельвига. Козлов благодаря своей поэме «Чернец» скоро станет одним из известнейших русских поэтов. Но еще до этого он напечатает несколько стихотворений в «Полярной Звезде» Рылеева и Бестужева.

В этом же — 1823-м — году принят был Рылеев в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, основанное поэтами-радищевцами в 1801 году. В первые годы своего существования (при Борне и Пнине, а также сыне автора «Путешествия из Петербурга в Москву» Н.А. Радищеве) общество издавало журнал «Северный Вестник», альманах «Свиток Муз». Радищевцы первыми выступили — в 1803 году — против книги Шишкова, нападавшей на «новый слог». С 1802 года членом этого общества стал будущий «русский Теньер» — баснописец Александр Измайлов, который после безвременной кончины Пнина играл в обществе главную роль. С 1807 года он его секретарь. В 1809 году Измайлов издавал от общества журнал «Цветник», в 1812-м — «Санкт-Петербургский Вестник». С 1818 года начал выходить новый орган общества — журнал «Благонамеренный», продолжавшийся до 1826 года, — Измайлов был его редактором. С 1816 по 1825 год Измайлов был бессменным председателем общества, которое неофициально и называлось «Измайловским» (или Михайловским, так как заседания его проходили в Михайловском замке). К этому времени радищевские традиции здесь были уже забыты, гражданственность (в какой-то мере в 1800-е годы присущая и самому Измайлову) почти выдохлась.

В 1817–1818 годах в это общество влились новые силы: были приняты Крылов, Жуковский, Батюшков, Дельвиг, Боратынский, Пушкин, Кюхельбекер.

Таким образом, с 1818 года существовало в Петербурге два официально утвержденных общества — Вольное общество любителей российской словесности и «Измайловское». Многие члены входили в оба общества. Но с начала 1820-х годов, когда в Вольном обществе любителей российской словесности «верховодить» начали будущие декабристы с Ф. Глинкой во главе, правые, лояльные к существующему государственному порядку силы стали группироваться в «Измайловском» и переставали посещать общество Глинки и Рылеева. Глинка, член «Измайловского» общества, в 1823 году посетил его только один раз. Рылеев, избранный в него в этом году, побывал па четырех заседаниях. Он не терял надежды, что и здесь можно начать пропаганду гражданских идей.

Однако Рылеев остался верен Вольному обществу любителей российской словесности, в конце концов совершенно подчинив его требованиям декабристского Северного общества, к тому же многие заседания его в 1824 и 1825 годах будут происходить на квартире Рылеева.

В 1823 году Рылеев в Вольном обществе — член Цензурного комитета, с 1824-го — цензор по поэзии (то есть редактор) при органе общества — «Соревнователе просвещения и благотворения».

В начале этого года в обществе произошли нежелательные для Рылеева перемены: большинством голосов группа «правых» (это были по большей части измайловцы) сместила Гнедича с поста вице-президента, на котором он был с 1821 года. Вместо него был избран Греч. Замена была настолько нелогичной и даже нелепой, что уже в 1824 году стараниями Бестужевых и Рылеева Греч был снят — он почувствовал себя ущемленным и вообще бросил общество. Но Гнедич в общество уже не вернулся.

В июле 1823 года Булгарин говорил Гречу: «Я слышал человек от десяти, сочту тебе по пальцам, что им не нравится, когда ты говоришь с презрением о славе писателей и говоришь единственно: деньги, деньги!» Из-за Гнедича временно рассорился с обществом и Глинка. Он, один из самых активных членов, несколько месяцев не посещал собраний. Не был он и на публичном заседании Вольного общества любителей российской словесности, состоявшемся в доме Державина на Фонтанке, У Измайловского моста.

Заседание было задумано с размахом — с приглашением не только почетных членов (Жуковского, Мордвинова и других), но и множества различных влиятельных и высокопоставленных лиц. «Высочайше утвержденное С.-Петербургское Вольное общество любителей российской словесности на основании устава своего, предложив сделать собрание 22 сего мая в 7 часов вечера, — говорилось в пригласительном билете, — в доме действительной тайной советницы Дарьи Алексеевны Державиной… долгом считает довести до сведения вашего превосходительства».

Месяца за два или за три до этого собрания в обществе начали обсуждать и отбирать произведения членов для чтения в доме вдовы Державина. Не обошлось без яростных споров. Так, например, в отсутствие Рылеева одобрена была статья Цертелева «О философских и нравоучительных одах Державина», в которой ничего не говорилось о Державине как о поэте-гражданине. Рылеев и Бестужев подняли целую бурю. И хотя Цертелев «шумел, защищая красоту своей пьесы», она была забракована.

«Предуготовительных собраний, — писал Измайлов, — было около десятка, и, признаюсь, они крайне мне надоели, не столько потому что отняли много времени, а более по той причине, что были слишком шумны. Новая школа вооружилась против старой, партия против партии».

22 мая 1823 года собрание в доме Державина состоялось. «В той самой великолепной зале, — сообщает Измайлов, — где собиралась прежде «Беседа».

Присутствовало более пятидесяти членов — Рылеев, Бестужевы, Никитин, Сомов, Корнилович, Люценко, Хвостов, Булгарин, Плетнев, Востоков, Уваров, Анна Бунина и другие. Был и Греч, который говорил вступительную речь, в которой назвал Державина «государственным человеком и знаменитым писателем, твердым ревнителем правды и чести… великим поэтом, гражданином и наставником веков настоящих и грядущих».

Порядок чтений был следующий: Булгарин прочел исторический этюд в прозе о Марине Мнишек; В. Туманский — стихотворение «Век Елизаветы и Екатерины» и отрывок из стихотворного послания к Державину; Н. Бестужев — статью Корниловича из истории царствования Петра Великого; Д. Княжевич — монолог Жанны дАрк из трагедии Шиллера в переводе Жуковского; А. Измайлов — басню Вяземского «Мудрость» и свою стихотворную сказку «Бегун и кляча»; Греч — отрывок из дневника путешествия по Германии; снова В. Туманский — на этот раз он читал отрывок из поэмы Рылеева «Войнаровский»; А. Бестужев прочел стихотворение А. Пушкина «К друзьям»; Никитин — отрывок из биографии И.И. Дмитриева, написанной Вяземским; потом выступил со стихами Хвостова и отрывком «Федры» Расива в переводе Лобанова Княжевич. Чтения закончил Измайлов двумя своими стихотворными сказками.

Отрывок из поэмы Рылеева был принят хорошо. Поэма была еще в работе и называлась не

«Войнаровский», а «Ссыльный». Как писал Вяземскому А. Бестужев, «Рылеева «Ссыльный» полон благородных чувств и резких возвышенных мыслей — принят с душевным ободрением».

Рецензент журнала «Северный Архив» писал о новом сочинении Рылеева: «Если вся сия поэма будет написана с таким чувством и силою, как читанные отрывки, то имя г. Рылеева станет на ряду с именами отличных российских писателей. Мы не смеем определять ему места на Парнасе… но должны откровенно сказать, что развивающийся талант г. Рылеева обещает Отечеству писателя, который в потомстве будет стоять гораздо выше, нежели полагают некоторые из наших современных критиков. Отрывки из поэмы «Войнаровский» доставили необыкновенное удовольствие публике, и все знатоки полагают сию пьесу первою из стихотворных статей, читанных в сем заседании».

3

Говорить правду царям — и это гражданский подвиг. Декабристы с уважением относились к тем высокопоставленным лицам, которые, рискуя своей карьерой, а то и головой, старались направить деятельность правительства ко благу России. Таков был Волынский. В начале XIX века стали вспоминать и сподвижника Петра — князя Якова Федоровича Долгорукова (1639–1720), который был одним из создателей русской регулярной армии, доблестным воином, сенатором. Долгоруков открыто, не страшась гнева царя, высказывал ему истину о положении дел (однажды он даже порвал подписанный Петром указ Сената) и заслужил глубокое уважение своих современников. О нем в своей оде «Вельможа» вспомнил Державин («бессмертный Долгоруков» давал «монарху грозному ответ»); Пушкин в стихотворном послании к Мордвинову (1827) сравнил его с Долгоруковым:

Сияя доблестью, и славой, и наукой,
В советах недвижим у места своего,
Стоишь ты, новый Долгорукой.

В 1807 году вышла в Москве книга Е. Тыртова «История о князе Я.Ф. Долгорукове». В 1819 году Измайлов поместил в «Благонамеренном» биографию Долгорукова, написанную профессором В. Перевощиковым. В масонской ложе «Избранного Михаила» Боровков в 1820 году произнес речь о Якове Долгорукове — «Об истинном достоинстве человека», в которой, хотя и не явно, противопоставлял Долгорукова Аракчееву, который, будучи всесильным временщиком, любимцем царя, ничего не сделал для России хорошего.

Декабрист Булатов писал об Аракчееве: «Чем прославил он имя своего государя? Что сделал для блага народа и для пользы Отечества? Где ознаменовал себя во время войны? Где подвиги его, в какой стране дела его? Или, имея счастие носить имя друга покойного государя, защитил ли когда невинного? Помог ли кому? Оправдал ли кого? Нет примера. Но сколько таких несчастных, которые пострадали за него, которые сосланы в Сибирь и в крепостях, может быть и в оковы, мало ли посягнувших даже на жизнь свою?»

Рылеев продолжал дело, начатое сатирой «К временщику», но уже не путем обличения, — удар был нанесен сокрушительный, зло обличено раз и навсегда; всем невольно виделись над портретом Аракчеева строки ры-леевской сатиры. Рылеев теперь ищет примеров положительных людей, которых можно Аракчееву противопоставить. Так появилась его новая дума — «Яков Долгорукий». Этот герой Рылеева — воин и государственный муж, который стремится, «служа Добру, творить вельможам укоризны и правду говорить Петру для благоденствия Отчизны». В оде «Гражданское мужество», также написанной в 1823 году, снова возникает это славное имя: «Долгорукой: один, как твердый страж добра, дерзал оспоривать Петра».

История у Рылеева смыкается с современностью: были добрые примеры для подражания в прошлом — есть они и в настоящем.

Аракчееву противостоял один из замечательнейших русских государственных деятелей — адмирал, сенатор Николай Семенович Мордвинов (1754–1845). Он был председателем отдела гражданских и духовных дел в Государственном совете. Ему посвятил Рылеев оду «Гражданское мужество» (а потом посвятит сборник «Думы»).

Пушкин отметил, что Мордвинов «заключает в себе всю русскую оппозицию», — разумеется, оппозицию в правительстве — в Сенате и Государственном совете.

Пушкин хорошо знал, как трудно быть там оппозиционером, делать добро — и не упасть под натиском враждебных сил:

Так, в пенистый поток с вершины гор скатясь,
Стоит седой утес, вотще брега трепещут,
Вотще грохочет гром и волны, вкруг мутясь,
И увиваются и плещут.
Один, на рамена поднявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною,
Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою.

Николай Тургенев, заседавший в Государственном совете вместе с Мордвиновым, в своих дневниках отзывается о нем как о выдающемся деятеле, отличающемся «беспристрастием» и «проницательностью». «Добрый старик!» — называет он его в 1823 году.

Докладные записки, речи и вообще разные «мнения» (как называли тогда всякие выступления в суде, сенате) Мордвинова уже с конца XVIII века ходят по рукам, — множество людей их читают и переписывают. Мнения эти воспитывали русских людей в идеалах правды. Увлекались ими и декабристы. Рылеев видел в них даже революционное значение, он распространял их, подобно прокламациям, среди товарищей по Северному обществу.

Декабристы прочили Мордвинова в члены Временного правительства в случае успеха государственного переворота. Мордвинов не мог не знать об этих намерениях, возле него было немало заговорщиков, в том числе и Рылеев. Мордвинову, как пишет декабрист Фонвизин, «известно было существование тайного общества».

В 1818 году Мордвинов подал правительству свой проект освобождения русских крестьян. В 1820 году он вместе с М.С. Воронцовым, А.С. Меншиковым и Н.И. Тургеневым подал Александру I записку «Об изыскании способов к улучшению состояния крестьян и к постепенному освобождению от рабства как их, так и дворовых людей». 23 октября 1824 года и 22 декабря 1825-го Мордвинов произнес в Сенате речи против внесения в новый уголовный устав смертной казни (с ним согласились только князь А.Н. Голицын и адмирал Шишков).

Этот высокий, осанистый старик, седовласый, с решительным и в то же время склонным к улыбке лицом, был почетным членом Вольного общества любителей российской словесности и охотно посещал его. Рылеева он знал и по его «мордвиновским» выступлениям в суде, а осенью 1823 года они познакомились лично, именно в Вольном обществе — Рылеева Мордвинову представил Глинка.

Идея создать стихи в честь Мордвинова возникла в Вольном обществе, вероятно, это было предложение Рылеева. Он представил обществу в 1823 году оду «Гражданское мужество» (поместить ее в «Полярной Звезде» на 1824 год ему не удалось — не пропустил цензор). Кроме него, представил оду в честь Мордвинова Плетнев («Долг гражданина»). Но в «Полярной Звезде» имя Мордвинова все же появилось — Рылеев и Бестужев поместили здесь слабое в поэтическом отношении, но точное по сути четверостишие графа Д.И. Хвостова «К портрету Николая Семеновича Мордвинова», где автор назвал сенатора-гражданина «другом людей», который «правду говорить и делать не боялся».

Уже после того, как ода Рылеева «Гражданское мужество» распространилась в списках и получила известность, скульптор Соколов, академик, на очередной выставке в Академии художеств выставил бюст Мордвинова. «Скульптор выразил все, — писал в журнале

«Отечественные записки» Павел Свиньин, — что только мог бы выразить живописец. Все черты кротости и приветливости, черты гения, скрывающего величие свое в добродетели, выражены на лице русского Катона. Можно видеть, что чело его убелено сединами; можно видеть, что волосы его столь же мягки, как сердце, исполненное любовью к ближним, и что столько же тверд его ум, непоколебимый к пользам Отечества».

Мордвинов мечтал об устройстве в России правления, подобного английскому, конечно, с поправками, продиктованными российскими условиями. В частных разговорах с друзьями он высказывался весьма радикально. «Надо начать с трона, — указывал он, — пословица говорит, что лестницу метут сверху».

В день восстания декабристов, уезжая во дворец для принятия присяги, Мордвинов сказал: «Может быть, я уже более не возвращусь, ибо решился до конца жизни противиться сему избранию» (то есть избранию Николая). Действительно — Мордвинов никак не мог быть уверен, что его не арестуют. Николай I его ненавидел.

Мордвинов, разумеется, не революционер, но для своего времени он один из самых передовых государственных деятелей. Симпатия Рылеева к нему не знала оговорок (другое дело — Николай Тургенев, который сталкивался с ним по службе, у них были разногласия, но и то в частностях). Он не забыт и сегодня, но его жизнь и деятельность более или менее подробно — отдельной книгой — освещены были только однажды — профессором Гейдельбергского университета В.С. Иконниковым в 1873 году («Граф Н.С. Мордвинов; историческая монография»).

Во многом сходились Рылеев и Мордвинов. Был у них и еще один важный момент общности — он отражен в названии оды («Гражданское мужество»). Не завоевателей надо славить, считали они, не тех, кто добывает славу пролитием потоков крови, страданиями народов, не Александров Македонских, не Бонапартов, а Цицеронов, Аристидов, Катонов, Брутов, «гражданское мужество» которых служит благу родины. Рядом с ними ставят и Мордвинов и Рылеев тех воинов, которые дают отпор захватчикам. Дочь Мордвинова рассказывала, что ее отец, «занимаясь историческими сочинениями… замечал, что в них прославляют храбрых завоевателей как великих людей, но отец мой называл их разбойниками. Защищать свое Отечество — война законная, но идти вдаль с корыстолюбивыми замыслами, проходить пространство земель и морей, разорять жилища мирных людей, проливать кровь невинную, чтобы завладеть их богатством: такими завоеваниями никакая просвещенная нация не должна гордиться».

О том же говорит в своей оде Рылеев:
Где славных не было вождей,
К вреду законов и свободы?
От древних лет до наших дней
Гордились ими все народы;
Под их убийственным мечом
Везде лилася кровь ручьем.
Увы, Аттил, Наполеонов
Зрел каждый век своей чредой:
Они являлися толпой…
Но много ль было Цицеронов?
И — строфой выше:
Велик, кто честь в боях снискал
И, страхом став для чуждых воев,

К своим знаменам приковал
Победу, спутницу героев!
Отчизны щит, гроза врагов,
Он достояние веков.

Как в думе «Державин» поднимает Рылеев в сферу гражданских доблестей поэта, так в оде «Гражданское мужество» поэтизирует, славословит он *государственного деятеля,* изображая его при этом более устойчивым против бурь, чем это было, может быть, на самом деле:

Но нам ли унывать душой,
Когда еще в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей
В совете бодрствует Мордвинов?
О, так, сограждане, не нам
В наш век роптать на провиденье —
Благодаренье небесам
За их святое снисхожденье!
От них, для блага русских стран,
Муж добродетельный нам дан;
Уже полвека он Россию
Гражданским мужеством дивит;
Вотще коварство вкруг шипит —
Он наступил ему на выю…

Это апофеоз одного из путей, принятых для себя Рылеевым: именно того, которым он, вместе с Пущиным, шел по службе, на самой скромной должности быть образцом гражданской честности, примером всем другим. А что из этого может выйти — ясно: Мордвинов! Мордвиновы в правительстве — Россия благоденствует… Путь не бесцельный, хотя и вполне безнадежный. Однако и им надо идти. А второй путь — это путь декабриста, революционера, цареубийцы, путь уже совсем не мордвиновский. Мордвинов, однако, не принимая участия в революционных действиях, считал возможным на расчищенном другими месте взяться за возведение нового, добротного государственного здания.

По первому из этих путей Рылеев попытался продвинуться и еще дальше. Воспев «гражданское мужество» в лице Мордвинова, он по примеру Державина решил учить царей быть гражданами. К Александру I или к его братьям обращаться было бесполезно. Но, думал Рылеев, время идет вперед, многое меняется в мире. Может быть, их дети будут лучше, гуманнее? Вот, например, сын Николая I Александр (ему было в 1823 году пять лет), которого учит и воспитывает такой добрый и честный человек и великий поэт русский — Жуковский. Жуковский мечтал привить великому князю правила гражданской чести. Вот как он приветствовал его в 1818 году, при его рождении:

Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет

Святейшего из званий: человек.
Жить для веков в величии народном,
Для блага всех — свое позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать.

Впоследствии Жуковский жестоко разочаровался в своем ученике и в дневнике 1834 года назвал его «диким бараном», не желающим делаться просвещенным и добрым человеком. Но в 1823 году Александр был совсем ребенком, кажется, лепи из него что хочешь… В оде «Видение» Рылеев обращается к этому «порфирородному» младенцу не от своего имени, но вкладывает свои речи в уста «тени Екатерины», разворачивая целую программу государственного переустройства в «мордвиновском» духе — конституционно-монархическом:

Уже воспрянул дух свободы
Против насильственных властей;
Смотри — в волнении народы,
Смотри — в движеньи сонм царей.
Быть может, отрок мой, корона
Тебе назначена творцом;
Люби народ, чти власть закона,
Учись заране быть царем.

Твой долг благотворить народу,
Его любви в делах искать;
Не блеск пустой и не породу,
А дарованье возвышать.
Дай просвещенные уставы,
Свободу в мыслях и словах,
Науками очисти нравы
И веру утверди в сердцах.

Люби глас истины свободной,
Для пользы собственной люби,
И рабства дух неблагородный —
Неправосудье истреби.
Будь блага подданных ревнитель:
Оно есть первый долг царей;
Будь просвещенья покровитель:
Оно надежный друг властей.

Старайся дух постигнуть века,
Узнать потребность русских стран,
Будь человек для человека,
Будь гражданин для сограждан.

За такие речи Екатерину «Видения» (как и Волынского из одноименной думы) вполне можно было бы принять в Союз Благоденствия. Никаких беспочвенных иллюзий, пустых надежд у Рылеева не было. «Просвещенный монарх» — это для него скорее уже ставшая традиционной тема русской поэзии, позволяющая в дозволенных рамках сказать ту истину, что царь — гражданин своей страны (пусть и первый) и, как все граждане, имеет обязанности перед народом.

Рылеев напечатал «Видение» в булгаринских «Литературных листках», но под давлением цензуры Булгарин сделает к стихотворению несколько примечаний, искажающих смысл написанного (например: «Под именем *святой правды* здесь подразумевается Священный союз, установленный для блага народов»). Рылеев с этим примириться не мог, он стал распространять среди знакомых неискаженный текст оды. За эти «мордвиновские» оды А. Бестужев метко прозвал Рылеева «Либералом» (в письме к своим сестрам); он отметил, что оды — «прекрасные».

Позднее, в 1855 году, Герцен писал Александру II, «Освободителю»: «Рылеев приветствовал вас советом — ведь вы не можете отказать в уважении этим сильным бойцам за волю, этим мученикам своих убеждений? Почему именно ваша колыбель внушила ему стих кроткий и мирный?»

В 1823 году Рылеев задумал изложить в прозе свои мысли о ходе мировой истории. Сохранился проспект трактата под названием «Дух времени или судьба рода человеческого», разделенного на две части по шести глав, — первая часть кончается главой «Христос», вторая начинается главой «Гонения на христиан распространяют христианство». Рылеев предполагал пройти весь путь истории от «дикой свободы» первобытных людей до. свержения Наполеона и «борьбы народов с царями». В одном из отрывков, относящихся к этому сочинению, Рылеев отметил, что после распада огромной империи Наполеона в Европе появилось множество «царей», которые «соединились и силою старались задушить стремление свободы», появившееся у народов после поражения Бонапарта. «В Европе мертвая тишина, — пишет Рылеев, — но так затихает Везувий». Нельзя не признать, что последняя фраза весьма многозначительна. Везувий как образ революции, восстания был в ходу у декабристов, он возник в связи с Неаполитанским восстанием 1820 года, когда, по словам Пушкина, «Волкан Неаполя пылал».

Одновременно с либеральными одами возникли первые агитационно-политические песни, написанные Рылеевым совместно с Бестужевым. Песни эти получили широкое хождение. В них много озорства, литературных и политических намеков. Некоторые остররеволюционны. В период после восстания тексты этих песен служили одной из явных улик в революционности владельца списков.

Но в 1823 и 1824 годах даже на многолюдных сходках у Греча их пели хором, а тут, кроме самого Греча, были Воейков и Булгарин, различные чиновники и офицеры. Никто не боялся, многие — даже и нелибералы — подпевали. Один только Булгарин, чуя неладное, то и дело выбегал в переднюю или выглядывал в окно — не залез ли на балкон квартальный, не подслушивает ли…

Эти песни Следственная комиссия назовет «возмутительными».

Некоторые исследователи поэзии Рылеева связывают эти песни с традицией «ноэлей» (например — Пушкина: «Ура! В Россию скачет…»), жанра, перенесенного в Россию из Франции. Но не нужно долго приглядываться, чтобы увидеть, что песни Рылеева — Бестужева чисто русские — они написаны русскими песенными размерами и даже на какой-нибудь «голос», то есть определенную мелодию.

Замысел авторов был определенный: «действовать на ум народа… сочинением песен», как говорил Рылеев декабристу Поджио. На одном из собраний Северного общества в 1823 году

Рылеев и предложил такое «действие». В этом году были написаны песни «Ах, где те острова…» и «Царь наш — немец русский…». Содержание второй намеренно воспроизводит мнения, подслушанные авторами в народе, в частности — в толчее Гостиного двора:

Царствует он где же?
Всякий день в Манеже.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!
Прижимает локти,
Прибирает в когти.
Ай да царь… (и т. д.)
Враг хоть просвещенья,
Любит он ученья.
Ай да царь… (и т. д.)
Школы все — казармы,
Судьи все — жандармы.
Ай да царь… (и т. д.)
А граф Аракчеев
Злодей из злодеев!..

Продолжалась и работа над думами. В думе «Наталия Долгорукова» — один из самых счастливых для Рылеева сюжетов. В ней он как бы предсказал подвиг жен сосланных в Сибирь декабристов… Насколько тверже становится воля к совершению подвига, когда он как бы освящен историей.

Материалы для этой думы Рылеев нашел в «Плутархе для прекрасного пола» (в части 6-й, 1819 г.), где напечатаны были записки Долгоруковой, и в журнале «Русский Вестник» за 1815 год — повесть Сергея Глинки «Образец любви и верности супружеской, или Бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгоруковой, дочери фельдмаршала Б.П. Шереметева, супруги князя И.А. Долгорукова».

Иван Алексеевич Долгоруков (1708–1739) был приближенным императора Петра II. После воцарения Анны Иоанновны, при Бироне, Долгоруков попал в разряд неугодных правительству лиц и был сослан сначала в свои касимовские поместья, потом в сибирский город Березов. Он сослан был через три дня после своей свадьбы. Семнадцатилетняя жена его, Наталия Борисовна, последовала за ним, хотя Бирон и даже сама императрица уговаривали ее остаться, не покидать роскошной придворной жизни. В 1739 году Долгоруков тайно от его молодой супруги был увезен в Новгород и там казнен. Наталия Борисовна после смерти мужа жила и воспитывала своих детей в Москве, а в 1758 году уехала в Киев — там она постриглась во Фроловском женском монастыре под именем Нектарии. Там, в келье, она и писала свои записки. Скончалась она в 1771 году. Записки ее доведены только до приезда ее с мужем в Березов.

Дума Рылеева вызвала к жизни другое произведение на этот же сюжет — поэму Ивана Козлова «Княгиня Наталия Борисовна Долгорукая». «Мне кажется, — писал Козлов Пушкину 31 мая 1825 года, — что это необыкновенно трогательный сюжет. Не решусь сказать, что дума Рылеева под тем же заглавием лишена достоинств; однако мне кажется, что она не может служить препятствием к тому, чтобы попробовать написать маленькую поэму». Поэма Козлова была издана в 1828 году, но уже в 1826-м дочь его приятельницы — графини Лаваль — Екатерина Трубецкая повезла с собою в Сибирь отрывки из готового текста. Когда вышла в

Петербурге книга, немало ее экземпляров было отправлено в Сибирь по просьбе декабристок. Трубецкая, Волконская, Муравьева, Нарышкина, Фонвизина и другие героические женщины не расставались с думой Рылеева и поэмой Козлова. Гораздо позднее появилась поэма Некрасова «Русские женщины», посвященная уже самим декабристкам.

За простыми словами Долгоруковой в думе Рылеева — целая судьба:

Забыла я родной свой град,
Богатство, почести и знатность,
Чтоб с ним делить в Сибири хлад
И испытать судьбы превратность.

И как важно было для добровольных изгнанниц, что именно Рылеев вспомнил о Долгоруковой, именно он, которого декабристы в Сибири почитали как святого, как мученика за правду.

4

В мае 1823 года Рылеев прочитал в Вольном обществе любителей российской словесности новую думу — «Первое свидание Петра Великого с Мазепой» (в сборнике «Думы» опубликована как «Петр Великий в Острогожске»).

Об этом свидании Рылеев мог прочитать в «Истории Малой России» Бантыша-Каменского. Но рассказы о нем бытовали и среди жителей Острогожска — Рылеев не раз, вероятно, слышал их.

Второй раз появляется в творчестве Рылеева гетман Мазепа. Первый — в набросках к неосуществленной трагедии, в определенной, недвусмысленной роли предателя и злодея. В думе «Петр Великий в Острогожске» Мазепа также не положительный герой, но здесь образ его как бы размыт, на него наброшен покров таинственности, романтичности. Рылеев раздумывает над ним:

В пышном гетманском уборе,
Кто сей муж, суров лицом,
С ярким пламенем во взоре,
Ниц упал перед Петром?

Здесь, в южных пределах России, Мазепа со своими казаками стоял заслоном против крымцев.

Дума написана живо, образно. «Окончательные строфы «Петра в Острогожске» чрезвычайно оригинальны», — писал Рылееву Пушкин. Это строфы о крае,

Где, плененный славы звуком,
Поседевший в битвах дед
Завещал кипящим внукам
Жажду воли и побед.
Там, где с щедростью обычной
За ничтожный, легкий труд
Плод оратаю сторичной
Нивы тучные дают;

Где в лугах необозримых,
При журчании волны,
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны;
Где, в стране благословенной,
Потонул в глуши садов
Городок уединенной
Острогожских казаков.

Но, может быть, и не этим затронула Пушкина дума. Не смутный ли образ «пришлеца в стране пустынной», старого гетмана, грозного и загадочного, которого Рылеев в думе поставил рядом с Петром, отпечатался в его подсознании?

Думой «Петр Великий в Острогожске» и поэмой «Войнаровский» Рылеев проложил путь к «Полтаве» (эту поэму Пушкина современники чаще называли «Мазепа»). У Пушкина другой взгляд на Мазепу, он для него ясен до предела — изменник. У Рылеева же Мазепа, оставаясь, конечно, изменником (как он и охарактеризован в набросках к ненаписанной трагедии), усложнился. В «Войнаровском» ему приданы черты борца за свободу.

В поэме Рылеев, как и в думах, заботится не об исторической правде, а о том, чтобы его герой нес революционно-освободительные, гражданские идеи к читателю. Украина была для него — в настоящем — частью России. Там действовало декабристское Южное общество. Ярмо крепостного рабства давило и на украинских крестьян. То же неправосудие, тот же царь стояли над ними.

…Над поэмой «Войнаровский» Рылеев работал в 1823–1824 годах.

Она имеет особенные жанровые признаки — рылеевские, выработанные в его думах. Переход от думы к поэме совершился у Рылеева легко и логично. Там и здесь — исторический сюжет. Гражданские идеи. Монолог героя как основа произведения.

В поэме два героя — Войнаровский и Мазей», племянник и дядя.

Кто такой гетман Иван Степанович Мазепа, в истории — ясно. Он изменник; в решительную минуту предался он вместе с войском шведскому королю. Он мечтал об Украине как о самостоятельном, отдельном от России государстве. Измену свою он готовил тщательно и долго. Он был так осторожен и хитр, что даже ежегодные доносы на него — в течение двадцати лет! — не поколебали доверия Петра к нему. Ясно, что виноват в измене Мазепы и Петр, — вместо того чтобы разобраться в «изветах» Кочубея и Искры, он — из симпатии и доверия к Мазепе — обманом вызвал их с Украины, судил, пытал, а потом выдал Мазепе на казнь. Это было в 1708 году, когда Карл XII уже подходил к Украине. В ноябре этого года в Москве, в Успенском соборе, Мазепа был предан анафеме. Петр заочно приговорил его к казни. После Полтавской победы Петр приказал изготовить в единственном экземпляре «Орден Иуды» — специально для Мазепы. Петр надеялся схватить предателя, но тот где-то на пути в Турцию погиб. Были слухи, что он покончил жизнь самоубийством.

В оценке Мазепы едины все известные Рылееву историки (за исключением Г.А. Полетики, автора «Истории руссов, или Малой России», вышедшей в 1846 году, но известной Рылееву по извлечениям из рукописи). Русские и украинские народные песни осуждали Мазепу. В сборнике песен, собранных Петром Киреевским, есть такая, например, где Мазепа называется «псом проклятым», который собирается «царя одступаты, в пень Москву рубаты». Поэзия начиная с кантов петровского времени до Сладковского, Шихматова и Грузинцева единодушна в презрении к предателю.

В самой Малороссии простой народ поминал Мазепу не иначе, как «псом», но часть дворян и бывшая казацкая старшина вздыхали по временам, когда «добре було Житте за Мазепой». Историк М. Погодин сделал запись в дневнике 3 июля 1821 года о своем разговоре с неким малороссийским дворянином Шираем: «Беседовали о Родине Ширая, Малороссии. Теперь у них не осталось и тени прежних прав. Малороссы называют себя истинными россиянами, прочих — москалями. Мазепу любят». Были хвалители Мазепы и в Польше (он был там воспитан) — историк Залусский, поэт Падурра, в 1824 году посвятивший Мазепе стихи. Падурра был польско-украинским националистом, — в одежде кобзаря он ходил по Малороссии, воспевая былую казацкую славу и единение Украины с Польшей. В 1823 или 1824 году на Украине Падурра участвовал в совещаниях польских революционеров с декабристами. С Рылеевым он знаком не был.

Исследователи поэзии Рылеева давно уже спорят по поводу Мазепы в «Войнаровском» — осудил его поэт или, наоборот, оправдал, возвысил как патриота? До сих пор специалисты не

пришли к единому мнению.

Националистическим настроениям украинофилов Рылеев сочувствовать не мог — декабристы не предусматривали в своих революционных проектах отделения Малороссии от России (ни «Конституция» Муравьева, ни «Русская Правда» Пестеля). Декабристы часто (в письмах, показаниях на следствии, воспоминаниях) осуждали Петра за его деспотизм, сугубо самодержавные устремления, оправдывая при этом многие его государственные реформы. Петр предпринимал решительные шаги по ограничению свободы казачества. С другой стороны, Мазепа препятствовал закабалению казаков. В какой-то мере это можно воспринять и как борьбу с самовластием. Свою собственную власть — а Петр наделил его неограниченными полномочиями — Мазепа ограничил советом старшин, родом шляхетского сейма, — это отчасти напоминало республиканское правление. И вместе с тем все это дополняется — или подавляется — другой стороной деятельности гетмана, о которой говорит Пушкин в предисловии к «Полтаве»: «История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях… губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения; память его, преданная церковию анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества».

Итак, сложность, разнохарактерные черты в натуре Мазепы есть. Если он и злодей, то неизмеримо более сложный, чем, например, Святополк Окаянный. К этому можно прибавить, что Мазепа был храбрый и умелый воин, до семидесятилетнего возраста не утративший ни силы, ни ловкости. И, наконец, как бы подло он ни поступил с Кочубеем, но его дочь он любил со страстью юноши, что видно и из его сохранившихся писем к ней.

Все это, вместе взятое, дало Рылееву возможность увидеть в Мазепе отчасти романтического героя.

Но не только это.

В 1819 году появилась поэма Байрона «Мазепа». В том же году отрывки из нее были опубликованы в русских журналах. В 1821 году Каченовский напечатал в «Вестнике Европы» свой прозаический перевод этого произведения. Английской литературой, в частности, Байроном, увлекался Александр Бестужев, прекрасно знавший английский язык. Николай Бестужев в 1822 году напечатал свой перевод поэмы Байрона «Паризина» (в «Соревнователе просвещения и благотворения»). Бестужевы, без всякого сомнения, знакомили Рылеева с сочинениями Байрона. Они, конечно, читали в подлиннике и «Мазепу». Содержание этой поэмы (взятое из «Истории Карла XII» Вольтера) таково: после Полтавского сражения Карл XII и Мазепа бегут с остатками разбитого войска. В лесу они остановились на отдых, и Мазепа рассказывает королю одну удивительную историю, случившуюся с ним в молодости, пятьдесят лет назад. Тогда Мазепа воспитывался в Польше. Он стал пажем при дворе польского короля и влюбился в молодую жену одного графа. Ревнивый граф выследил влюбленных, схватил юношу, велел привязать его голым к хребту дикого коня и пустить на волю. Конь был приведен в Польшу с Украины, он и помчался на родину. Сквозь леса и горы пронес он измученного до полусмерти юношу. Где-то на Украине конь пал. Мазепу, больного, потерявшего сознание, нашел казак, он отвязал его от трупа коня и отнес к себе в хату. Большую часть поэмы занимает описание бешеной скачки дикого коня с привязанным к его спине человеком. Байрон не заботился об исторической правде или местном колорите — его увлекла вот эта романтическая скачка. Мазепа, собеседник Карла, обрисован им немногими штрихами, но с симпатией.

Вот (в переводе Д. Михаловского) описание привала:

…Седой Мазепа тоже.
Под тенью дуба сделал ложе.

Суровых казаков глава
Привык довольствоваться малым;
Но позаботился сперва
Он о коне своем усталом:
Ему он листьев подостлал,
Подпруги крепкие ослабил,
По гриве с лаской потрепал…

…Мазепа плащ свой разложил,
Под дубом пику прислонил.
Свое оружье осмотрел:
В порядке ль вынесло оно
Поход, начатый так давно.
Мазепа рассказывает о своей молодости:
Теперь я стар, теперь я сед:
Ведь мне за семьдесят уж лет;
Но в раннем возрасте моем
Я был красивым молодцом.
Не многие из молодых,
Дворян — и знатных и простых —
Могли поспорить той порой
В блестящих качествах со мной.

Главное место в поэме занимает рассказ героя. Это — излюбленный прием Байрона. Так, в любимой русскими поэтами-романтиками поэме Байрона «Гяур» молодой чернец рассказывает историю своей жизни монаху. То же происходит в «Братьях разбойниках» Пушкина (рассказ «пришельца нового»), в «Чернеце» Козлова (рассказ молодого чернеца). В поэме Рылеева — тот же композиционный прием: племянник Мазепы Войнаровский, сосланный в Сибирь, рассказывает историю своей жизни ученому-путешественнику Миллеру.

Обаяние Байроновой музы не могло не придать образу Мазепы своеобразной красоты, значительности. Это, разумеется, дало свою поправку к образу Мазепы в «Войнаровском». При этом он подан не прямо от автора, а через главного героя, через его рассказ. А главный герой поэмы не только племянник Мазепы, он и его единомышленник, хотя и не вовсе чуждый сомнений в чистоте всех намерений своего дяди. Но и Андрей Войнаровский у Рылеева далеко не тот, что в истории, — не блестяще образованный шляхтич, участник измены Мазепы Петру, наследовавший после смерти дяди несметные богатства и пустившийся их проматывать в Австрии и Германии. У Рылеева Войнаровский — «ссыльный», брошенный «в дальние снега за дело чести и отчизны», в котором еще «горит любовь к родной стране» и теплятся надежды, что «воскреснет прежняя свобода».

Рылеев создал образ, который захватил современников, — так он был созвучен эпохе преддекабрьских лет. Сквозь фигуру Войнаровского отчетливо виден сосланный в Сибирь декабрист. И рядом с ним — его жена, которая «умела гражданкой и супругой быть, и жар к добру души прекрасной, в укор судьбине самовластной, в самом страданье сохранить». Это современная Рылееву Наталия Долгорукова, декабристка. В действительности супруга Войнаровского была совсем не такова…

«С Рылеевым — мирюсь, — писал Пушкин брату, — Войнаровский полон жизни». Н.

Бестужев находил, что «Войнаровский» спорит с Пушкиным «в силе чувствований, в жаре душевном». Популярность поэмы сделалась совершенно необыкновенной.

«Войнаровский» печатался по частям в журналах и вышел отдельной книгой в марте 1825 года. Одновременно поэма расходилась в рукописных списках.

П.А. Муханов писал Рылееву из Киева 13 апреля 1824 года: «Войнаровский, твой почтенный дитятко, попал к нам в гости; мы его приняли весьма гостеприимно, любовались им; он побывал у всех здешних любителей стихов и съездил в Одессу. Я тебе говорю об отрывках, которые завезены сюда не знаю кем… Войнаровский твой отлично хорош. Я читал его М. Орлову, который им любовался; Пушкин тоже».

Рецензент «Украинского журнала» в начале своего отзыва о «Войнаровском» прокомментировал стихи из посвящения А. Бестужеву, помещенного в начале поэмы:

…Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства, —
Я не Поэт, а Гражданин.

«Читавшие «Войнаровского», — говорит он, — первый из приведенных стихов отнесут к одной скромности, столь привлекательной в молодом поэте, со вторым охотно согласятся: он наилучшим образом оправдан в продолжение всей поэмы; а при третьем почувствуют особенное уважение к сочинителю, который старается соединить в себе оба сии священные названия — Поэт и Гражданин».

Только что возникшая газета «Северная пчела» отмечала: «Вот истинно национальная поэма! Чувствования, события, картины природы — все в ней русское, списанное, так сказать, на месте. Публике было уже известно существование сей поэмы из отрывков, помещенных в «Полярной Звезде» на 1824 год, и все любители отечественной словесности с нетерпением ожидали выхода ее в свет. Она долго ходила по рукам в рукописи… Это чистая струя, в которой отсвечивается душа благородная, возвышенная, исполненная любви к родине и человечеству».

П.А. Катенин в письме к другу писал, что ему показался странен в «Войнаровском» Мазепа («Всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном»), но отметил и другое, удивившее всех обстоятельство: «Диво и то, что цензура пропустила».

«Войнаровский» издан был с цензурными урезками и искажениями, а также с подстрочными примечаниями цензурного характера, часто вступающими в противоречие с содержанием поэмы. Рылеев вынужден был принять эти бессмысленные примечания. Так, строки «Кто брошен в дальние снега за дело чести и отчизны» комментируются следующим образом: «Так извиняет свое преступление справедливо и милосердно наказанный Войнаровский». Строки «Ты, при случае, себя не пожалеешь за Украину» — «Напрасная забота! О благе Украины пекся великий преобразователь России». К словам Мазепы «Успех не верен, — и меня иль слава ждет, иль поношенье!» — «Какая слава озарила бы Мазепу, если бы он содействовал Петру в незабвенную битву Полтавскую! Какое бесславие омрачает его за вероломное оставление победоносных рядов Петра!» К словам Мазепы: «И Петр и я — мы оба правы: как он, и я живу для славы, для пользы родины моей». — «Это голос безрассудного отчаяния Мазепы, разбитого под Полтавою. Удивительная дерзость сравнивать себя с Петром».

Сверх того к отдельному изданию «Войнаровского» были приложены — в конце — обширные примечания самого Рылеева и — в начале — две статьи: «Жизнеописание Мазепы» Корниловича и «Жизнеописание Войнаровского» А. Бестужева. Нельзя не обратить внимания на то, что Рылеев поручил написать статью о Мазепе одному из самых ревностных и даже

восторженных поклонников Петра Великого, наперед знал, что именно он напишет. Корнилович обрисовал Мазепу в соответствии с исторической правдой. Он писал о том, что гетман, «замыслив измену… почувствовал необходимость притворства», что он «ненавидел россиян в душе», «потаенными средствами раздувал между козаками неудовольствие против России», что он «в тайном договоре с Станиславом отдавал Польше Малороссию и Смоленск с тем, чтоб его признали владетельным князем полоцким и витебским». «Низкое, мелочное честолюбие, — пишет Корнилович, — привело его к измене. Благо казаков служило ему средством к умножению числа своих соумышленников и предлогом для скрытия своего вероломства, и мог ли он, воспитанный в чужбине, уже два раза опятнавший себя предательством, двигаться благородным чувством любви к родине?» Такое вступление к поэме Рылееву было необходимо, так же как и биография Войнаровского, написанная по его просьбе Бестужевым, — он давал читателю историю, а за ней следовало поэтическое произведение, в котором домыслы и романтическая фантазия служили целям политической агитации. Рылеев как бы призывал такой композицией книги не искать противоречий между образами Мазепы и Войнаровского в его поэме и в истории.

Многие исследователи сравнивали «Войнаровского» с «Полтавой» Пушкина (1829) — всегда побивая первого второй, исторически точной. Но с чем тут спорить, если, как мы видим, Рылеев не хуже всех знал историческую правду, а в поэме дал волю фантазии?

Разные замыслы, разные цели у Рылеева и Пушкина. В заметках о «Полтаве» (1830) Пушкин говорит: «Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер».

Нельзя обвинять Рылеева в антиисторизме или «ограниченном» историзме. Так говорить — недооценивать как личность, так и творчество Рылеева. В этом случае поэт и его поэзия (и особенно «Войнаровский») — реальная сила истории, одна из самых активных в 1820-е годы. Стихи Рылеева были не просто популярны, они зажигали, направляли к действию. Они были *оружием.* Надо еще разобраться в таинственном механизме гениального творчества поэта-декабриста, который умел производить своими сочинениями такое впечатление у читателей, о каком любой поэт может только мечтать.

К тому же «Войнаровский» — единственная поэма, легально пропагандировавшая революционные — декабристские — идеи.

Все это — исходный пункт для суждений о творческом методе Рылеева.

Герцен называл Рылеева «великим поэтом», приравнивая его по силе чувства к Шиллеру. Огарев в 1860 году — писал: «Перечитывая «Войнаровского» теперь, мы пришли к убеждению, что он и теперь так же увлекателен, как был тогда, и тайна этого впечатления заключается в человечески-гражданской чистоте и доблести Поэта, заменяющих самую художественность, или лучше, Доведенных до художественного выражения».

Огарев обратил внимание на то, что гражданственность поэзии Рылеева имеет художественный смысл.

5

В сентябре 1823 года в доме Рылеева собрались родственники и друзья, Рылеев был счастлив: у него родился сын, которого назвали Александром. «Наташинька, слава богу, здорова, — писал он теще в Острогожск, — а равно и малютка Александр… Матушка теперь в деревне, насилу могла расстаться с Александром». Во время крещения Александра восприемниками были Федор Глинка и тетка Рылеева — Вера Сергеевна Готовцева.

«Рылеева вам кланяется, она родила Александра, — писал А. Бестужев сестрам в сентябре. — Поздравьте Либерала, который пишет теперь прекрасные оды. Полярная Звезда сбирается. Виньетки гравируются».

Осенью этого года — с середины сентября — Бестужев находился в длительной поездке по службе — с герцогом Вюртембергским. Рылеев занимался «Полярной Звездой» один. Он вел переписку с авторами, переговоры с цензором.

Из Одессы В. Туманский прислал стихи — свои и Пушкина. Рылеев отвечал: «Все сии стихотворения вместе с пиесами Консула нашей Литературной республики (так Рылеев называет Пушкина. — *В.А.)* отданы Бирукову… Бируков — цензор-деспот». В этом же письме: «Стихотворений наслано к нам куча». Письмо написано в несколько приемов. Рылеева все время отвлекают дела: «Сей час получил пиесы от Вяземского, Родзянки и В. Измайлова»; «Сей час от Бирукова. Варвар не пропустил ни одной из пиес Пушкина… Ради бога присылай других и проси Пушкина, чтобы он нас не оставил»; «Прилагаю к нему (к Пушкину. — *В.А.)* письмо от Пущина и Дельвига. Проси об ответе». Приписка Дельвига: «Дельвиг бьет тебе челом».

Из Финляндии прислал стихи Боратынский.

Издатели «Полярной Звезды» видели в нем одного из крупнейших русских поэтов и охотно печатали его стихи (в 1823-м — два, в 1824-м — пять). Приезжая в Петербург, он бывал у Козлова, у Воейковой-Светланы А.В. Никитенко вспоминает, как Рылеев читал у себя дома только что оконченного «Войнаровского», — среди прочих, «слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире — Боратынский». В 1824 году Булгарин в «Литературных Листках» сообщал, что «многие любители поэзии давно уже желают иметь собрание стихотворений Е.А. Боратынского, которого прекрасные элегии, послания, воспоминания о Финляндии и Пиры снискали всеобщее одобрение. К.Ф. Рылеев, с позволения автора, вознамерился издать его сочинения».

Весной 1824 года Боратынский пишет из Кюмени: «Милые собратья Бестужев и Рылеев!.. Возьмите на себя, любезные братья, классифировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны без всякого порядка — особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре»; «О други и братья! Постарайтесь в чистеньком наряде представить деток моих свету — книги, как и людей, часто принимают по платью». И еще в октябре 1825 года декабрист Бригген писал Рылееву: «Не забудьте выслать мне один экземпляр сочинений Боратынского, если это правда, что они вами издаются». Декабрьское восстание не дало осуществить этот план. «Стихотворения Евгения Боратынского» вышли в Москве в 1827 году стараниями Дельвига.

Василий Туманский («Одессу звучными стихами наш друг Туманский описал», — говорит в «Евгении Онегине» Пушкин), читавший на вечере Вольного общества любителей российской словесности в доме Державина отрывок из «Войнаровского» Рылеева, был одним из постоянных авторов «Полярной Звезды» и посредником между издателями альманаха и Пушкиным. Туманский жил в Одессе, когда Пушкин приехал туда, — они (служили в канцелярии новороссийского губернатора и наместника Бессарабской области графа М.С. Воронцова.

Стихи Туманского были гармоничны и вообще отличались высокой техникой, что не

однажды отмечал Пушкин.

В «Полярной Звезде» на 1824 год помещено было семь стихотворений Туманского, среди них отмеченная Пушкиным «Одесса». Гармония и точность в полной мере отличают, например, очень характерное для поэтики 1820-х годов стихотворение Туманского «Воспоминание»:

Меня парнасский бог в чужбине навещал,
Когда, не ведая притворства,
Я речи милых уст с любовью подчинял
Законам стройным стихотворства.

Блаженством юности, надеждой лучших дней
Они мой слух обворожали,
И, обновленные гармонией моей,
Как прежде, душу потрясали…

Из декабристов, кроме Рылеева и Бестужева, Туманский был близко знаком с Кюхельбекером, Корниловичем и Пестелем. Рылеев надеялся, что со временем Ту-манский обратится к гражданским темам в своей поэзии, — какие-то ободряющие начала были, — Туманский перевел одну из острополитических песен Беранже («Священный союз народов»). Однако надежды эти не сбылись. «У тебя прекрасный талант, — писал ему Рылеев, — ты сам не дорожишь им».

В начале 1825 года в Одессу прибыл высланный из Петербурга Адам Мицкевич с двумя товарищами — Малевским и Ежовским. Бестужев и Рылеев снабдили его рекомендательными письмами к Туманскому. «Милый Туманский, — писал Рылеев. — Полюби Мицкевича и друзей его… По чувствам и образу мыслей они уже друзья, а Мицкевич к тому же и поэт — любимец нации своей».

Стихи Пушкина, присланные Туманским, все-таки удалось провести через цензуру, хотя и с потерями. В ноябре 1823 года Александр Тургенев сообщал Вяземскому: «Я хлопотал за «Полярную Звезду» и говорил с цензором о твоих и Пушкина стихах… Кое-что выхлопотал и возвратил стихи Рылееву».

Стихи Вяземского, о которых здесь говорится, — это «Петербург», наряду с отрывками из «Войнаровского» Рылеева — одно из самых острых политических стихотворений «Полярной Звезды» на 1824 год. Оно написано было в 1818 году, Вяземский сам сознавал, что напечатать его невозможно. «Я на горах свободы такую взгромоздил штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет», — писал он по поводу своего стихотворения Александру Тургеневу. Рылеев и Бестужев решили напечатать «Петербург», но через цензуру при помощи Александра Тургенева удалось провести только две трети его: Бируков вычеркнул весь конец.

Увидев в альманахе свое стихотворение урезанным, Вяземский посетовал в письме к Бестужеву, что его «выпустили на позор несчастным скопцом», что он предпочел бы, чтобы «ничего… не напечатали бы вы, а сказали в особенном замечании, что из присланного князем Вяземским ничего в этой книжке не печатается по некоторым обстоятельствам. Таковое замечание сделало бы фортуну мою и вашей книжки». Бестужев отвечал: «Вы еще худо знаете нашу цензуру, любезнейший князь, когда воображать можете, что она бы позволила ремарку о некоторых причинах, не позволивших напечатать ваших стихов. А мы многое бы потерпели, если б отказались от такого наследства, как седьмая часть ваших стихов».

К этому времени — к 1823 году — Вяземский в глазах правительства «революционер и

карбонар», «стихотворец и якобинец». В 1820–1823 годах Вяземский в письмах резко критикует Александра I, пренебрегая даже тем, что письма явно перлюстрируются. «Не поручусь за ненарушимость переписки и предаюсь безмолвно, то есть напротив, гласно, на жертву всяких пакостей. Теперь не время осторожничать. Пусть правда доходит до ушей, только бы не совсем пропадала в пустынном воздухе». Среди декабристов популярно было не напечатанное при жизни Вяземского большое его политическое стихотворение «Негодование», написанное в 1820 году.

«Кажется, нигде столько души моей не было, как тут», — сказал Вяземский о «Негодовании». С.Н. Дурылин (1932) заметил, что в «Негодовании» александровская Россия «изображена у Вяземского красками Рылеева… Вся политическая и экономическая программа среднего дворянско-буржуазного декабризма здесь налицо. «Катехизис» Вяземского полнее и точнее таких поэтических катехизисов декабризма, как «Горе от ума» Грибоедова, «Деревня» и «Вольность» Пушкина, «К временщику» и другие стихи Рылеева. «Катехизис» заканчивается прямым призывом на Сенатскую площадь:

Он загорится день — день торжества и казни…

…Все это монолог поэта декабря, и нет ничего удивительного, что будущие деятели декабря переписывали эти стихи и распространяли… Вяземский попадал своими инвективами в самые больные места современности».

Рылеев и Бестужев пытались привлечь Вяземского в Северное общество. Нет никаких данных к тому, чтобы считать их попытки безуспешными. Весьма недаром Николай I по поводу «Алфавита декабристов» (списка людей. причастных к восстанию) сказал, имея в виду Вяземского: «Отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других» (Д.Н. Блудов передал эти слова Вяземскому).

И.И. Пущин в день восстания попросил Вяземского сохранить портфель с бумагами — там были стихи Пушкина, Дельвига, Рылеева и экземпляр «Конституции» Н. Муравьева, переписанный рукой Рылеева. Вяземский вернул этот портфель Пущину в целости после возвращения декабриста из ссылки в 1856 году.

Когда в Москве печаталась поэма Рылеева «Войнаровский», Вяземский хлопотал за нее перед московской цензурой. «Позвольте поблагодарить вас за участие, которое вы принимаете в судьбе «Войнаровского», — писал Вяземскому Рылеев.

Казнью пятерых декабристов Вяземский был потрясен до глубины души: «Для меня Россия теперь опоганена; окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо… Сколько жертв и какая железная рука пала на них!.. Я не ожидал такой решимости в мерах…» Оправдывая необходимость восстания декабристов, Вяземский писал в 1826 году Жуковскому: «Ограниченное число заговорщиков ничего не доказывает, единомышленников много… Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк?.. Постигаю причины и, не оправдывая лиц, оправдываю действие, потому что вижу в нем неминуемое следствие бедственной истины». 7 августа 1826 года Вяземский пишет жене: «Посылаю тебе копию с письма Рылеева к жене. Какое возвышенное спокойствие!» (В обществе тогда ходили по рукам списки с предсмертного письма Рылеева.) Он восхищался подвигом жен декабристов, отправившихся в добровольную сибирскую ссылку вслед за сосланными мужьями: «Дай бог хоть им искупить гнусность нашего века».

Уважение к декабристам Вяземский сохранил до конца своей жизни. Он часто посылал в Сибирь декабристам книги, деньги, вел переписку…

В «Полярной Звезде» на 1824 год появились стихи Батюшкова, Жуковского (стихи и проза), Ивана Козлова, Глинки, В.Л. Пушкина, Хомякова, Дельвига, Кюхельбекера, Плетнева, Григорьева и других поэтов. Среди них ныне забытый, но подававший большие надежды, рано

умерший поэт Михаил Загорский (1804–1824). Пушкин очень сожалел о его ранней гибели. Загорский успешно продолжал попытки Жуковского и Пушкина создать русский поэтический эпос. Смерть прервала его работу над «богатырской поэмой» «Илья Муромец», пронизанной мотивами русского фольклора. Незадолго до смерти он пишет также русскую народную идиллию «Бабушка и внучка» и «русскую повесть» «Анюта», — то и другое было продиктовано поэту его страстной любовью к русской старине. Загорский стремился создать новые поэтические жанры, основанные не на западных образцах, а на особенностях русского народного поэтического творчества и таких древних произведений литературы, как «Слово о полку Игореве».

Дело Загорского, конечно, было продолжено, однако намеченных им целей не достиг еще никто. Русский национальный — литературно обработанный — эпос (типа «Неистового Роланда» Ариосто или «Лузиад» Камоэнса) так и не был создан.

Кюхельбекер в ссылке нашел в старом журнале стихи Загорского и отметил в дневнике: «Он был молодой человек с истинным дарованием». В «Полярной Звезде» на 1824 год Бестужев и Рылеев поместили два стихотворения Михаила Загорского: «Элегия» и «Слава».

«Полярная Звезда» на 1824 год открывалась новым обзором А. Бестужева: «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года». Эта статья — литературный манифест издателей «Полярной Звезды», в котором выражена, по сути, программа поэтического творчества Рылеева, утверждающая связь литературы с политикой. Программа, устремленная в будущее — к Белинскому, Некрасову, Герцену… «Топограф и антикварий поверяют свои открытия под знаменем бранным; гром отдаленных сражений одушевляет слог авторов и пробуждает праздное внимание читателей, — пишет Бестужев, — газеты превращаются в журналы и журналы в книги; любопытство растет, воображенье, недовольное сущностию, алчет вымыслов, и под политическою печатью словесность кружится в обществе».

Рассмотрев литературную продукцию 1823 года, Бестужев пришел к выводу, что в ней мало оригинального и мало мысли. Из редких хороших книг русских авторов он отметил «Новейшие известия о Кавказе» С. Броневского и «Путешествие по Тавриде» Муравьева-Апостола (отца братьев-декабристов Муравьевых-Апостолов), причислив эти научные книги, написанные живым, образным языком, к произведениям словесности, так же как и «Путешествие вокруг света» капитана Головнина. В обзоре Бестужева встречаются русская грамматика Греча, статья Калайдовича «Археологические изыскания в Рязанской губернии», примечания поэта Грамматина на «Слово о полку Игореве», «Краткая русская история» Сергея Глинки, статья о жизни поэта Ивана Дмитриева, написанная Вяземским, очерк Корниловича «О древних посольствах в Россию». Все это он считает законной частью русской литературы, — произведения эти написаны без наукообразия.

Что касается стихов и прозы 1823 года, то здесь Бестужев не забыл почти ни одного хорошего произведения (их авторы Жуковский, Туманский, Языков, Плетнев, Вяземский, Боратынский, Крылов, Пушкин). Большинство этих сочинений появилось в 1823 году именно в «Полярной Звезде».

А в остальном… «Русский язык… возвышается ныне, — писал Бестужев, — несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Теперь ученики пишут таким слогом, которого самые гении сперва редко добывали, и, теряя в численности творений, мы выигрываем в чистоте слога. Один недостаток — у нас мало творческих мыслей. Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то, — но луч мысли редко блуждает по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец Алкид, который в колыбели еще удушал змей! — и вечно ли спать ему?»

…Рылеев поместил в «Полярной Звезде» на 1824 год два отрывка из поэмы

«Войнаровский»: «Юность Войнаровского» и «Бегство Мазепы».

Альманах вышел в декабре 1823 года. Споров о нем было немало, но успех его был несомненен.

20 февраля 1824 года — это было воскресенье — вечером Бестужев и Рылеев дали обед участникам «Полярной Звезды». В доме Бестужевых на Васильевском острове «были все, все почти литераторы», как отметил Бестужев в дневнике. Были И.А. Крылов, Ф. Глинка, Измайлов, Греч, Шаховской — «многие враги сидели мирно об руку, и литературная ненависть не мешалась в личную», — писал Бестужев Вяземскому.

6

Федор Глинка поднес Мордвинову от Вольного общества любителей российской словесности оду Рылеева «Гражданское мужество». Мордвинов Пригласил Рылеева к себе в особняк на Театральной площади. Этот визит, состоявшийся в январе 1824 года, многое переменил в жизни Рылеева. Мордвинов рекомендовал Рылеева на должность правителя дел Российско-Американской компании. Директора ее — Иван Васильевич Прокофьев и Николай Иванович Кусов — с Рылеевым были знакомы уже до этого. У первого он бывал на обедах вместе с другими литераторами (Бестужевым, Гречем, Булгариным, Сомовым). Кусов, глава одной из петербургских торговых фирм, купец, масон (он был казначеем ложи «Избранного Михаила»), тоже бывал на обедах Прокофьева. Разговоры там велись не только о литературе.

Всех интересовали дела Российско-Американской компании, основанной в 1798 году известным мореплавателем Н.П. Резановым, ставшим ее первым директором. Компания занималась добычей пушнины в американских владениях России — на Аляске, островах Ситхе и Кадьяке, в Калифорнии, где в 1812 году основала форт Росс — русский город. Держателями акций компании сначала были почти одни купцы, но Александр I подал пример дворянству, купив пакет крупных акций, — с этих пор во многих аристократических семьях появились акции компании. Рылеев, поступивший в компанию на службу, вошел и в состав ее акционеров, купив десять акций стоимостью в 500 рублей ассигнациями каждая.

Князь Евгений Оболенский писал о Рылееве: «Его общественная деятельность по занимаемому им месту правителя дел Американской компании заслуживала бы особенного рассмотрения по той пользе, которую он принес компании и своею деятельностью, и, без сомнения, более существенными заслугами потому, что не прошло и двух лет со времени вступления его в должность, правление компании выразило ему свою благодарность, подарив ему дорогую енотовую шубу, оцененную в то время в семьсот рублей. Из воспоминаний того времени могу только вспомнить, что его сильно тревожила вынужденная, в силу трактата с Северо-Американским союзом, передача североамериканцам основанной нами колонии Росс, в Калифорнии, которая могла быть для нас твердой опорной точкой для участия в богатых золотых приисках, столь прославившихся впоследствии. По случаю этой важной для Американской компании меры Рылеев, как правитель дел, вступил в сношения с важными государственными сановниками и в последствии времени всегда пользовался их расположением. Наиболее же благосклонности оказывали ему Михаил Михайлович Сперанский и Николай Семенович Мордвинов». Мемуарист Кропотов отмечает: «Отношения этих двух сановников к Рылееву до такой степени выходили из разряда официальных, что в то время разнеслась в обществе молва, будто Мордвинов и Сперанский задолго до 14 декабря знали о политических замыслах декабристов».

Рылеев, как представитель Российско-Американской компании, так же, как и в деле гостилицких крестьян при Уголовной палате, вскоре вступил в трение с правительством. 5 апреля 1824 года Александр I подписал конвенцию с Соединенными Штатами, по которой иностранным купцам разрешалось добывать пушнину не только на всех островах и побережье Северо-Американского континента, но и в пределах владений Российско-Американской компании. Интересы России оказались здесь под угрозой.

Министру финансов Егору Канкрину от правления компании была направлена бумага, составленная и собственноручно переписанная Рылеевым. В ней говорилось, что «предоставление какому-либо иноземному народу права ловли в водах, омывающих берега наших колоний, хотя даже на урочное время, нарушив высочайше дарованные привилегии,

потрясет Компанию в самом ее основании и будет причиною самых гибельных последствий для ее благосостояния. Ненасытимая алчность к прибыткам, предприимчивость и враждебная зависть к русским суть отличительные свойства иностранцев, посещающих наши колонии. Они всегда имели главною целью подрыв Компании, что ясно доказывает торговля их с дикими огнестрельным оружием… Что же будет, когда они вступят с нами в соперничество по промыслам?.. Получив почти одни права с нами, под защитою оных, они, особенно предприимчивые граждане Соединенных Штатов, влекомые надеждою верных выгод, в самое короткое время покроют судами все места, доставляющие богатый промысел». Далее Рылеев от имени директоров пишет, что компания производит ловлю с «благоразумною бережливостью» и задается вопросом: как будут действовать в этом отношении иностранцы? «Желание обогатиться, — замечает он, — привлечет их во множестве, а неумеренное истребление зверей будет неминуемым последствием того и произведет упадок нашей промышленности. С упадком промышленности упадет и торговля». Рылеев отмечает также, что компания лишится возможности попутно с торговлей и промыслом заниматься просвещением народов, населяющих земли и острова северо-западной Америки, «водворением между ими гражданственности», «распространением мореплавания, полезными открытиями», всем, к чему влечет купцов и промышленников российских «усердие к общественному благу». В другой записке, составленной Рылеевым по этому же поводу, говорится, что «Компания имеет полную причину опасаться, что не только в 10 лет, но гораздо в кратчайшее время иностранцы, при неисчислимых своих средствах и преимуществах, доведут ее до совершенного уничтожения».

Рылеев боролся также и против уничтожения русских колоний в Калифорнии, закрытия форта Росс. Александр I приказал уничтожить все крепости, построенные компанией в Калифорнии по реке Медной — от морского побережья до Скалистых гор. В бумаге, составленной Рылеевым также от имени директоров, разъясняется: «Известно, что англичане распространили свои приобретения до самого хребта Каменных (Скалистых. — *В.А.)* гор и, вероятно, пожелают перенести оные даже и по сю сторону тех гор. Хотя же Компания желает с своей стороны распространить заселения свои до помянутого хребта, что необходимо для прочного существования ее, чему уже сделано начало и чего она, без сомнения, достигнет, если не будет иметь опасного совместничества, но как компания не имеет столь обширных средств, ибо не может войти в противоборство с английским правительством, которое в сем деле содействует, то, дабы правительство английское не присваивало себе страны, лежащей по сю сторону гор, главное правление компании осмеливается заметить, что Каменные горы могут и должны быть в тамошнем крае границею обеих держав. Взаимные пользы, справедливость и самая природа того требуют».

Эта умная и дерзкая бумага едва не стоила директорам их директорских мест. Им был сделан строгий выговор. На копии выговора министр финансов написал: «Получено от его величества лично с высочайшим повелением предписать компании, чтобы она тотчас отменила построение крепостцов, а буде сделано уже распоряжение, послала бы об отмене нарочного, притом заметить компании, что самое требование ее не соответствует ни обстоятельствам тамошнего края, ниже правам, компании предоставленным, сверх того, призвав директоров, сделать им строжайший выговор за неприличность как самого предложения, так и выражений, с тем, чтобы они беспрекословно повиновались распоряжениям и видам правительства, не выходя из границ купеческого сословия».

Император был возмущен тем, что «купцы» учат правительство. Но, как видно, купцам компании интересы России были дороже, чем царю.

Когда осенью 1824 года Рылеев отправился в Острогожск, Орест Сомов, также поступивший на службу в Российско-Американскую компанию, писал ему: «Оба наши

директоры… беспрестанно о тебе спрашивают и ждут нетерпеливо твоего возврата». Сомов пишет Рылееву, что его приезд «по многим отношениям необходим для Компании». Уже в первый год своей службы там Рылеев сделался необходимым для компании человеком.

Весной 1824 года Рылеев оставил квартиру на Васильевском острове и переселился с семьей в дом Российско-Американской компании на Мойке, у Синего моста, № 72 (в 1975 году на нем укреплена мемориальная доска: «В этом доме в 1824–1825 годах жил декабрист Кондратий Федорович Рылеев»). Дом, построенный в XVIII веке, имел два этажа (13 окон по фасаду) и мезонин. Окна первого этажа были забраны выпуклыми решетками.

Рылеев занимал восемь комнат в нижнем этаже. Во дворе, куда выходили окна его кабинета, были хозяйственные помещения, где он, как и в прежней квартире на Васильевском острове, держал своих лошадей, а также корову и свинью (семья Рылеева не была в этом отношении исключением в Петербурге).

В 1824 году поступил к Рылееву на службу — рассыльным по делам альманаха «Полярная Звезда» — крестьянин по имени Агап Иванович. Позднее, много лет спустя, были записаны его рассказы. Он вспоминал, что Рылеев был добр с прислугой, «не бранился, не дрался. Все молчит, редко что и спросит… Говорил всегда тихо и вежливо». Обрисовал его внешность: «Росту он был высокого, не худ; на вид, в последнее время, около 30 лет; носил бакенбарды черные, узенькие, как зануздaнные поводья». О жене Рылеева: «Высокая ростом, смугла, худенькая». Наблюдательный крестьянин отметил, что она «была как-то нелюдима и уклонялась от знакомств». «Рылеев, — рассказывает он, — казался холоден к семье, не любил, чтоб его отрывали от занятий, и, предаваясь делу, он часто жену и дочь отсылал от себя. То же делал, когда к нему приходил кто-нибудь».

Часто приходил Александр Бестужев, «молодцеватый из себя… красивый». Работал вместе с Рылеевым. У него была привычка во время писания поджимать под себя на стуле обе ноги, так что «приходившие иногда из шутки роняли его, опрокидывая стул сзади». Бывал Михаил Бестужев — молодой еще, шумный, с шутками. Николай же Бестужев был «строгий из себя», серьезный, подтянутый. Заходил Орест Сомов, живший во флигеле того же дома: «добрый был, румяный, простая душа был, простак». Приходили Яков Ростовцев, литератор (поэт и драматург), Булгарин, Греч. Греч, как говорит Агап Иванович, «имел привычку заглядывать в работы. Потому при входе его в комнаты писаные бумаги всегда перевертывали белой стороной».

Собрания у Рылеева становились все более многолюдными. Бывали Боратынский и Грибоедов, Лев Пушкин, Пущин и Александр Одоевский, Языков и Хомяков. В 1824–1825 годах квартира Рылеева стала клубом и штабом участников декабристского заговора. «У Рылеева, — говорит Агап Иванович, — собиралось по ночам много его знакомых, сидели большею частью в задних комнатах, а передние из предосторожности не были даже освещены. Разговоров слышать мне приводилось мало. Говорили по большей части по-французски, а если начинался русский разговор, то Кондратий Федорович высылал меня из комнаты».

Писал Рылеев по большей части поздно вечером и ночью. Оригинальный способ его работы описывает тот же рассыльный: «В большом кабинете его были разложены три доски, обтянутые холстом. На них раскладывались разные бумаги, корректуры и книги нужные. И тут Кондратий Федорович занимался стоя… Переходя по длине доски к расположенной на ней работе, он затруднялся переставлять свечу. Для этого над доскою вдоль ее протянута была проволока, по которой двигался подсвечник. От него другая проволока прикреплялась к поясу Кондратия Федоровича, и таким образом свечка двигалась по проволоке вслед за ним. За работою он обыкновенно пил воду через сахар с лимоном. Кружка самая простая была».

Несколько шкафов с книгами. На стене — большая гравюра под стеклом, изображающая

покушение Маргарет Николсон на жизнь английского короля Георга III. Не пейзаж, хотя бы и романтически-бурный, не мифологическая сцена…

Рылеев пополняет свою библиотеку. Его интересует многое — политика, история, литература. А, Бестужев пишет в 1824 году за границу Якову Толстому: «Много одолжите, если пришлете издание Парни; это желание Рылеева, который здесь не мог достать его ни за какие деньги». А между тем — увлечение этим французским поэтом у Рылеева прошло (последнее подражание ему у Рылеева — стихотворение 1821 года «Поверь, я знаю уж, Дорида…»).

В этот кабинет явился к Рылееву в середине 1824 года из Острогожска молодой человек с рекомендательным письмом от Владимира Ивановича Астафьева, родственника Рылеева по жене. Это был крепостной Шереметевых — Александр Никитенко, будущий литератор и академик. Талантливый самоучка мечтал добиться освобождения от крепостной зависимости и поступить учиться в университет. В Петербурге он сумел добиться приема у министра просвещения Александра Николаевича Голицына, который проникся симпатией к юноше и сделал несколько попыток уговорить Шереметевых дать ему отпускную. Но решающими в этом деле были действия Рылеева и его многочисленных друзей-офицеров, которые не давали своему сослуживцу, молодому графу Шереметеву, шагу ступить без того, чтобы не напомнить ему о Никитенко.

Увидев Рылеева — Никитенко сразу вспомнил того артиллерийского офицера, которого встретил некогда в книжной лавке на Острогожской ярмарке.

Никитенко был у Рылеева не раз. В своих записках он вспоминает, как вместе с Боратынским восхищался он «Войнаровским», которого декламировал в своем кабинете Рылеев. «Я не знавал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев, — писал Никитенко. — Среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом, он с первого взгляда вселял в вас как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем, безвозвратно отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня».

Борьба с Шереметевыми была долгой — лишь в середине октября 1824 года Никитенко получил отпускную. «Я отказываюсь говорить о том, — пишет он, — что я пережил и перечувствовал в эти первые минуты глубокой потрясающей радости».

Никитенко стал студентом Петербургского университета. Он продолжал видеться с Рылеевым и его друзьями. В июле 1825 года князь Оболенский пригласил его к себе в качестве воспитателя своего младшего брата. Никитенко стал жить в доме Оболенских.

7

7 марта 1824 года баснописец Александр Измайлов в обычном своем шутовском стиле писал в Москву Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Отважные наши словесники не только бранятся, но и дерутся. Недавно выходил на дуэль издатель Полярной Звезды Рылеев, только не за стихи, а за прозу, и не с литератором, а с подпоручиком Финляндской гвардии князем Шаховским, мальчиком лет 18 или 19, который написал более двухсот писем к побочной его сестре… Князь Шаховской не хотел было выходить на поединок, но Рылеев, с позволения сказать, плюнул ему в рыло, по правой, по другой, пинками… Друзья-свидетели разняли и убедили того и другого драться по форме. Три раза стреляли друг в друга: князь Шаховской остался невредим, а Рылеев, как Ахилл, ранен в пяту. Бедный лежит теперь в постели, жена его, мать, побочная сестра и мать ее также в постели, все больны».

Измайлов ничего не придумал. Он ошибся только в чине офицера — К.Я. Шаховской был не подпоручиком, а пока еще только прапорщиком лейб-гвардии Финляндского полка. Князь был вхож в дом Рылеева. Там он познакомился с его сводной сестрой, Анной Федоровной, и довольно настойчиво «приволокнулся» за ней, стал писать к ней письма. Однако Рылеев скоро понял, что намерения его несерьезны, и решил раз и навсегда его отвадить.

Когда Шаховской допустил бестактность, надписав на конверте письма к Анне Федоровне фамилию «Рылеевой» (офицально она Рылеевой не считалась), разразился скандал. Рылеев послал к Шаховскому своего секунданта — Александра Бестужева. Бестужев безуспешно уговаривал Рылеева не затевать дуэли. Потом — наоборот — Уговаривал Шаховского принять вызов Рылеева, — князь решительно отказывался драться. 21 февраля Рылеев встретил своего противника у полковника Митькова и снова предложил ему дуэль. Услышав отказ, он пришел в ярость, назвал Шаховского подлецом и плюнул ему в физиономию. Тому ничего больше не оставалось, как самому сделать вызов.

Стрелялись на очень тяжелых условиях, сходясь к центру без барьера. При первом выстреле пуля Рылеева ударилась о пистолет Шаховского, направленный ему прямо в лоб, и пуля Шаховского, отклонившись, пробила Рылееву ступню. Он решил драться «до повалу». При следующих двух выстрелах пули — оба раза — встречали пистолет противника, — как отметил секундант — случай, редчайший в дуэльной практике. После трех выстрелов Бестужев прекратил дуэль и отвез Рылеева домой. Еще 1 марта Бестужев писал Вяземскому, что «Рылеев, простреленный, лежит на одре недуга».

Так заступался Рылеев за честь своих близких. Его сводная сестра обожала его; вообще — он был ее единственной опорой, так как и мать, и жена Рылеева относились к ней более чем прохладно (в конце концов, после гибели Рылеева, они оставили ее без гроша).

Любовь Рылеева к жене, к его «Натаниньке», к «Ангел Херувимовне», поутихла, приняла характер спокойной и прочной дружеской симпатии. Это заметил даже рассыльный Агап Иванович («Рылеев казался холоден к семье»). Вообще Наталье Михайловне было не очень уютно дома. «Офицеры сюда почти каждый день ходят, а мне такая тоска, когда там сижу, — жаловалась она в письме к сестре весной 1824 года, — очень грустно сделается, я уйду в свою половину и лежу или что-нибудь делаю». Разумеется — гостей она принимала приветливо, друзья Рылеева и не подозревали о ее «тоске». «Наталья Михайловна, как хозяйка дома, — вспоминает Оболенский, — была внимательна ко всем и скромным своим обращением внушала к себе всеобщее уважение». Нередко она уезжала в Батово, а с конца 1824 года много времени проводила с детьми в Тайцах, возле Петергофа, где у Рылеева появилось небольшое именьице, купленное им у Екатерины Ивановны Малютиной, вдовы Петра Федоровича Малютина,

подарившего Рылеевым некогда Батово. Характер у Натальи Михайловны был нелюдимый, знакомства она заводила неохотно, почти не бывала в гостях. В Петербурге ее навещали только родственники, в том числе две сестры Черновы (двоюродные сестры Рылеева по матери), Малютины да Бестужевы — Прасковья Михайловна, мать братьев Бестужевых, дама лет пятидесяти, с дочерьми. Во время некоторых совещаний Рылеев отсылал на ее половину тех своих гостей, которые не были посвящены во все дела тайного общества, — Наталья Михайловна вынуждена была занимать их, ничем не выдавая своего неудовольствия. Знала ли она о том, какими именно делами занят ее муж — помимо литературных? Кажется — нет, так как и после декабрьского восстания — в первые дни — ей не пришло в голову, что Рылеев может быть так всерьез арестован…

Нельзя считать, что Рылеев, как это делает, например, К. Пигарев в своей книге о нем (1947), «свои чувства сына, супруга и отца семейства старался подчинить единому, превосходящему их по силе чувству — мужа — в том понимании этого слова, в каком употребляет его Наливайко» («…А уж давно пора, мой друг, быть не мужьями, а мужами» — 6-й отрывок из поэмы «Наливайко»). Не отсюда холодность Рылеева к семье. Рылеев был молод, и, несмотря на свою страстную увлеченность делами тайного общества, несмотря на свои неотступные думы о будущем России и русского народа, увлекался он и женской красотой, склонен был и к мимолетным романам.

Много беспокойства доставила Наталье Михайловне связь ее мужа с вдовой генерал-лейтенанта Петра Федоровича Малютина (он умер в 1820 году) — Екатериной Ивановной, которая была старше его на двенадцать лет. Он был к тому же опекуном ее детей, помогал ей в хозяйственно-денежных делах и часто бывал у нее в доме на Васильевском острове.

Еще в 1816 или 1818 году Рылеев сочинил ей в альбом стихотворение, где довольно банальными фразами воспел ее красоту:

…Кудри волнами, небрежно,
Из глаз черных быстрый взор,
Колебанье груди снежной
И всех прелестей собор.

А в 1824 году дело зашло так далеко, что однажды Наталья Михайловна устроила ей настоящую сцену ревности. «Любезный Кондратий Федорович! — писала Малютина после этого Рылееву. — Верите, я так хохочу, что не могу вспомнить Наталью Михайловну. Я теперь ее боюсь огорчить своим приходом… Она так была для меня удивительна последний раз, что легко было можно узнать причину ее гневу… Постарайтесь ее успокоить и уверить. Прощайте. Чем более нас будут ревновать, тем более наша страсть увеличится и любить тебя ничто не в силах запретить». Далее следует удивительная по циничности приписка: «Желательно — чтобы она сие прочла, тогда бы более уверилась».

В этом случае Рылеев не только постарался успокоить свою жену, но счел необходимым прекратить отношения с Малютиной. Та оказалась особой настолько недоброй, что и после гибели Рылеева преследовала его жену, — в 1826 году она подала в Петербургский дворянский опекунский совет жалобу, в которой обвинила Рылеева, как опекуна ее детей, в растрате ее капитала и расстройстве хозяйства. Она обратилась к военному губернатору с просьбой о возвращении ей бумаг об опеке ее детей, — к Рылеевой за этими бумагами явился жандармский чин в сопровождении доверенного Малютиной. Бумаги были взяты — началась тяжба. Был наложен арест на денежный капитал, оставленный Рылеевым дочери Анастасии и на сельцо

Батово. Дело тянулось несколько лет. Малютина засыпала жалобами министра юстиции и гражданскую судебную палату, но ничего не добилась, так как у вдовы Рылеева всюду — и в министерстве и в суде — после восстания и суда над декабристами оказались сочувствующие ей люди. Чего действительно Малютина добилась — так это всеобщего презрения.

Случилось, однако, так, что в том же 1824 году у Натальи Михайловны появилась гораздо более опасная соперница, чем Малютина.

Это история, в которой немало неразгаданного.

Летом 1824 года из Киева в Петербург приехала блестящая светская женщина, полька по происхождению, замечательная красавица по имени Теофания Станиславовна К. (фамилия ее осталась неизвестной).

Вот как передает рассказ об этом самого Рылеева Николай Бестужев: «Несколько времени тому назад приехала сюда, в Петербург, г-жа К. по важному уголовному делу о ее муже. Несколько человек моих знакомых, многие важные люди просили меня заняться этим делом, уговорили познакомиться с нею. За первое я взялся по обязанности, второго старался всячески избегать… Но я к тому был вынужден… необходимостью узнать некоторые обстоятельства лично… Одним словом, меня привезли к ней. Я увидел женщину во всем блеске молодости и красоты, ловкую, умную, со всеми очарованиями слез и пламенного красноречия… В последовавших за сим свиданиях слезы прекрасной моей клиентки мало-помалу осушились, на место их заступила заманчивая томность, милая рассеянность, которая перерывалась одним только вниманием ко мне. Это внимание перешло наконец в угождение. Моими советами она желала руководствоваться, мое мнение было всегда самое справедливое, мой образ мыслей — самый благородный. Довольно было упомянуть о какой-нибудь вещи или книге, то и другое являлось у нее на столе. Сообразно с моим вкусом она читала и восхищалась тем, что нравилось мне; но все это делалось с такою деликатностью и осторожностью… Никогда не было прямого намека в глаза: все это я слыхал от других, и все, как будто нарочно, старались наперерыв передавать ее слова и мнения на мой счет… Наконец, к стыду моему… я стал к ней неравнодушен».

Рылеев пытался противиться своему новому чувству.

«Ты не поверишь, — говорил он Николаю Бестужеву, — какие мучительные часы провожу я иногда; не знаешь, до какой степени мучит меня бессонница, как часто говорю вслух с самим собой, вскакиваю с постели как безумный, плачу и страдаю».

Ему казалось, что в Теофании Станиславовне он может найти и женщину-друга, единомышленницу, гражданку, — она так часто и с негодованием рассуждала о деспотизме правительства. Но, с другой стороны, он не хотел обманывать свою жену после только что закончившейся истории с Малютиной. Бестужеву, рассказывая о Теофании Станиславовне, он говорил, что свою жену обожает, что он — «честный человек».

Но он продолжал ездить к госпоже К. Их отношения стали многим известны, пошли пересуды, недоумения, осуждение в обществе. Конечно, дошло все это и до Натальи Михайловны. Она ничего, конечно, не могла поделать и еще более замкнулась в себе, в заботах о детях.

Осенью и зимой 1824/25 года Рылеев написал ряд стихотворений, посвященных Теофании Станиславовне.

Сначала — «В альбом Т. С. К.»:

Своей любезностью опасной,
Волшебной сладостью речей…

Далее — воспоминание о «пламенной младости», «первой любви», о «Матильде»:

Она, как вы, была прекрасна,
Она, как вы, была мила,
И так же для сердец опасна
И точно так же весела.

В черновике этих стихов были строки и более рискованные:

От вашей резвости беспечной
И от веселости живой
Опять певец простосердечный
Готов утратить свой покой.
Затем — четыре элегии. В первой:
Исполнились мои желанья,
Сбылись давнишние мечты:
Мои жестокие страданья,
Мою любовь узнала ты.

Только первая элегия спокойна («Я вновь для счастья сердцем ожил…»). Следующие — тревожны и трагичны. Во второй:
Я увлечен своей судьбою,
Я сам к погибели бегу.
Боюся встретиться с тобою,
А не встречаться не могу.
Потом Рылеев то ли долго болел, то ли просто попытался скрыться от своей возлюбленной (скорее всего второе). Она приехала к нему сама. Рылеев пишет в третьей элегии:

С одра недуга рокового
Я встал и бодр и весел вновь,
И в сердце запылала снова
К тебе давнишняя любовь.
Так мотылек, порхая в поле
И крылья опалив огнем,
Опять стремится поневоле
К костру, в безумии слепом.

Но он все-таки решился. Четвертая элегия — это переписанная наново третья. Первая строфа та же, только двустишия переставлены. Далее, через строфу, спокойные слова:

Твое отрадное участье,
Твое вниманье, милый друг,
Мне снова возвращают счастье
И исцеляют мой недуг.

И тут же следом, как бы без всякой логики и связи:

Я не хочу любви твоей,
Я не могу ее присвоить;
Я отвечать не в силах ей…

Доводы — следующие: «Ты бурных чувств моих чужда, чужда моих суровых мнений. Прощаешь ты врагам своим — я не знаком с сим чувством нежным».

А как же — гражданские, антиправительственные разговоры Т. С. К.? Были они? Были. Ниже мы увидим, что это были за разговоры. А пока — Рылеев заканчивает (очень решительно) четвертую, «прощальную» элегию:

Лишь временно кажусь я слаб,
Движеньями души владею;
Не христианин и не раб,
Прощать обид я не умею.

Мне не любовь твоя нужна,
Занятья нужны мне иные:
Отрадна мне одна война,
Одни тревоги боевые.

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет, —
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

Не только решительно, но почти грубо! И как непохоже это на все предыдущие стихи, посвященные Т. С. К.! А ведь вроде бы и ее волновало то, что «отчизна страждет»…

А произошло следующее.

«Нам нужно было следить за намерениями правительства, открывать его тайны — и однажды, при разведываниях наших, — пишет Николай Бестужев, — мы нечаянно узнали, что г-жа К. была… шпион правительства… Можно себе представить всю силу негодования пылкого Рылеева, когда вероломство женщины, которую считал он образцом своего пола, представилось ему в настоящем виде. Он хотел в ту же минуту ехать к ней, высказать все презрение к той роли, которую она приняла с ним; осыпать ее упреками, представить всю подлость ее положения и оставить ее навсегда. Мы с братом Александром Успокоили его… Такая ссора обнаружила бы и слабость его сердца, и негодование подозреваемого человека».

Любовь с Рылеева как рукой сняло. Он решил просто изучить врага. Стал ездить к г-же К. и нарочно вызывать ее на патриотические беседы. «Томность ее чувствований, — пишет Бестужев, — заменилась выражением пламенной любви к отечеству; все ее разговоры клонились к одному предмету, к несчастиям России, к деспотизму правительства, к злоупотреблениям доверенных лиц, к надеждам свободы народов и т. п.».

Позднее Матвей Муравьев-Апостол свидетельствовал: «Полька К., действительно, была подослана к Рылееву Аракчеевым».

Это была попытка Аракчеева уничтожить автора сатиры «К временщику».

8

В апреле 1824 года в Греции, в военном лагере под Миссолунгами, скончался от гнилой лихорадки Байрон.

Его гибель оплакал Гёте во второй части «Фауста».

Узнав о смерти Байрона, Гейне сказал: «Это был единственный человек, с которым я чувствовал духовное родство».

Огромное впечатление произвела кончина Байрона в России.

Вл. Одоевский Кюхельбекеру: «Хочешь ли слышать новости? Одна ужасна — лорд Байрон умер». Вяземский: «Третьего дня был для меня день сильных впечатлений… Узнаю в Английском клубе: смерть Байрона… Какая поэтическая смерть — смерть Байрона! Он предчувствовал, что прах его примет земля, возрождающаяся к свободе… Завидую певцам, которые достойно воспоют его кончину».

Смерть Байрона воспели в стихах Веневитинов, Кюхельбекер, Козлов, Вяземский и Рылеев.

Рылееву дорого было стремление Байрона к действию, и именно к такому, которое направлено к освобождению народов. В Италии Байрон содействовал карбонариям. В Греции стал военачальником — он выступил во главе снаряженного на собственные средства отряда сулиотов против турок — притеснителей греков.

Вскоре в печати появились рассказы о героической смерти английского поэта. Рылеев прочитал в одном из французских журналов такой рассказ. «Вы слыхали, — говорилось там, — что рассказывают о лорде Байроне, английском пэре, окруженном всеми удовольствиями роскоши, о Байроне, имеющем великолепный дворец на берегах моря Адриатического, слуг с блестящими ливреями, богатую и прекрасную гондолу, стаю собак, дорогих коней, все великолепие роскоши, о Байроне, жившем в атмосфере, дышащей негою и сладострастием… Что ж! Узнаете ли вы его в этой углой хижине, под этим немилосердным небом, среди этих смрадных болот, довольствующегося грубою пищею, одетого в простое платье и вместо всех удовольствий обучающего солдат?.. Золото теперь для него превратилось в синоним орудий, снарядов, вооружений: не стихи, не поэмы, не любовь, но счеты, займы, поставка оружия, снаряды кораблей, артиллерия — вот его занятие!..

Однажды он страдал конвульсиями и после перелома сей болезни жаловался на чрезвычайную головную боль; доктора присоветовали ему припустить к вискам пиявок, но они так много высосали у него крови, что больной лишился чувств. Едва только он пришел в себя, и слабый, бледный, лежал в беспорядке на своей постели, как вдруг взбунтовавшиеся сулиоты, покрытые грязью, ворвались в его комнату и с стуком оружия, с криком требовали денег и припасов. Как будто бы электрическая искра пробежала по всему его телу от сей неожиданной дерзости, и одушевленный лорд Байрон вдруг поднимается с своей постели, бледный, окровавленный, и говорит раздраженной толпе с такою силою и убедительностью, что необузданное бешенство их исчезло вдруг, и они пали на колени пред его постелью… Сцена высокая!»

Байрону приписывали разные предсмертные слова. То он будто бы сказал: «Бедная Греция!», то: «Я покидаю в мире нечто дорогое для меня». Рассказ о его смерти обрастал разными легендарными деталями (например, будто бы турки, узнав о кончине поэта, так были рады, что устроили салют из пушек), но основа его была неизменна: лихорадка, грозная речь к своим солдатам, смерть. Смерть вдали от родины. В Греции. День его смерти был объявлен в Греции днем национального траура.

Александр Бестужев выразил и мысли Рылеева, когда написал Вяземскому: «Мы потеряли

брата… в Бейроне, человечество своего бойца, литература — своего Гомера мыслей. Он завещал человечеству великие истины в изумляющем даровании своем и в благородстве своего духа пример для возвышенных поэтов». И в дневнике своем Бестужев отметил: «Чуть не плакал по Бейроне».

Рылеев в своей оде «На смерть Бейрона» обращается к Англии:

Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славою гражданской
И доблестью своих детей.
Парящий ум, светило века,
Твой сын, твой друг и твой поэт,
Увянул Бейрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.

...Британец дряхлый поздних лет
Придет, могильный холм укажет
И гордым внукам гордо скажет:
«Здесь спит возвышенный поэт!
Он жил для Англии и мира,
Был, к удивленью века, он
Умом Сократ, душой Катон
И победителем Шекспира.
...Когда он кончил юный век
В стране, от родины далекой,
Убитый грустию жестокой,
О нем сказал Европе грек:
«Друзья свободы и Эллады
Везде в слезах в укор судьбы;
Одни тираны и рабы
Его внезапной смерти рады».

Это стихотворение Рылеева не было напечатано при его жизни, оно появилось лишь в 1828 году, без подписи, в альманахе «Альбом Северных муз», с цензурными искажениями во многих строках.

Вслед за одой «На смерть Бейрона» появились «Стансы» Рылеева, посвященные Александру Бестужеву. Они были напечатаны в «Полярной Звезде» на 1825 год. Критика восприняла их как традиционную «унылую» элегию. Греч писал в «Сыне Отечества», что «Стансы» относятся «к тому роду поэзии», который можно обозначить «именем тоски о погибшей молодости». Никто в то время и не мог увидеть большого, сокровенного смысла этого трагического, а вовсе не «унылого», стихотворения. Может быть, значение «Стансов» было понятно одному только Александру Бестужеву, «другу единственному» (как он там назван автором). Стихотворение невелико. Вот оно:

Не сбылись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей:

Горький жребий одиночества
Мне сужден в кругу людей.

Слишком рано мрак таинственный
Опыт грозный разогнал,
Слишком рано, друг единственный,
Я сердца людей узнал.

Страшно дней не ведать радостных,
Быть чужим среди своих,
Но ужасней истин тягостных
Быть сосудом с дней младых.

С тяжкой грустью, с черной думою
Я с тех пор один брожу
И могилою угрюмою
Мир печальный нахожу.

Всюду встречи безотрадные!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей…

Тут, за традиционными оборотами «унылой» поэзии явственно возникает жаждущая героического дела душа не удовлетворенная ни медленным течением событий общественной жизни, ни полустихийным бытием тайных декабристских организаций.

«Освобождение отечества или мученичество за свободу для примера будущих поколений были ежеминутным его помышлением; это самоотвержение не было вдохновением одной минуты… но постоянно возрастало вместе с любовью к отечеству, которая наконец перешла в страсть — в высокое, восторженное чувствование», — писал о Рылееве Николай Бестужев.

Все декабристы запомнили Рылеева как человека необыкновенного, столь высоких человеческих и гражданских достоинств, которых и при желании мало кто умел достичь. Имя Рылеева осталось для декабристов навсегда священным. «Великим гражданином» назвал его в своих записках Александр Поджио. Андрей Розен отмечал, что Рылеев всегда был «готов принять все муки адские, лишь бы быть полезным своей стране родной». Кажется, мало ли было среди декабристов, да и вообще в тогдашнем русском обществе, патриотов? Многие включая и некоторых высших сановников, желали для России разных преобразований и улучшений. И не один он готов был пожертвовать собой ради свободы и благоденствия Отечества. И все же Рылеев имел в себе все эти качества в идеальной полноте. Именно поэтому даже в его товарищах по тайному обществу его многое не удовлетворяло. Отсюда у него чувство одиночества, даже «среди своих». Отсюда постоянные поиски людей и доверчивость иной раз даже опрометчивая, судорожная, жертвенная какая-то доверчивость. Отсюда самые жестокие разочарования в некоторых товарищах, даже таких революционных, как, например, Якубович или Каховский.

Каждая строка «Стансов» продиктована глубоким душевным опытом Рылеева, всей его жизнью.

Николай Бестужев в своих «Воспоминаниях о Рылееве» описывает разговор Рылеева со

своей матерью, уезжавшей в деревню летом 1824 года, — это была последняя их беседа, — в июне этого года она скончалась.

«— Побереги себя, — говорила она, — ты неосторожен в словах и поступках; правительство подозрительно; шпионы его везде подслушивают…»

В ответ на ее сетования, как бы предчувствуя, что он говорит с ней в последний раз, Рылеев признался, что он «член тайного общества, которое хочет ниспровержения деспотизма, счастья России и свободы всех ее детей».

Мать Рылеева побледнела; он продолжал: — Не пугайтесь, милая матушка, выслушайте, и вы успокоитесь. Да, намерение наше страшно для того, кто смотрит на него со стороны и, не вникая в него, не видя прекрасной его цели, примечает одни только ужасы, грозящие каждому из нас; но вы мне мать — вы можете, вы должны ближе рассматривать своего сына. Ежели вы отдали меня в военную службу на жертву всем ее трудностям, опасностям, самой смерти, могшей меня постичь на каждом шагу, — для чего вы жертвовали мной? Вы хотели, чтобы я служил Отечеству, чтоб я исполнил долг мой, а между тем материнское сердце, разделяясь между страхом и надеждой, втайне желало, чтобы я отличался, возвышался между другими, — мог ли я искать того и другого, не встречая беспрестанно смерти? Нет, но вы тогда столько не боялись, как теперь… Я служил Отечеству, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластного деспота; я желал лучше служить человечеству, избрал звание судьи… Ныне наступил век гражданского мужества, я чувствую, что мое призвание выше, — я буду лить кровь свою, но за свободу Отечества, за счастье соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству — вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете сомневаться в награде за них: счастие россиян будет лучшим для меня отличием. Если же паду в борьбе законного права со властью, ежели современники не будут уметь понять и оценить меня — вы будете знать чистоту и святость моих намерений; может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе е именами великих людей, погибших за человечество.

Бестужев был свидетелем того, как мать благословила Рылеева. Речь его убедила ее. «Горесть и чувство внутреннего удовольствия смешивались на лице ее», — пишет Бестужев.

Здесь можно вернуться на шесть лет назад: офицеры, сослуживцы Рылеева, называли «безумием» слова Рылеева о том, что его имя «займет в истории несколько страниц», а это оказалось провидением, а не безумием или хвастовством. Уже тогда Рылеев мечтал о том, «как бы скорее пережить тьму, в коей, по мнению его, тогда находилась наша Россия» (как вспоминал Косовский).

Это были пророчества. Они проявлялись и в разговорах, и в творчестве Рылеева.

В 1824 году начал он писать поэму о Наливайко.

Николай Бестужев вспоминает: «Когда Рылеев писал исповедь Наливайки, у него жил больной брат мой Михаил Бестужев. Однажды он сидел в своей комнате и читал, Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи. Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух отрывка невольно поразил Михаила.

— Знаешь ли, — сказал он, — какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою. Ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах.

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении, — сказал Рылеев. — Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы доляшы купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян».

Вот что прочитал Рылеев Михаилу Бестужеву:

...Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

«Наливайко» — поэма о руководителе восстания, которое потерпело неудачу. Рылеев ее не закончил, о а написал тринадцать фрагментов, которые, однако, дают возможность судить о замысле в целом. Рылеев здесь стремится решительно вторгнуться в будущее — недаром декабристы в «Исповеди Наливайки» и других отрывках из поэмы увидели предсказание своей судьбы. Обычная для гражданских поэтических произведений Рылеева политическая программность в «Наливайко» еще определеннее, но вместе с тем и тоньше, художественнее, чем даже в «Войнаровском». В «Наливайко» есть монологи и диалоги, конкретные (не в пересказе героя, как в «Войнаровском») изображения действий, развернутые картины, вставная новелла («Сон Жолкевского»). В «Наливайко» ярче, чем в «Войнаровском», и этнографическая детальность. Все действие живее, язык точнее, образнее. Поэма и в незаконченном виде — наиболее совершенное произведение Рылеева.

Северин Наливайко — вождь крупнейшего в истории Украины казацкого восстания против панской Польши, захватившего и крестьянские массы (1594–1596 годы). Этот образ у Рылеева гораздо более сложен, чем Войнаровский или Мазепа. Многие мотивы гражданской лирики Рылеева (тем самым, разумеется, и помыслы Рылеева-декабриста) связаны с размышлениями Наливайко в поэме.

Как пишет современный нам исследователь творчества Рылеева (А. Ходоров, 1975): «Наливайко — не просто храбрый, беззаветно преданный Украине человек, не только способный к действию и уже активно действующий герой. Это искупитель, берущий на себя всю ответственность за деяния своего народа, принимающий на свою душу всю меру исторического «греха» своего времени. Если в своей знаменитой исповеди Наливайко исповедуется, по сути дела, за всех повстанцев, то в своей молитве он предстательствует за них перед высшим существом как воздвигший «войну» и поднявший «меч за край родной». Его образ, не теряя черт, присущих изображению конкретного человека, становится одновременно символом великой жертвы во имя еще более великого блага, попыткой предельно широко осмыслить роль выдающейся личности и представить эту личность в революционно-романтической интерпретации. Наливайко воплощает на новом и более высоком этапе рылеевского творчества проявившееся еще в думах стремление поэта слить в одном лице наиболее характерные черты нации. Он — ее олицетворенная гордость и совесть. Его фигура по своим масштабам поднимается на уровень романтического титанизма, но это титан, кровно связанный со средой, его породившей».

Рылеев подчеркивает в Наливайко его связь с народом:

Еще от самой колыбели
К свободе страсть зажглась во мне;
Мне мать и сестры песни пели
О незабвенной старине.

В старину, как говорит Наливайко, «никто не рабствовал пред ляхом… Козак в союзе с ляхом был как вольный с вольным, равный с равным». Но союзники не упустили случая превратиться в тиранов:

Жид, униат, литвин, поляк —
Как стаи кровожадных вранов

Терзают беспощадно нас.

Наливайко Малороссию называет «Святой Русью», украинцев — «русским народом». Рисуя древний Киев, ставший «добычей дерзостного ляха», автор напоминает об истоках бедствий Украины:

Но уж давно, давно не видно
Богатств и славы прежних дней —
Все Русь утратила постыдно
Междоусобием князей.

Среди фрагментов поэмы есть один очень многозначительный. Неясно, что это — высказывание Наливайко или авторское отступление (пример таких отступлений уже дал Пушкин в «Евгении Онегине»).

Скорее второе. Вот этот фрагмент:

Забыв вражду великодушно,
Движенью тайному послушный,
Быть может, я еще могу
Дать руку личному врагу;
Но вековые оскорбленья
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого отмщенья —
Не в силах я: один лишь раб
Так может быть и подл и слаб.
Могу ли равнодушно видеть
Порабощенных земляков?..
Нет, нет! Мой жребий: ненавидеть
Равно тиранов и рабов!

Так Рылеев делает исторического героя условностью — он выражает в нем себя.

Восставших казаков Рылеев называет в поэме «ратниками свободы». Весь пафос этой поэмы в том, о чем Рылеев говорил Михаилу Бестужеву: в «необходимости примера для пробуждения спящих россиян», в «погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России».

После того как три фрагмента поэмы — «Киев», «Смерть Чигиринского старосты» и «Исповедь Наливайки» — появились в «Полярной Звезде» на 1825 год, министр просвещения Шишков направил запрос цензору Бирукову: «По высочайшей государя императора воле предлагается вам, милостивый государь мой, представить мне в непродолжительном времени объяснение: какими причинами руководствовались вы в пропуске к печатанию в «Полярной Звезде» на 1825 год статьи Рылеева под заглавием «Исповедь Наливайки», в которой усматриваются неуместные выражения о преступлениях и свободе». Бируков пытался оправдываться, но ни конфисковать альманах, ни вырезать из тиража «Исповедь» было уже

нельзя, — «Полярная Звезда» была распродана. Начальству не оставалось ничего другого, как замять это дело. Удивительно, что Александр I, мало, особенно в последнее время, вникавший в дела литературы, увидел в «Исповеди Наливайки» именно тот смысл, который вложил в него поэт-декабрист.

Три отрывка из «Наливайко», напечатанные в альманахе, были отмечены критикой. Вяземский отметил в них (на страницах «Московского Телеграфа») «сильные мысли и правильные, чистые стихи». Греч в «Сыне Отечества» говорит: «В описании «Смерти Чигиринского старосты» находятся такие подробности единоборства, такая быстрота в рассказе, такая пылкость в движении, что это место, бесспорно, могло бы украсить лучшую из эпических поэм. Описание Киева можно назвать историческою панорамою местности… Но самая цветистая ветвь в стяжанном автором венце есть «Исповедь Наливайки». Здесь видишь отпечаток души великой, непреклонной, воспламененной любовью к родине».

Дельвиг передал Рылееву, что Пушкин хвалил «Смерть Чигиринского старосты». Рылеев писал Пушкину после этого: «Ты ни слова не говоришь о Исповеди Наливайки, а я ею гораздо более доволен, нежели Смертью Чигиринского старосты, которая так тебе понравилась. В Исповеди мысли, чувства, истины, словом, гораздно более дельного, чем в описании удальства Наливайки». Пушкин отвечал: «Об Исповеди Наливайки скажу, что мудрено что-нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде. Нахожу отрывок этот растянутым; но и тут, конечно, наложил ты свою печать».

Пушкин понимал, что у Рылеева в поэзии — собственный путь. «Очень знаю, — писал Пушкин А. Бестужеву, — что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою».

В 1824 году Рылеев обдумывал сразу несколько крупных произведений — составлял планы, набрасывал стихотворные отрывки не только к «Наливайко», но и к другой поэме — о Мазепе, а также к поэме о партизанах 1812 года. Среди его проектов — план поэмы из кавказского военного быта. Любопытно, что Рылеев намеревался здесь изобразить не историческую личность, а своего современника, героя, который «обожает Россию и всем готов пожертвовать ей». Этот человек, русский офицер, любит некую Асиат, горянку. Но «он предназначил себе, — как пишет Рылеев в плане, — славное дело, в котором он должен погибнуть непременно, и всё цели своей приносит в жертву… живет только для цели своей».

В «Соревнователе просвещения и благотворения» и «Северной Пчеле» в 1825 году Рылеев напечатал два отрывка из задуманной им в 1824 году поэмы «Мазепа». Один — «Гайдамак», другой — «Палей». Изобразив в «Войнаровском» Мазепу старого, оканчивающего свой жизненный путь, Рылеев, по-видимому, намеревался обратиться и к временам его молодости, то есть к тем, к которым относится рассказ Мазепы в одноименной поэме Байрона. Гайдамак — молодой Мазепа, казак-разбойник, запугавший даже своих собратьев дикой жестокостью, хладнокровной беспощадностью. Однако, как говорит о нем один из его товарищей, он «клятву дал… за Сечь свободную стоять».

Молодой Мазепа был удалец, но мрачный, нелюдимый:

…Как юный тигр
На всех глядел, нахмуря брови,
Был дружбы чужд, был чужд любови.
Летал в пустынях на коне,
И, увядая в тишине,
Он рвался в бой, он жаждал крови…
…И удальством пришлец младой
В грязь затоптал всех гайдамаков.

Суров, и дик, и одинок,
Чуждаясь всех, всегда угрюмый…
…Печаль, как черной ночи мгла,
Ему на сердце налегла…
…Ему несносна тишина;
Без крови вражеской, без боя,
Он будто чахнет средь покоя;
Его душе нужна война:
Опасность, кровь и шум военный
Одни его животворят…
…Всегда опущены к земле
Его сверкающие очи;
Темнеет па его челе
Какой-то грех, как сумрак ночи.

Второй отрывок — эпизод из военной жизни полковника Палея. Публикация отрывка в «Северной Пчеле» сопровождена примечанием: «Семен Палей Хвостовский, полковник Малороссийского войска, удалой наездник, бич поляков, ужас крымцев — был оклеветан Мазепою перед Петром и сослан. После измены Мазепы Палей возвратился к войску, и, удрученный летами и болезнью, присутствовал на Полтавском сражении, поддерживаемый двумя казаками». Как собирался развернуть здесь свой сюжет Рылеев, что нового по сравнению с «Войнаровским» хотел сказать о характере и деятельности Мазепы — неизвестно, так как от этого замысла не осталось никаких планов.

…В первых числах сентября 1824 года Рылеев и Александр Бестужев выехали на несколько дней в Батово. Бестужев — с заданием от своего начальника (управляющего путями сообщения) осмотреть Гатчинское шоссе; Рылеев, вероятно, для наблюдения за установкой памятника своей матери на деревенском кладбище и для хозяйственных дел по имению. Тогда и был установлен среда деревянных крестов кладбища мраморный памятник — отрезок колонны, пересеченный призмой, на которой было написано: «Мир праху твоему, женщина добродетельная. Анастасия Матвеевна Рылеева. Родилась декабря 11 дня 1758, скончалась июня 2 дня 1824 года».

У Рылеева в Батове было много хлопот, и Бестужев один гулял в лесу и на реке, наслаждался «тишью и дичью», обдумывал что-то «для Звезды», то есть для альманаха своего, бывал по вечерам в Рожествене у какого-то знакомого офицера — «кирасира Е.В.», где даже однажды «продурачился до утра».

4 сентября в 3 часа дня выехали из Батова и прибыли в Петербург во время «ужаснейшей грозы», как пишет Бестужев матери. «Но Рылеева дома, — продолжает он, — ждала еще ужаснейшая — Саша его кончался — и через день умер, — не можете себе вообразить положения Натальи Михайловны, отчаяние обоих. Она едва возвратилась к разуму — он болен».

Рылеев, однако, скоро вернулся к делам. Николай Бестужев писал: «Я видел страдание и силу души достойного моего друга; но это не мешало ему работать в пользу тайного общества со всей горячностью человека, обрекшего себя на жертву для счастия отечества».

Саше Рылееву 1 сентября 1824 года исполнился всего один год. Он умер 6 сентября. Похоронили его на Смоленском кладбище. В мае 1826 года Наталья Михайловна писала Рылееву (уже в крепость): «Мой друг, я заказала Сашеньке памятник и кругом решетку. Стишки твои нашла, которые ты ему написал, будут надписаны ему».

Это стихотворение «На смерть сына», появившееся в горькие дни сентября 1824 года:

Земли минутный поселенец,
Земли минутная краса,
Зачем так рано, мой младенец,
Ты улетел на небеса?

Зачем в юдоли сей мятежной,
О ангел чистой красоты,
Среди печали безнадежной
Отца и мать покинул ты?

10

В начале 1824 года Рылеев строил планы путешествия по Украине и Крыму. Об этом вел он переписку со своим другом — декабристом Петром Мухановым. «Скажи Мне, — писал Муханов Рылееву из Киева, — изменилось ли твое намерение путешествовать по южной части России и когда едем мы в Крым?» Муханов в Киеве по просьбе Рылеева занимался делами по поводу тяжбы княгини Голицыной с Рылеевыми, но, кажется, не очень внимательно и вообще неудачно, — позднее, в апреле 1826 года Рылеев писал жене из крепости о продаже отцовского дома или о залоге его: «Я… получил вместо 10 000 только 5000 р. по милости Муханова». Однако Муханов горячо пропагандировал в Киеве и Одессе «Полярную Звезду» и поэму Рылеева «Войнаровский», которую читал Пушкину и М.Ф. Орлову, — их замечания он сообщил Рылееву. Муханов был членом Союза Благоденствия, но в Северное общество Рылеев принять его не решался — по его «ветрености». Их связывали только литературные интересы. Рылеев посвятил Муханову думу «Смерть Ермака». В 1825 году Муханов хлопотал в Москве об издании отдельными книгами «Дум» и «Войнаровского».

В связи с работой над поэмой «Войнаровский» Рылеев познакомился в 1823 году с будущим декабристом — бароном Владимиром Штейнгелем. Он родился в 1783 году, окончил Морской кадетский корпус, участвовал в войне 1812 года. В 1817 году, выйдя в отставку, стал заниматься науками. Уже через два года издал в Петербурге самую обширную по тому времени историю календаря под названием: «Опыт полного исследования начал и правил хронологического и месяцесловного счисления старого и нового стиля». Почти одновременно выпустил он двухтомную историю петербургского народного ополчения 1812 года. Попытки служить по министерству внутренних дел ему не удались. Штейнгель по происхождению немец, но был искренне верующим православным человеком и русским патриотом.

В 1823 году в Петербурге, в книжной лавке Оленина, Штейнгель спросил книгопродавца:

— Бывает ли у вас Рылеев? Я бы хотел с ним познакомиться.

— А он о вас недавно спрашивал, — отвечал Слёнин, — не будете ли вы сюда.

— Это как? — удивился Штейнгель.

При этих словах входит в лавку Рылеев, и Слёнин, представляет его Штейнгелю.

— Что мне было интересно узнать вас, это не должно вас удивлять, — сказал Штейнгель. — Но чем я мог вас заинтересовать — отгадать не могу.

— Очень просто, — ответил Рылеев. — Я пишу «Войнаровского», сцену близ Якутска, а как вы были там, то мне хотелось попросить вас прослушать то место поэмы и сказать, нет ли погрешностей против местности.

Штейнгель, конечно, согласился, и Рылеев повез его к себе, на Васильевский остров, где и прочитал ему поэму.

Местность под Якутском оказалась описанной точно — Рылеев пользовался во время работы географическими статьями о Якутске, напечатанными в русских журналах.

Затем Штейнгель уехал в Москву. И когда появился в Петербурге летом 1824 года, то остановился у своего знакомого — директора Российско-Американской компании Прокофьева. Рылеев жил здесь же. Они, конечно, встретились и потом не упускали случая побеседовать. Оказались у них и общие дела: Прокофьев поручил Штейнгелю и Рылееву разобраться в бумагах двух директоров компании — Крамера и Северина (заместителей Прокофьева), которые чуть не довели компанию до банкротства.

Рылеев наконец решился и предложил Штейнгелю вступить в Северное общество. У них состоялся разговор, который Штейнгель передает в своих записках: «Однажды Рылеев

пригласил меня с ним отобедать в гостинице под фирмою «Лондон», на балконе, который по удалению от сообщества он называл Америкою.

Обедали вдвоем, вскоре от компанейских дел перешли к общему тогдашнему ходу вещей в государстве. Перебирая случаи неурядицы и злоупотреблений, я первый с экстазом произнес: «И никто этого не видит; неужели нет людей, которых бы интересовало общее благо!» Рылеев привскочил, схватил меня за руку и с самым энергичным взглядом, удушливо, сказал: «Есть люди! Целое общество! Хочешь ли быть в числе их?» Меня обдало холодом, я точас же почувствовал, что поступил опрометчиво, и, однако же, не медля нимало, отвечал: «Любезный друг, я уже не мальчик, мне сорок второй год; прежде чем отвечать на этот вопрос, мне нужно знать, что это за люди, какая цель общества»… «Я не могу теперь сказать тебе, — отвечал Рылеев, — но поговорю с директорами, тогда скажу». На этом пресекся разговор и не возобновлялся до самого отъезда моего. При прощании Рылеев сказал: «Директора наши в Красном Селе, я не успел ни с кем видеться; а вот тебе письмо к моему другу Ивану Ивановичу Пущину; тебе будет приятно познакомиться с ним, и он тебе все откроет». И действительно, познакомиться с Пущиным было для меня чрезвычайно приятно».

Позднее, в своих показаниях на следствии, Штейнгель писал о том же разговоре с Рылеевым: «Г-н Рылеев мне указал только, что в Петербурге существует Комитет. А когда я, предваряя его, что орудием ничьим я быть не могу и не хочу, просил, чтобы он, если хочет видеть меня действительным членом, объявил мне все, то он мне сказал: «Этого теперь нельзя; это запрещается; но я представлю тебя одному из членов Комитета». Однако ж тем кончилось, что я уехал в Москву, не видав никого. При расставании он меня просил познакомиться с Пущиным, сказав, что «он тебе все расскажет»…»

В 1825 году Штейнгель приехал в Петербург и оставался здесь до самого восстания 14 декабря.

Принят в общество Штейнгель был, очевидно, в Москве Пущиным — по письменной рекомендации Рылеева. Он стал одним из самых деятельных членов — постоянно бывал у Рылеева, участвовал во многих совещаниях, знал о планах цареубийства, о включении во Временное правительство Сперанского и Мордвинова, о назначении Трубецкого диктатором. Рылеев поручил ему написать «Манифест к русскому народу», который декабристы намеревались распространить по России. Еще днем 14 декабря он трудился над манифестом, после орудийных залпов на Сенатской площади он понял, что работу надо прекратить, и изорвал черновики. На следствии, сколько ни бились члены комиссии, Штейнгель не воспроизвел ни строки из манифеста, повторяя, что все забыл. В самом начале следствия он с горечью писал императору Николаю: «Чтобы истребить корень свободомыслия, нет другого средства, как истребить целое поколение людей».

Весной 1824 года Рылеев принял в Северное общество своего ближайшего друга — Александра Бестужева. «Он сказал мне, что есть тайное общество, в которое он уже принят, и принимает меня», — вспоминал Бестужев. Рылеев ждал момента, когда Бестужев созреет политически, к тому все и шло, судя по его обзорам литературы в «Полярной Звезде». На следствии Бестужев не без основания отметил о себе: «По наклонности века наиболее прилежал к истории и политике». «Едва ли не треть русского дворянства, — говорил он, — мыслила почти подобно нам, хотя была нас осторожнее».

Рылеев в это время (и именно после свидания в Петербурге с Пестелем) перешел на твердую республиканскую позицию. «Я увидел в нем, — писал Бестужев, — перемену мыслей на республиканское правление, ибо дотоле мы мечтали о монархии (ограниченной, естественно, парламентом. — *В.А.),* и из слов его о пребывании здесь Пестеля заключил, что это южное мнение… Неприметно мнение за мнением дошли мы и до мысли о республике, а как оную

ввести было бы трудно при царствующей фамилии, то Рылеев сообщил мне и мнение южных о истреблении оной».

Говоря о сторонниках республиканского правления в Северном обществе, Бестужев показал на следствии: «Я разделяю их мнение».

Это подтверждает и письмо Грибоедова, посланное в ноябре 1825 года Бестужеву, где говорится: «Вспоминали о тебе и о Рылееве, которого обними за меня искренне, по-республикански».

Бестужев, как и Рылеев, считал, что переменить правление в России нужно путем военного переворота, желательно — бескровного. «Мы более всего боялись народной революции, ибо оная не может быть не кровопролитна и не долговременна», — говорил Бестужев.

Не скрывая на следствии революционного образа мыслей, Бестужев, однако, уверял следователей в своем полном бездействии, — он будто бы не верил в успех переворота, а потому и не предпринимал никаких конкретных действий. Конечно же, это было не так.

Он принял в общество Александра Одоевского (у которого и жил одно время зимой 1824/25 года), своих младших братьев Михаила и Петра. Михаилу он посоветовал перейти из флота в гвардию, объяснив ему, что его присутствие в столичных войсках, «может быть, будет полезно для нашего дела». Михаил Бестужев перевелся в Московский полк, часть которого и вышла 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь.

Бестужев принял в Северное общество Оржицкого, Якубовича, вместе с Рылеевым убедил в необходимости вступить в общество Батенькова. В апреле 1825 года Бестужев, как деятельный член общества, был переведен в разряд «убежденных», в сентябре того же года заменил в думе Северного общества Никиту Муравьева, уехавшего в отпуск.

В 1824 году Рылеев и Бестужев сочинили еще несколько песен, которые предназначались ими для распространения среди солдат. На следствии Бестужев, естественно, стремился доказать, что песни эти — невинная забава («дурачась, мы их певали только между собою… В народ и между солдатами никогда их не пускали»), но брат его Николай писал впоследствии об этих песнях: «Намерение, с которым они писаны, и влияние, ими произведенное в короткое время, слишком значительны… Они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем… В самый тот день, когда исполнена была над нами сентенция и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавив, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева».

Николай Бестужев прибавляет, что песни эти писаны были «для ходу в рукописи».

Да и сами песни красноречиво говорят о своем агитационном назначении:

Ах, тошно мне
И в родной стороне:
Все в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людями,

Как скотами,
Долго ль будут торговать?

…А что силой отнято,
Силой выручим мы то,
И в привольи,
На раздольи
Стариною заживем…

Не очень-то годятся для дружеских «дурачеств» за рюмкой вина и такие тексты:

Ты скажи, говори,
Как в России цари
правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
давят…

Какова в сочинении этих песен была доля участия Бестужева или Рылеева — неизвестно, но Николай Бестужев в своих мемуарах называет их иногда «песнями Рылеева», — очевидно, отмечая этим его первенство.

Рылеев же заботился и об их распространении. Из материалов следствия известно, что он передал несколько списков песен Матвею Муравьеву-Апостолу, который увез их на юг для своих товарищей.

А как попали они на флот? Через братьев Бестужевых, которые и позаботились о том, чтобы агитационные песни дошли до каждого грамотного матроса.

В апреле 1824 года, во время пребывания в Петербурге Пестеля, готовился к отъезду за границу Николай Тургенев. Он ехал в Карлсбад, на воды, лечить желудок. Отпустили его с трудом. От имени царя его несколько раз вызывал Аракчеев. Наконец, объявив Тургеневу согласие Александра I, Аракчеев, как пишет Тургенев в книге «Россия и русские», «обнимая меня… с чувством добавил: «Государь поручил мне передать вам от него совет, не как императора, а как христианина: быть осторожнее за границей. Вас окружат там люди, которые только и мечтают о революции и которые будут стараться вовлечь вас в нее». Тургенев ответил на эти слова «только улыбкой», — ведь такие люди окружали его уже тут, в Петербурге! И в предотъездное время собирались у Тургенева члены Северного общества, бывал у него и Рылеев.

На совещании у Рылеева — в доме Российско-Американской компании — обсуждалось предложение Пестеля о слиянии Северного и Южного обществ. Тут были Митьков, Трубецкой, Оболенский, Пущин, М. Муравьев-Апостол и Николай Тургенев. Собрание признало соединение обществ необходимым.

После встречи Пестеля с Никитой Муравьевым руководство Северного общества собралось на квартире Тургенева. Здесь присутствовал Пестель. Вопрос стоял тот же. Но тут на сцену решительно выступил Муравьев, который в большой речи стремился доказать, что нельзя соединить два общества, разделенные столь большим расстоянием, к тому же — по-разному организованные: в Северном — свобода мнений, в Южном — власть вождя. В результате было решено слияние обществ отложить на два года. Рылеев не присутствовал на этом совещании.

Узнав о новом решении северян, он высказал резкое недовольство — Оболенскому и Трубецкому. Он считал, что объединение полезно при любых обстоятельствах.

В беседе с Пестелем — перед началом совещания — Тургенев открыл истинную причину своего отъезда из России, — «убеждение в недействительности тайных обществ», что в Петербурге существует не общество, а пять или гдесть заговорщиков, а вокруг них толпа сочувствующих, что риску много, а дела не будет, — такое мнение возникло у Тургенева в самое последнее время перед его отъездом.

Пестель заметил ему, что его отъезд ослабит уверенность многих в том, что существует разветвленное революционное общество. Не болезнь и не боязнь провала гнали Тургенева за границу, а — разочарование. Он не был похож на Рылеева, который готов был погибнуть пусть даже только ради благого примера потомкам.

Тургенев уехал 24 апреля.

Северное общество лишилось одного из крупнейших революционных деятелей.

Это не могло не тревожить Рылеева. Он стал еще более стремиться к расширению общества, и оно действительно после отъезда Тургенева значительно выросло — благодаря именно Рылееву и его «отрасли».

Если в 1824 году в Северное общество было принято девять человек, то после того, как Рылеев вошел в Думу, в 1825 году, общество пополнилось тридцатью пятью членами. Почти во всех гвардейских полках и на флоте у Рылеева, который стал фактически руководителем общества, оказались свои люди.

Весной 1824 года Пестель распространил свои действия на Петербург: при помощи членов Северного общества М. Муравьева-Апостола и Ф. Вадковского он создал Петербургскую управу Южного общества в Кавалергардском полку, — секретную, скрытую от остальных северян. Не знал о ней и Рылеев.

Декабризм выдвинул двух вождей: Пестеля и Рылеева.

Будь у них достаточно времени — они смогли бы договориться о совместных действиях.

После смерти сына и Рылеев и его жена почувствовали необходимость покинуть на время Петербург, отдохнуть. В конце сентября 1824 года они выехали в Подгорное. В первых числах декабря, уже по санному пути, Рылеев — один — прибыл в Москву.

«Гостеприимная старушка Москва очень мила. Меня приняли и знакомые и незнакомые как нельзя лучше, и я едва мог выбраться: затаскали по обедам, завтракам и ужинам», — писал Рылеев жене.

Виделся он с Денисом Давыдовым — поэт-гусар передал через Рылеева поклон своему бывшему сослуживцу, кавалеристу-рубаке Бедраге, жившему в Острогожское уезде.

Остановился Рылеев у Штейнгеля па Чистых прудах (теперь Чистопрудный бульвар, 10), в доме Окулова, где Штейнгель и жил, и содержал пансион для юношества, основанный им в 1821 году. «Я у них был принят как родной», — пишет Рылеев жене о Штейнгелях.

У Штейнгеля собиралась для совещаний Московская управа Северного общества. Рылеев встречал здесь Пущина, Колошина, Кашкина, Нарышкина, Муханова. Рылеев предлагал Штейнгелю «приобресть членов между купечеством», — он имел в виду, в частности, издателя и книгопродавца Семена Иоанникиевича Селивановского («Истинно почтенный человек», — назвал Селивановского Рылеев).

В 1824 же году Рылеев издаст у Селивановского «Думы» и «Войнаровского». Это был один из просвещеннейших типографов России, стремившийся издавать книги не только доходные, но прежде всего полезные. Он выпустил двумя изданиями «Древние Российские Стихотворения» («Сборник Кирши Данилова»); в 1822 году начал выпуск Энциклопедического словаря, рассчитывая издать 40–45 томов, в нем в качестве авторов участвовали декабристы (Кюхельбекер, Штейнгель и другие). Словарь остановился на трех томах, после 14 декабря 1825 года продолжить его Селивановскому не удалось.

Селивановский (1772–1835) был сыном крепостного крестьянина, мальчиком попал в московскую типографию учеником наборщика. Позднее, сделавшись владельцем типографии, он самоучкой приобрел довольно широкое образование, так что на равных мог беседовать с историком литературы Евгением Болховитиновым, с Карамзиным. Кроме типографии, у Селивановского были книжные магазины и публичная библиотека на Ильинке. Конечно, Селивановский был бы одним из полезнейших членов тайного общества. Делали ли ему предложение вступить в общество Рылеев или Штейнгель — неизвестно.

В показаниях на следствии Штейнгель отметил, что Селивановский желал «способствовать к развитию просвещения и свободомыслия изданием книг».

Пущин рассказал Рылееву о новом обществе, возникшем в Москве по его инициативе, — о Практическом союзе, в который принимались дворяне, намеревающиеся освободить своих крестьян. Новый союз нес в себе только одну идею — антикрепостническую, осуществляемую легальным путем. Пущин считал, что и такая деятельность — хорошая агитация в интересах главных целей Неверного общества. Рылеев же полагал, что Практический союз необходимо как можно решительнее революционизировать и сделать филиалом Северного общества.

Пущин в это время готовился к поездке в Михайловское, к сосланному туда летом 1824 года Пушкину. Опальный брат Николая Тургенева, Александр Иванович Тургенев, много доброго сделавший для Пушкина, узнав о намерении Пущина, воскликнул: «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» «Впрочем, делайте как знаете», — прибавил он. Рылеев и Пущин много толковали в Москве об этой предстоящей поездке к Пушкину, о его новых сочинениях — только что появились списки

элегии «К морю», второй главы «Евгения Онегина». В доме М.М. Нарышкина на Пречистенском бульваре (теперь — Гоголевский, 10) дважды, при большом стечении слушателей, Рылеев декламировал свои сочинения.

Родственник Нарышкина, молодой А.И. Кошелёв, один из будущих деятелей русского славянофильства, запомнил, как «Рылеев читал свои патриотические думы… Все свободно говорили о необходимости «покончить с этим правительством». Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление… Я на другой же день сообщил все слышанное» Киреевскому, Рожалину, Беневитинову и другим членам составленного молодежью философского кружка. «Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления… Вследствие этого мы с особенной жадностью налегли на сочинения политических писателей».

Рылеев ездил к Николаю Полевому, на Первую Мещанскую, — Полевой вместе с Вяземским начинал тогда издание журнала «Московский Телеграф».

С издателем Селивановским Рылеев договорился о печатании в Москве сборника «Думы» и поэмы «Войнаровский» — рукописи были уже подготовлены. Рылеева в этом деле поддерживал Вяземский. Уезжая в Петербург, Рылеев поручил издательские хлопоты Петру Муханову. По Москве ходили рассказы о наводнении, постигшем Петербург 7 ноября этого года.

Сомов писал Рылееву: «Несколько слов о случившемся здесь всеобщем бедствии… Галерная гавань почти не существует. По петергофской дороге деревни… разрушены; селения литейно-чугунного завода также. Вообще по той дороге считают до 600 человек утопшими, а в городе доныне уже отыскано более 1500 тел. Невские острова и прилежащие к ним деревни перековерканы; Кронштадт также ужасно пострадал. Вода так быстро прибывала, что пока мой человек успел добежать из комнат в главное управление и спросил у меня: что делать? — то по возвращении насилу мог войти в комнату и кое-что положить на шкафы, как уже вода поднялась до окон… Все жившие в нижних этажах очень пострадали» (Сомов жил в том же доме, что и Рылеев).

9 декабря Рылеев пишет жене из Москвы в Подгорное: «Наводнение в Петербурге было ужасное, а равно и в Кронштадте. Корабли ходили по улицам». 14 декабря он пишет о том же уже из Петербурга: «Ты, я думаю, уже слышала о бывшем здесь наводнении и об ужасах, которые оно произвело. Представь же себе мое удивление, когда я, въехав в город, едва мог заметить следы оного… Теперь почти всем потерпевшим сделано возможное вспоможение. Мы же с тобой должны благодарить Александра Александровича Бестужева: наши люди совершенно потерялись, и если б не было его, то мы лишились бы всей мебели и всего, что было в комодах. Бестужев прежде стал законопачивать двери, когда же вода начала пробираться в щели и сквозь пол, он приказал мебели ставить одни на другие и выбирать из комодов все и, находясь почти по пояс в воде, до тех пор не оставил квартиры, покуда все не прибрал. Таким образом он спас все почти и твой мех; попортилось только мое бюро, письменный стол, твой рабочий столик, половина моей библиотеки и еще кое-что… Да потонула корова».

Больших разрушений в квартире не было, но пришлось красить стены и перекладывать размокшие печи.

Рылеев побывал и на Васильевском острове — там картина разорения была страшнее. «Наша прежняя квартира, — пишет Рылеев жене, — стоит теперь без окон… Слава и благодарение богу, что мы выехали. По 16-й линии, где ни взглянешь, везде опустошение… Множество домов совершенно снесено».

К середине декабря жизнь в доме Российско-Американской компании пошла по-прежнему. В квартире директора — Ивана Васильевича Прокофьева — снова начали собираться литераторы. Тут встретил Рылеев неизменных Греча и Булгарина, а также Боровкова,

Тимковского, Измайлова — всю шумную журнальную братию. Сомов, Бестужев, Рылеев и Батеньков невольно держались на этих обедах особняком…

С июня 1824 года живет в Петербурге Грибоедов, — он познакомился с Александром Бестужевым, а Бестужев, естественно, свел его с Рылеевым. Грибоедов стал бывать в кругу членов Северного общества. В декабре 1824 года он читает декабристам «Горе от ума». В середине декабря прибыл из Москвы Пущин, — он также виделся с Грибоедовым у Рылеева и старался в это время добыть список грибоедовской комедии для Пушкина, что ему и удалось, скорее всего — с помощью самого автора.

На «русских завтраках» Рылеева (вся сервировка — графин водки, ржаной хлеб и квашеная капуста) бывало шумно и весело. Лев Пушкин, имевший необыкновенную память, декламировал стихи своего знаменитого брата. Перед Новым, 1825 годом читал он у Рылеева отрывки из уже готовых «Цыган». Среди слушателей были также Федор Глинка и Гнедич. У Рылеева познакомился Грибоедов с Дельвигом. Бывал здесь — именно с конца 1824 года — веселый и пылкий юноша, корнет лейб-гвардии Конного полка поэт Александр Одоевский, двоюродный брат Грибоедова. У Одоевского на Исаакиевской площади в течение 1825 года Грибоедов и жил. Квартиры Одоевского, Оболенского и главным образом Рылеева были в это время местами постоянного сбора членов Северного общества.

Вероятно, — Рылеевым или Бестужевым — Грибоедову было предложено вступить в Северное общество.

Северяне предполагали, что на Кавказе, где Грибоедов служил у Ермолова, существует тайное общество. «Разговаривая с Рылеевым о предположении, не существует ли тайное общество в Грузии, — писал Трубецкой, — я также сообщал ему предположение, не принадлежит ли к оному Грибоедов? Рылеев отвечал мне на это, что нет, что он с Грибоедовым говорил».

Известно, что Грибоедов считал недостаточными силы декабристов, но цель их заговора была для него свята.

На следствии Трубецкой говорил, что Рылеев принял Грибоедова в общество. Рылеев — отрицал это. «Грибоедова я не принимал в общество, — говорил он, — я испытывал его, но, нашед, что он не верит возможности преобразовать правительство, оставил его в покое. Если же он принадлежит обществу, то мог его принять князь Одоевский, с которым он жил, или кто-либо на юге».

Александр Бестужев показывал: «В члены же его не принимал я… потому что жалел подвергнуть опасности такой талант, в чем и Рылеев был согласен».

Оболенский же на следствии подтверждал показание Трубецкого. «О принятии Грибоедова в члены общества, — его слова, — я слышал от принявшего его Рылеева» г То же самое утверждали декабристы Бригген и Оржицкий — члены Северного общества.

Есть все основания полагать, что Грибоедов все-таки был членом «отрасли Рылеева» в Северном обществе.

В конце 1824 года Александр Бестужев жил у Рылеева, пользуясь отсутствием его жены. Потом он на время переехал к Одоевскому, где уже жили Грибоедов и Кюхельбекер, — его собственная квартира на Васильевском острове долгое время отделывалась после катастрофы 7 ноября.

Бестужев и Рылеев готовили «Полярную Звезду» на 1825 год, но было слишком много дел по обществу, да и Рылеев долго отсутствовал: выпуск альманаха задерживался.

В декабре 1824 года бывал у Рылеева молодой поэт, один из будущих столпов славянофильства, Алексей Хомяков. С 1822 года до середины 1825 года он служил в Петербурге в лейб-гвардии Конном полку — вместе с Александром Одоевским. Он был знаком с

Бестужевым и Рылеевым с самого начала своей гвардейской службы, — как поэт, как один из авторов «Полярной Звезды». В 1824 году издатели альманаха поместили отрывок из поэмы Хомякова «Вадим» (под названием «Бессмертие вождя»), в 1825-м — «Желание покоя», стихотворение, очень близкое к идеалам поэтов-декабристов, заканчивавшееся в первой публикации такой свободолюбивой метафорой:

Орлу ль полет свой позабыть?
Отдайте вновь ему широкие пустыни,
Его скалы, его дремучий лес.
Он жаждет брани и свободы,
Он жаждет бурь и непогоды,
И беспредельности небес!

Дочь Хомякова писала в своих воспоминаниях: «Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли почти все декабристы, и он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следствие, если бы не был случайно в эту заму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал очень часто и горячо опровергал политические мнения его и А.И. Одоевского, настаивая, что всякий военный бунт сам по себе безнравствен».

Один из товарищей Хомякова, конногвардеец (имя его не установлено), бывавший вместе с ним в обществе декабристов, вспоминал: «Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна — необходимость конституции и переворота посредством войска. События в Испании, подвиги Риего составляли предмет разговоров. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая беззаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции. Ио что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Кн. Одоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек этот — А.С. Хомяков».

Не нужно думать, что Хомяков — хотя он и был блестящим полемистом, — сбил Рылеева с толку. Вскоре, в 1825 году, Рылеев ответит на примерно такие же рассуждения Оболенского, впавшего в сомнения насчет законности готовящегося государственного переворота.

«Его воззрения были справедливы, — вспоминал Оболенский. — Он говорил, что идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, что они свободно рождаются и свободно развиваются в каждом мыслящем существе… что они… если клонятся к пользе общей, если они не порождение чувства себялюбивого или своекорыстного, то суть только выражение несколькими лицами того, что большинство чувствует, но не может еще выразить. Вот почему он полагал себя вправе говорить и действовать в смысле цели союза как выражения идеи общей».

Александр Поджио встретил Рылеева в декабре 1824 года у полковника Митькова. «Между прочими был здесь и Рылеев, — говорит он. — Я в нем видел человека, исполненного

решимости. Здесь он говорил о намерении его писать какой-то катехизис свободного человека… и о мерах действовать на ум народа, как-то: сочинением песен».

Что касается «катехизиса свободного человека», то здесь имеется в виду сочинение, порученное Рылееву Думой (Оболенским и Никитой Муравьевым), нечто вроде разъяснения, комментариев к «Правилам» общества. Оболенский видел наброски — это были вопросы и ответы, писанные «самым простым наречием» и обращенные к «простому классу людей». Сочинение это Рылеев, очевидно, уничтожил вместе с другими документами в вечер после декабрьского восстания.

На одном из декабрьских собраний — в 1824 году — Рылеев был избран в Думу. Он заместил уехавшего в Киев Трубецкого.

Не будучи от природы оратором, Рылеев считал своим долгом вести неустанную пропаганду. «Рылеев был не красноречив, — пишет Николай Бестужев, — и овладевал другими не тонкостями риторики или силою силлогизма, но жаром простого и иногда несвязного разговора, который в отрывистых выражениях изображал всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда правдивой, всегда привлекательной. Всего красноречивее было его лицо, на котором являлось прежде слов все то, что он хотел выразить, точно как говаривал Мур о Байроне, что он похож на гипсовую вазу, снаружи которой нет никаких украшений, но как скоро в ней загорится огонь, то изображения, изваянные внутри хитрою рукою художника, обнаруживаются сами собой. Истина всегда красноречива, и Рылеев, со любимец, окруженный ее обаянием и ею вдохновленный, часто убеждал в таких предположениях, которых ни он детским лепетанием своим не мог еще объяснить, ни других довольно вразумить, но он провидел их и заставлял провидеть других».

В Рылееве жило как бы врожденное стремление действовать на благо России. Он присматривался к жизни, прислушивался к толкам, вдумывался в теории, — вперед его влекло и придавало ему неотразимое обаяние вожака некое гражданское вдохновение, которое у него сродни поэтическому. Благодаря этому вдохновению он угадывал людей, годных для принятия в тайное общество, — и редко ошибался. Отсюда его неуклюжее, но столь убедительное красноречие. Гражданское вдохновение — вот откуда красота, которая присуща декабризму и декабристам и которую, как поэзию, не объяснишь до конца.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Надворный судья Иван Иванович Пущин в середине декабря 1824 года отправился в двадцативосьмидневный рождественский отпуск. Рождественские и новогодние праздники он провел у своего отца-сенатора, у директора Царскосельского лицея Энгельгардта, с которым у него была дружба, и у Рылеева, где виделся с Бестужевыми, и, вероятно, с польскими ссыльными — поэтом Мицкевичем и его друзьями Ежовским и Малевским. Пущин готовится к поездке в Михайловское, к Пушкину. Выехал он из Петербурга в Псков 6 января 1825 года.

Чего бы, кажется, «готовиться»? Лучший друг, поэт, в ссылке, в одиночестве, — отпуска уж вторая неделя идет к концу: мчись, спеши, не теряя ни часа… Конечно, Пущин и не хотел медлить. Но это была не просто дружеская поездка.

Немало часов провел он в спорах с Рылеевым о Пушкине. Вопрос стоял самый насущный и самый сложный, — как привлечь Пушкина к делу декабристов? Пушкин всегда был близок к декабристской среде — в Петербурге перед ссылкой (Пущин, Николай Тургенев, Никита Муравьев…), на юге (Вл. Раевский, Пестель, Мих. Орлов…). Предупредив в Кишиневе Раевского об аресте, Пушкин спас от провала все Южное общество, так как Раевский успел уничтожить бумаги. Пушкин не только мечтал вступить в тайное общество — он рвался туда, искал случая и обижался, оскорблялся, видя, что ему как бы не доверяют… Однако — он уже действовал как декабрист — его «ноэли» и сатиры, его ода «Вольность» и другие свободолюбивые стихи ходили в списках по России и будили в людях гражданский дух — сами декабристы воспитывались на них.

С. Волконский думал о приеме Пушкина в тайное общество — не решился. Не решился и Пущин. «Я страдал за него, — рассказывал Пущин, — и подчас мне опять казалось, что, может быть, Тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения в деле, ответственном пред целию самого союза».

В декабристских кругах много говорилось об излишней и доверчивой общительности великого поэта. Пущин говорит о его «ненормальном быте», о «промахах». Вокруг него вились клеветнические слухи (не всегда исходившие из уст врагов), для которых как будто и основания были: Пушкин на юге увлекся Каролиной Собаньской — шпионкой, провокаторшей (вроде как Рылеев Теофанией Станиславовной, тоже полькой…), — но он понятия об этом не имел. Пушкин «переступает границы», «профанирует себя», «проказничает», как с горечью отмечает Пущин.

И вот Пушкин в ссылке. Отношения его с будущими декабристами очень сложны. Клевета поползла за ним… Пушкин знал о ней и страдал невыразимо. Но душевная буря понемногу успокаивалась. Как писал Пушкин:

Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Пущин, конечно, знал цену клевете. В беседах с Рылеевым он рисовал образ Пушкина настоящего — чистого честного, ранимого, но и стойкого. Пущина и Рылеева беспокоило другое.

Пущин видел, какое огромное значение имеет для него самого — для Пущина — общение с Бестужевыми, Штейнгелем, Нарышкиным, Оболенским и другими декабристами, особенно с Рылеевым, какая это глубокая закалка души, сколько это дает твердости, нравственных сил; как помогает быть уверенным в своих гражданских целях.

Пушкин же шел к своим целям в одиночку. Его гражданские стихи делали свое дело. Вместе с тем иногда одолевали его сомнения. Так появилось его стихотворение «Свободы сеятель пустынный…» (1823). При жизни поэта оно не было напечатано, но разошлось в большом количестве списков. Печальное это стихотворение явилось, очевидно, как отклик на поражение революции в Испании.

…Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Во второй половине 1824 года в альманахе Кюхельбекера и Вл. Одоевского «Мнемозина» появилось другое граждански-пессимистическое стихотворение Пушкина (1823) — «Демон»:

…какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи…
…Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Пущина и Рылеева оба эти стихотворения встревожили. Они, конечно, не сочли их отступническими, враждебными, но опасения у них появились, как бы не завладел душой Пушкина этот пессимизм. Они решили, что нужно постараться укрепить Пушкина в его романтически-гражданском направлении, показать ему, что у него есть друзья, что в него верят…

В конце декабря 1824 года вышло и отдельное издание первой главы «Евгения Онегина». Пущин разделял опасения Рылеева и Александра Бестужева по поводу нового произведения Пушкина, — им казалось, что поэт уходит в какое-то бытописательство, что он расстается со страстями романтизма. Бестужев сразу же отправил Пушкину письмо с критикой «Евгения Онегина». Позже по этому же поводу вступит в полемику с Пушкиным Рылеев, который останется при твердом убеждении, что начало романа в стихах гораздо ниже в поэтическом отношении южных поэм Пушкина.

Надо бороться за Пушкина, решили Рылеев и Пущин. Разговоры их о поездке Пущина начались еще во время пребывания Рылеева в Москве.

Нет — не просто — друг во время отпуска кинулся в деревню к опальному товарищу. Это не

был романтический порыв, хотя дружба Пушкина и Пущина по-прежнему оставалась пылкой (что ярко отразилось в записках Пущина). Это было одно из важных декабристских дел.

Пущин решил сблизить Пушкина с Рылеевым — он на себе испытал способность его увлекать товарищей пламенными гражданскими идеями.

В первых числах января 1825 года Пущин выехал из Петербурга. 11-го рано утром — еще не рассвело — кони «вломились с маху в приотворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора». Кто не читал записок Пущина о Пушкине? Можно ли не запомнить яркой сцены встречи друзей — Пушкин, в одной рубахе, босой, выскакивает на крыльцо; Пущин, в шубе, осыпанной снегом, берет его в охапку и тащит в дом. Комната Пушкина была возле крыльца, с окнами как раз на двор. Тут прибежала няня… «Наконец, помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла привольнее; многое надо было хронологически рассказать». С восьми утра до трех часов ночи шла беседа. Пьют за встречу, за нее (то есть за свободу). После обеда Пушкин читает вслух привезенный Пущиным список «Горя от ума». Среди дня явился соглядатай — монах, настоятель Святогорского монастыря, который разузнал, что ему было нужно, выпил два стакана чаю с ромом и уехал. Затем Пушкин читал другу свои новые произведения. В ответ на просьбу Пущина Пушкин продиктовал ему начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной Звезды». Затем Пущин передал ссыльному поэту письмо Рылеева. Пушкин «просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы» (сборник «Думы» еще не вышел, так что Пушкин здесь благодарит не за книгу, а за думы вообще, те, которые он читал, и благодарит именно за патриотизм).

По-видимому, Пущин рассказал Пушкину о Северном обществе и отрасли Рылеева, о том, что вырабатывается первая русская конституция и готовится вооруженное восстание в Петербурге. Он дал понять поэту, что «вольность» близка, что друзья свободы сильны.

«Между тем время шло за полночь… Мы крепко обнялись… Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку!»

В Петербург Пущин привез отрывок из «Цыган», который Рылеев включил в третий выпуск «Полярной Звезды». 18 февраля Пущин уже в Москве — близ Арбата у Спаса на Песках, и снова, как он пишет Пушкину, «действует в суде».

Письмо Рылеева, привезенное Пущиным в Михайловское, было коротко (многое, без сомнения, было поручено передать на словах): «Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с Цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно Русские сердца. Я пишу к тебе: *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пущин познакомит нас короче».

Пушкин ответил не сразу, только 25 января. Его ответ положил начало переписке, оборвавшейся только в связи с днем 14 декабря, с арестом Рылеева.

Это была беседа, вернее — спор, о поэзии, в котором участвовал Александр Бестужев.

Пушкин (25.I.): «Благодарю тебя за ты и за письмо… Жду Полярной Звезды с нетерпением, знаешь, для чего? для Войнаровского. Эта поэма нужна была для нашей словесности» (далее Пушкин просит передать Бестужеву, что он неправ в своем отрицательном отношения к «Евгению Онегину», — «Картины светской жизни также входят в область поэзии», — говорит он. Не согласен Пушкин и с бестужевским «строгим приговором о Жуковском»).

Рылеев (12.II.): «Благодарю тебя, милый Поэт, за отрывок из Цыган и за письмо… Разделяю твое мнение, что картины светской жизни входят в область Поэзии. Но Онегин, сужу по первой

песне, ниже и Бахчисарайского Фонтана и Кавказского Пленника…»

Рылеев (10.III): «Не знаю, что будет Онегин далее… Но теперь он ниже Бахчисарайского Фонтана и Кавказского Пленника. Я готов спорить об этом до второго пришествия… Думаю, что ты получил уже из Москвы Войнаровского. По некоторым местам ты догадаешься, что он несколько ощипан. Делать нечего. Суди, но не кляни. Знаю, что ты не жалуешь мои думы; несмотря на то, я просил Пущина и их переслать тебе. Чувствую сам, что некоторые так слабы, что не следовало бы их и печатать в полном собрании. Но зато убежден душевно, что Ермак, Матвеев, Волынский, Годунов и им подобное — хороши и могут быть полезны не для одних детей… Ты завсегда останешься моим учителем в языке стихотворном».

12 марта Пущин выслал Пушкину из Москвы изданные там «Думы» и «Войнаровского».

Пушкин Бестужеву (24.III): «Откуда ты взял, что я льщу Рылееву?.. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке — но он идет своею дорогою. Он в душе поэт… Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа! чтоб он писал — да более, более!.. Жду Полярной Звезды. Давай ее сюда».

Рылеев (25.III): «Спешим доставить тебе Звезду… Как благодарить тебя, милый Поэт, за твои бесценные подарки нашей Звезде?.. Мы с Бестужевым намереваемся летом проведать тебя».

Пушкин Вяземскому (7 апреля): «Сей час получил я Войнаровского и Думы с письмом Пущина».

Рылеев (апрель): «Письмо твое Бестужев получил, но не успел отвечать… Был я у Плетнева с Кюхельбекером и с братом твоим. Лев прочитал нам несколько новых твоих стихотворений. Они прелестны… После прочитаны были твои Цыганы… Цыган слышал я четвертый раз, и всегда с новым, с живейшим наслаждением. Я подъискивался, чтоб привязаться к чему-нибудь, и нашел, что характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он медведя и сбирает вольную дань? Не лучше ли б было сделать его кузнецом? Ты видишь, что я придираюсь, а знаешь, почему и зачем? Потому что сужу поэму Александра Пушкина затем, что желаю от него совершенства».

Пушкин брату (май): «Войнаровский мне очень нравится. Мне даже скучно, что его здесь нет у меня» (Пушкин отослал свой экземпляр с пометками Рылееву через Дельвига, который побывал в Михайловском во второй половине апреля, но Дельвиг по своей рассеянности книгу утерял).

Рылеев (12 мая): «Дельвиг пересказал мне замечания твои о Думах и Войнаровском… Жду мнения твоего на письме, и жду с нетерпением. Ты ни слова не говоришь о Исповеди Наливайки, а я ею гораздо более доволен, нежели смертью Чигиринского старосты».

Пушкин (вторая половина мая): «Думаю, ты уже получил замечания мои на Войнаровского. Прибавлю одно: везде, где я ничего не сказал, должно подразумевать похвалу, знаки восклицания, прекрасно и проч…Что сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы Петра в Острогожске чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест… Описание места действия, речь героя и — нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключаю Ив. Сусанина, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант)… Об Исповеди Наливайки скажу, что мудрено что-нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде. Нахожу отрывок этот растянутым; но и тут, конечно, наложил ты свою печать».

Рылеев (первая половина июня): «Благодарю тебя, милый чародей, за твои прямодушные замечания на Войнаровского. Ты во многом прав совершенно… О Думах я уже сказал тебе свое мнение… Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним

дворянством?.. Будь, ради бога, Пушкиным! Ты сам по себе молодец» (Пушкин писал Бестужеву в связи с его обзором в «Полярной Звезде» на 1825 год: «У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!»).

Пушкин Вяземскому (середина июня): «Читал твое о Чернеце (рецензию Вяземского на только что изданную поэму И. Козлова «Чернец». — *В.А.)*... Эта поэма, конечно, полна чувства и умнее Войнаровского, но в Рылееве есть более замашки или размашки в слоге. У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал. Зато Думы дрянь, и название сие происходит от немецкого dum, а не от польского, как казалось бы с первого взгляда» (каламбур в духе Вяземского: dum — глупый. Здесь видно, что Пушкин впадает в острословие — в игру словами ради красного словца, очень характерную для писем Вяземского).

Пушкин (июнь — август): «Мне досадно, что Рылеев меня не понимает — в чем дело… Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством… Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им… Не должно русских писателей судить как иноземных… Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт, и я поэт — но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав».

Рылеев (ноябрь): «Ты мастерски оправдываешь свое чванство шестисотлетним дворянством; но несправедливо… Преимуществ гражданских не должно существовать, да они для поэта Пушкина ничему и не служат ни в зале невежды, ни в зале знатного подлеца, не умеющего ценить твоего таланта… Чванство дворянством непростительно, особенно тебе. На тебя устремлены глаза России… Будь Поэт и гражданин».

Это письмо было последним в переписке. Оно явилось как бы завещанием декабристов Пушкину — быть поэтом и гражданином.

Вокруг этой формулы Рылеева из стихотворного посвящения А. Бестужеву к поэме «Войнаровский» («Я не Поэт, а Гражданин») кипел в 1825 году один из самых острых литературных споров. Пушкин, как вспоминает Вяземский, говорил по этому поводу: «Если кто пишет стихи, то прежде всего должен быть поэтом; если же хочет просто гражданствовать, то пиши прозою». Это замечание (может быть, Вяземский неточно передал мысль Пушкина) не уничтожает рылеевской формулы.

Нередко и в наше время делаются попытки выхолостить из слов Рылеева их художественный, относящийся к поэзии смысл. Однако если в некоторых поэтических Произведениях Рылеева есть гражданственность без поэзии, то это еще не доказывает, что он и добивался того, что он гражданственностью ограничился сознательно.

Он как раз понимал, что самая убедительная гражданственность в поэзии — выраженная искусно, ярко в художественном отношении.

Статья Рылеева «Несколько мыслей о поэзии» (напечатанная в «Сыне Отечества» в ноябре 1825 года) свидетельствует о том, что он глубоко вдумывается в теоретические вопросы поэзии, понимая ее. Он делит поэзию не на классическую и романтическую, а «на древнюю и новую». Все классики, считает он, были свободны от правил, иначе они не создали бы ничего нового. Поэтому и Гомера можно назвать романтиком. Вместе с тем все правила хороши, когда они применены к месту. «Много также вредит поэзии, — пишет Рылеев, — суетное желание сделать определение оной, и мне кажется, что те справедливы, которые утверждают, что поэзии вообще не должно определять… Идеал поэзии, как идеал всех других предметов, которые дух

человеческий стремятся обнять, бесконечен и недостижим, а потому и определение поэзии невозможно… Оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить дух рабского подражания и, обратись к источнику истинной поэзии, употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин».

К высоким чувствам, к «вечным истинам» относит Рылеев и гражданственность, которая жива для всех времен — прошлых, настоящих и будущих. Он и не думал выводить гражданственность за пределы поэтического искусства.

…К несчастью, острота Пушкина насчет дум Рылеева — в письме к Вяземскому — стала Рылееву известна (Лев Пушкин по рассеянности распечатал это письмо…). Рылеев — натура горячая. Вспышка гнева была толчком к написанию стихотворения «Бестужеву»:

Хоть Пушкин суд мне строгий произнес
И слабый дар, как недруг тайный, взвесил…

Стихи эти, естественно, не предназначались для печати (они впервые были опубликованы в 1871 году). К тому же они не лишены и шутливости, она видна в дальнейших строках:

…Но от того, Бестужев, еще нос
Я недругам в угоду не повесил.
И в конце:
…Так и ко мне, храня со мной союз,
С улыбкою и с ласковым приветом
Слетит порой толпа вертлявых муз,
И я вдруг делаюсь поэтом.

…В январе 1825 года, сразу после отъезда Пущина из Михайловского, начал Пушкин работу над большой исторической элегией «Андрей Шенье» — стихотворением о поэте-узнике, ожидающем казни (во время французской революции). Оно создавалось в период переписки Пушкина с Рылеевым и Бестужевым, споров о думах, о гражданственности в поэзии.

В творческой истории «Андрея Шенье» большое значение имеют исторические элегии Батюшкова (особенно — «Умирающий Тасс») и «Думы» Рылеева. Критикуя Рылеева, Пушкин говорит ему, что его думы писаны по одной схеме: «Описание места действия, речь героя и — нравоучение». Этой схеме почти в точности следует и сам Пушкин в «Андрее Шенье», доказывая этим, что всякая схема может быть оживлена искусством художника.

В 1826 году отрывок из этой элегии Пушкина (сорок четыре строки) распространился в списках с названием «На 14-е декабря». В 1827 году Пушкин был привлечен властями к ответу, и ему пришлось долго и трудно объясняться. Элегия была квалифицирована как «сочинение соблазнительное и служившее к распространению в неблагонадежных людях… пагубного духа».

Рылеев и его друзья-декабристы много думали о предостережении Пушкина, что кровавая диктатура может надругаться над добытыми гражданскими свободами.

Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!

Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет — не виновна ты…

Пушкин готов был с друзьями и на гибель. Элегия «Андрей Шенье» стала как бы итогом духовного общения Пушкина с декабристами, в частности, с Рылеевым.

12 декабря 1825 года Пушкин получил письмо Пущина, который призывал его в Петербург. Дурные приметы помешали Пушкину уехать. Не вернись Пушкин с дороги, говорил впоследствии Вяземский, «он бухнулся бы в кипяток мятежа у Рылеева в ночь с 13 на 14 декабря». Именно об этом Пушкин смело сказал царю, Николаю I: «Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не быть с ними. Одно лишь отсутствие спасло меня».

2

В конце декабря 1824 года в Петербурге вышла в свет первая книжка альманаха «Северные Цветы», изданная Дельвигом. Этому альманаху суждена была по тем временам долгая и славная жизнь — он выходил регулярно до 1832 года («Северные Цветы» на 1832 год были выпущены Пушкиным — в память Дельвига и в пользу его семьи; Дельвиг скончался в 1831 году). «Лучшим русским альманахом» считал «Северные Цветы» Белинский. Ни один альманах не напечатал столько произведений Пушкина, как «Северные Цветы».

Первая книжка этого альманаха явилась в качестве соперницы «Полярной Звезды» — в издательском объявлении, напечатанном в «Сыне Отечества», об этом говорилось прямо. Притом почти все авторы тут и там были одни и те же. Идея издания альманаха была подсказана Дельвигу Олениным после того, как от услуг Оленина — он занимался технической и коммерческой сторонами выпуска двух первых книг «Полярной Звезды»-отказались Бестужев и Рылеев. Оленин, отлично знавший литературную обстановку в Петербурге, не промахнулся: Дельвиг имел связи среди первоклассных литераторов, был близким другом Пушкина.

Однако уже в следующем году «Северные Цветы» оказались единственным изданием, *продолжающим* традиции декабристской «Полярной Звезды», — после 14 декабря 1825 года альманах не только публиковал все лучшее, что появлялось в русской поэзии, причем необязательно самых знаменитых авторов, но и знакомил публику с произведениями декабристов — Рылеева, Кюхельбекера, А. Одоевского, — без обозначения имен, конечно. Пушкин был главной силой и вдохновителем этого издания, это было одно из его литературно-гражданских дел, выполнение не только своего долга, но и завета Рылеева.

Однако, если Дельвиг начал свое издание с мыслью о литературном соперничестве альманахов, то Рылеев и Бестужев о таковом не думали вовсе. У них было столько хлопот по Северному обществу, что уже третий выпуск альманаха дался им с огромным напряжением. В 1825 году они поневоле стали думать о прекращении издания. Уже в письме к Пушкину от 25 марта Рылеев говорит о «Звездочке», задуманной как четвертый выпуск альманаха.

В письмах Рылеева к жене в Подгорное отразилось то огромное напряжение, в котором пребывал Рылеев в первые месяцы 1825 года (потом стало еще труднее): «Я по большей части сижу дома; принялся за Полярную Звезду; надеюсь выдать к святой. Теперь же еще скопилось много дел по Компании… хлопот пропасть» (конец января); «Нынешняя масленица была мне не в масленицу; я почти все дни просидел дома и — поверишь ли? — не только ни одного блина не съел нигде, но даже не видел… Теперь собралось много дел в Компании, сверх того начато печатание Полярной Звезды» (10 февраля); «Я по-прежнему сижу все дома вместе с Бестужевым и работаем для Полярной Звезды. Напечатано более половины» (20 февраля); «Я теперь хлопочу о Звезде своей, о Думах и Войнаровском. Думы и Войнаровский уже вышли из печати» (12 марта). Рылеев здесь не пишет, и это естественно — о своих делах по Северному обществу, а 1825 год в этом отношении для Рылеева — кипящий ключом котел.

В январе в «Сыне Отечества» № 1 Рылеев и Бестужев поместили «Объявление об издании «Полярной Звезды» на 1825 год», в котором сообщали, что «издание замедлилось некоторыми обстоятельствами, появится не к 1 января 1825 года, но к святой неделе (то есть к Пасхе. — *В.А.)* ... Издатели долгом поставляют уведомить, что «Полярная Звезда» издается в прошлогоднем формате, с картинками, и что все писатели, украсившие два прежних тома, не отказались участвовать и в третьем. Доныне все идет успешно». Объявление сопровождалось примечанием: «Итак — «Северные Цветы», издание г. книгопродавца Оленина, вступают в непосредственное соперничество с «Полярною Звездою». Предоставляя сему альманаху благоприятное время

выхода в свет, желаем ему еще благоприятнейшего успеха».

Третий выпуск «Полярной Звезды» казался Рылееву самым удачным. «Она здесь всем пришлась по сердцу, — писал он Пушкину. — Это хоть не совсем хороший знак, но уверены, что в ней есть довольно и таких пиес, которых похвалить не откажутся и истинные ценители произведений нашего Парнаса».

В печати появилось несколько благоприятных отзывов. «В нем (в альманахе. — *В.А.)* стихотворная часть представляет много совершеннейших произведений» («Соревнователь просвещения и благотворения»). «Нынешняя «Полярная Звезда» бесспорно лучше прежних годов: стихотворная ее часть никогда не была так богата по достоинству пьес» («Сын Отечества»).

«Московский Телеграф» так отозвался о стихотворном отделе альманаха: «Пушкин, чарующий нас своими поэмами, как будто вызвал на труд других, дремавших над элегиями и песенками»; о прозе: «Порадуемся, что в «Полярной Звезде» и самый строгий критик отдаст полную справедливость прозаическому отделению».

Критик «Северной Пчелы»: «Никогда еще стихотворная часть «Полярной Звезды» не была так богата не числом, а достоинством».

Рецензент «Сына Отечества» видел в этом выпуске альманаха «стремление к народности».

Что же было напечатано в третьем выпуске альманаха? Целая поэтическая хрестоматия 1825 года: отрывки из «Цыган», «Братьев разбойников» и «Послание к Алексееву» Пушкина; семь стихотворений Боратынского, два Вяземского, три Ф. Глинки, одно Грибоедова, одно Козлова («Венецианская ночь»), два В.Л. Пушкина, три — Языкова, две басни Крылова, отрывок из XIX песни «Илиады» в переводе Гнедича, кроме того, превосходные в поэтическом отношении стихи Григорьева («Нашествие Мамая»), Туманского, Хомякова, Плетнева, Иванчина-Писарева, Зайцевского и других авторов. Рылеев поместил здесь три отрывка из поэмы «Наливайко» и «Стансы» («Не сбылись, мой друг, пророчества…»).

В прозаическом отделе — путевые записки Н. Бестужева («Гибралтар») и Жуковского («Отрывки из письма о Швейцарии»), исторический очерк Корниловича, великолепные «Восточные повести» (три сказки) Сенковского, менее интересные — небольшие прозаические сочинения Ф. Глинки и Булгарина.

Открывается альманах традиционным литературным обзором А. Бестужева — «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и в начале 1825 годов». Рылеев считал, что Бестужев «в первый раз судит так основательно в так глубокомысленно». По поводу этой статьи возник спор между Пушкиным и Бестужевым (в нем принял участие и Рылеев)[8]. Но вообще в литературных кругах новый обзор Бестужева получил высокую оценку.

Бестужев порицает «безнародность» литературы, чувства, «не согретые народною гордостию».

«Богатое нечерпанное лоно старины и мощного, свежего языка… вот стихия поэта, вот колыбель гения!» — говорит он. «Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски?» — задает он себе вопрос. Обзор этот, как и два предыдущих, написан с остроумием, непринужденностью, предельной краткостью, продиктованной размерами «карманной» книжки альманаха.

За рылеевскую «Исповедь Наливайки» цензор получил выговор от Александра I через министра просвещения А.С. Шишкова. Если бы альманах не был так быстро распродан, «Исповедь» была бы вырезана из экземпляров.

Многим казалось странным, удивительным, что такое революционное сочинение могло появиться в печати. Рядовые члены Северного общества, которые по правилам конспирации не могли знать о силе и численности его, из этого случая заключали, что среди них есть важные

чиновные персоны, имеющие власть урезонить цензуру…

В 1826 году, во время следствия, Штейнгель в одном из писем к царю высказывает искреннее недоумение: «Непостижимо, каким образом в то самое время, как строжайшая цензура внимательно привязывалась к словам, ничего не значащим, как-то: ангельская красота, рок и пр., пропускались статьи, подобные «Волынскому», «Исповеди Наливайки».

В архиве III отделения сохранилась анонимная записка по поводу проекта цензурного устава 1826 года. Вот одно из замечаний этого неизвестного лица, безусловно верного престолу: «§ 151 сказано: «Не позволяется пропускать к напечатанию места, имеющие двоякий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам». Сие подает повод к бесконечным прениям… В оправдание нового сего § приводят, что цензура на основании прежних правил пропускала сочинения возмутительные: Исповедь Наливайки, Войнаровского и проч. Это неправда. Сии сочинения отнюдь не двусмысленные: они явно проповедуют бунт, восстание на законную власть, выставляют в похвальном виде мятежников и разбойников и проч., и пропущены к напечанию по непростительной глупости цензора, читавшего оные и не понимавшего в них явного злоумышления».

После восстания альманах Рылеева и Бестужева попал в число крамольных книг. Так, в 1826 году за чтение «Полярной Звезды» великий князь Михаил Павлович отправил солдатом на Кавказ младшего брата Бестужевых — Петра. Князь в особенности разгневан был тем, что альманах раскрыт был на «Исповеди Наливайки».

Считалось, что Рылеев и Бестужев начали подготовку четвертого — небольшого заключительного — альманаха к концу 1825 года. Михаил Бестужев писал, что «около декабря 1825 года дела Тайного общества усложнились… брат Александр и Рылеев решились издать уже собранный материал в небольшом альманахе под названием «Звездочка», печатание которого к 14 декабря уже довольно продвинулось».

Но мы сегодня знаем больше, чем мог вспомнить Михаил Бестужев, — издатели «Полярной Звезды» были сильно загружены делами тайного общества уже с начала года. Рылеев с марта, а Бестужев с сентября этого года вошли в Думу и вместе с Оболенским стали во главе общества. Встречи с новыми людьми (в течение 1825 года в Северное общество было принято 35 новых членов), частые собрания, поездки в Кронштадт, дела Российско-Американской компании… Уже 25 марта этого года Рылеев пишет Пушкину: «Как благодарить тебя, милый Поэт, за твои бесценные подарки нашей *Звезде?..* Теперь для *Звездочки* стыдимся и просить у тебя что-нибудь». Ясно, что в марте уже была задумана прощальная «Звездочка». А в апреле этого года в журнале П.И. Кеппена «Библиографические листы» было помещено объявление о готовящемся выходе «Звездочки» (выпуск ее намечался на 1826 год). В ноябре Рылеев снова пишет Пушкину о «Звездочке», называя ее по традиции — «Полярного»: «Мы опять собираемся с Полярного. Она будет последняя; так по крайней мере мы решились». В начале декабря 1825 года «Звездочка» была сдана в типографию Главного штаба.

К 14 декабря было отпечатано восемьдесят страниц. После ареста Рылеева и Бестужева печатание остановилось, — готовые листы остались на складах и в 1861 году были сожжены. По счастливой случайности сохранилось два экземпляра отпечатанной части «Звездочки» и цензурный экземпляр рукописи.

В отпечатанных листах были рассказ А. Бестужева («Кровь за кровь»), повесть О. Сомова «Гайдамаки», отрывок из III главы «Евгения Онегина» Пушкина («Ночной разговор Татьяны с ее няней») и стихи — Козлова, Ознобишина, Хомякова, В. Туманского и Н. Языкова. В цензурной рукописи были еще не успевшие попасть в набор стихи Боратынского (эпилог «Эды» и «Бал»), В. Пушкина, Нечаева, Ф. Глинки, Ободовского, Вяземского и других авторов. Рылеев не успел дать в «Звездочку» ничего своего.

Любопытна история покупки Рылеевым и Бестужевым отрывка из пушкинского романа в стихах. Об этом пишет Михаил Бестужев. На одном из рылеевских «русских завтраков», происходивших от двух до трех часов дня (автор воспоминаний отмечает «наклонность Рылеева налагать печать руссицизма на свою жизнь»), «в числе многих писателей были Дельвиг, Ф. Глинка, Гнедич, Грибоедов и другие. Тут же присутствовал брат А. Пушкина Лёв, которого брат Александр (Бестужев.- *В. А.)* в насмешку называл «Блёв», намекая на его неумеренное употребление бахусовой влаги. Помню, что он говорил наизусть много стихов своего брата, еще не напечатанных: прочитал превосходный разговор Тани с нянею, приведший в восторг слушателей. Помню, как тут же брат Александр и Рылеев просили Льва Пушкина передать брату, не согласится ли он продать на каждый стих этого эпизода по пяти рублей».

В другом месте своих мемуаров Михаил Бестужев пишет о том же: «Левушка потребовал с издателей по 5 р. асс. за строчку, и брат А. (Александр Бестужев. — *В.А.),* не думая ни минуты, согласился, прибавив со смехом: «Ты промахнулся, Блёвушка, не потребовав за строку по червонцу… Я бы тебе и эту цену дал, но только с условием: пропечатать нашу сделку в Полярной Звезде, для того, чтоб знали все, с какою готовностью мы платим золотом за золотые стихи».

3

В марте 1825 года в Москве книгопродавцем Селивановским были напечатаны «Думы» и «Войнаровский».

«Думы» в этом отдельном издании были снабжены предисловием Рылеева и примечаниями (вернее — небольшими вступительными заметками), составленными им самим (к четырем думам) и тогда еще молодым историком П.М. Строевым, входившим в знаменитый Румянцевский кружок (к семнадцати). При денежном расчете Мухавова, наблюдавшего за изданием «Дум», со Строевым произошла неприятная история — Муханов не принял его, явившегося за уплатой, и ему пришлось стерпеть грубость, а потом отнестись к Рылееву в Петербург…

Этими вступлениями к думам, написанным строго и точно в историческом отношении, Рылеев подчеркнул, что главное в думах именно исторический пример. В предисловии Рылеев писал (в неопубликованном варианте), что он старался в думах «напомнить… славнейшие или по крайней мере достопримечательнейшие деяния предков наших… распространить между простым народом нашим, посредством Дум сих, хотя некоторые познания о знаменитых деяниях предков, заставить его гордиться славным своим происхождением и еще более любить родину свою… Мое намерение — пролить в народ наш хотя каплю света».

В этом варианте предисловия, не пропущенном цензурой, Рылеев ратует за просвещение «простого народа»: «С некоторого времени встречаем мы людей, утверждающих, что народное просвещение есть гибель для благосостояния государственного… Странное мнение… Источник его и подпора — деспотизм… Деспотизм боится просвещения, ибо знает, что лучшая подпора его — невежество… Невежество народов — мать и дочь деспотизма… Пусть раздаются презренные вопли порицателей света, пусть изрыгают они хулы свои и изливают тлетворный яд на распространителей просвещения… пребудем тверды, питая себя тою сладостною надеждою, что рано ли, поздно ли, лучи благодетельного светила проникнут в мрачные и дикие дебри и смягчат окаменелые сердца самих порицателей просвещения. Обязанность каждого писателя быть для соотечественников полезным».

Вариант предисловия, напечатанный в сборнике «Думы», гораздо менее остр, — рассуждения о деспотизме и просвещении народа отпали, но Рылеев и тут подчеркивает патриотически-просвещенческий мотив дум: «Желание славить подвиги добродетельных или славных предков для русских не ново». Предисловие начал он цитатой из Немцевича: «Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с летами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета».

Думы, писанные Рылеевым для «народа», сразу по выходе отдельной книгой сделались популярными и среди литераторов, их читали и офицеры, и патриотически настроенные представители высшего света. Например, для дочери президента Академии художеств и директора Императорской публичной библиотеки А. Оленина Анны Алексеевны «Думы» до старости оставались любимым чтением.

«А думы Рылеева, — вспоминал Ф. Глинка, — вышли с большим блеском и наделали много шума!»

«В думах его, — пишет о Рылееве Н. Бестужев, — мы видим жаркое желание внушить в других эту же любовь к своей земле, ко всему народному… показать, что и Россия богата

примерами для подражания, что сии примеры могут равнять ее с великими образцами древности». Вяземский Бестужеву и Рылееву: «С живым удовольствием читаю я «Думы», которые постоянно обращали на себя и прежде мое внимание. Они носят па себе печать отличительную». Плетнев в «Северных Цветах»: «Рылеев избрал для себя прекрасное поприще. Он представляет вам поэтические явления из отечественной истории… Чистый и легкий язык, наставительные истины, прекрасные чувствования».

Одновременно с «Думами» вышла из печати и поэма «Войнаровский», уже известная широкому русскому читателю по многочисленным публикациям (в отрывках) и спискам. За «Войнаровского» — как и за «Думы» — воевал с московской «цепцурой» Вяземский. Но и в несколько искаженном виде (выше уже говорилось об этом) поэма была встречена современниками с восторгом. Прочитав поэму, Н.М. Языков просил брата передать благодарность Рылееву, говоря, что он «точно стоит благодарности».

«Рылеева «Войнаровский» несравненно лучше всех его дум»; «Эта поэма нужна была для нашей словесности»; «Войнаровский мне очень нравится», — таковы мнения Пушкина.

П.И. Кенией в «Библиографических листах» отметил, что «Войнаровский» «с удовольствием будет читан всяким русским». Рецензент «Северного Архива» писал о поэме «Глубокое познание сердца человеческого и точное направление страстей сообразно обстоятельствам жизни показывают, что автор наблюдал природу в ее святилище, то есть в самом сердце». В «Соревнователе просвещения и благотворения» было отмечено, что поэма Рылеева «принадлежит к числу занимательнейших памятников словесности нашего времени». Позднее Огарев отметил что «в «Войнаровском» Рылеев становится действительным поэтом, несмотря на тот же субъективно-гражданский колорит целого. Стих, картинность, сила чувства и всюду проникающее благородство поэта — увлекательны».

После восстания 14 декабря 1825 года поэма Рылеева приобрела еще большую популярность, — даже после повсеместного уничтожения — по приказу III отделения — сочинений поэта-декабриста сохранилось большое количество списков «Войнаровского», относящихся к 1824–1830 годам (в советских архивах их имеется более ста.

В 1860 году Огарев писал: «Перечитывая «Войнаровского» теперь, мы пришли к убеждению, что он и теперь так же увлекателен, как был тогда, и тайна этого впечатления заключается в человечески-гражданской чистоте и поблести поэта, заменяющих самую художественность, или лучше, доведенных до художественного выражения». Огарев как поэт — один из учеников Рылеева; он понял то, что Рылеев только начал утверждать в своем творчестве — что гражданственность может быть для поэзии не входящим элементом, а художественной основой.

4

В мае 1825 года Рылеев стихотворением «Вере Николаевне Столыпиной» отозвался на смерть одного из замечательнейших государственных деятелей его времени — сенатора Аркадия Алексеевича Столыпина (он был братом бабушки Лермонтова урожденной Столыпиной, и отцом близкого друга Лермонтова — Алексея Столыпина-Монго). Рылеев обратился к вдове со словами утешения, в которых звучал гражданский пафос.

Не отравляй души тоскою,
Не убивай себя: ты мать;
Священный долг перед тобою
Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой,
Пусть в сонме юных исполинов
На ужас гордых их узрим
И смело скажем: знайте, им
Отец Столыпин, дед Мордвинов.

Стихотворение было напечатано в «Северной Пчеле» 12 мая.

Аркадий Алексеевич Столыпин был другом и воспитанником М.М. Сперанского, зятем Н.С. Мордвинова (Вера Николаевна — урожденная Мордвинова). Как и Мордвинов, Столыпин был неподкупным и честным сановником. Декабристы намечали его — наряду с Мордвиновым, Сперанским, Ермоловым, Н. Тургеневым — в члены Временного правительства. Н. Бестужев показал на следствии: «Покойный сенатор А.А. Столыпин одобрял общество и потому верно бы действовал в нынешних обстоятельствах вместе с ним», Штейнгелъ свидетельствовал: «Рылеев не однажды вспоминал об обер-прокуроре Столыпине. «Вот был человек, — говорил он, — как жаль, что умер!»

У Столыпина было немало друзей среди литераторов — Карамзин, Жуковский. Из молодых — Кюхельбекер, Грибоедов и Рылеев, который встречался с ним в доме Мордвинова на Театральной площади (теперь дом 14, угол улицы Глинки, бывшей Никольской).

В послании к Столыпиной — всего двенадцать строк, но сколько в нем высказано гражданских идей. Во-первых, Рылеев всем его тоном отметает уныние: русский гражданин, патриот, честно делавший свое дело, отдал жизнь отчизне; его жена и дети — «прекрасные чада» — должны гордиться им. Вдова же обязана помнить долг матери — «образовать» детей так, чтобы они могли «возненавидеть неправду» и встать плечо к плечу с «юными исполинами», новым поколением русских граждан. Светлые образы отца (Столыпина) и деда (Мордвинова) Должны быть их путеводной звездой: поэт-декабрист и здесь говорит о силе примера, — Столыпин и Мордвинов выдвинуты им в ряд русских исторических героев, имена которых всем известны и не нуждаются в пояснениях.

…12 февраля 1825 года, уже во втором письме к Пушкину, Рылеев говорит о своем новом замысле: «Составляю план для Хмельницкого. Последнего хочу сделать в 6 песнях: иначе не все выскажешь».

Рылеев обдумывал поэму «Богдан Хмельницкий». Он набрасывал отдельные фрагменты и в процессе работы, раздумий над украинской историей, переходил к другим сюжетам — писал о Наливайко, Палее, Сагайдачном. Текст, предназначенный для «Богдана Хмельницкого», переходил в «Наливайко». Но мысль о Хмельницком Рылеева не оставляла. В середине 1825 года он решил написать о нем трагедию в стихах. Осенью он и начал ее.

Штейнгель сообщает: «Около половины уже ноября (1825 года. — *В.А.),* не прежде, будучи приглашен Рылеевым к меньшому Ростовцеву на чтение отрывков из сочиненной им трагедии «Пожарский»… я увидел тут в первый раз князя Оболенского и познакомился с ним. Впрочем, кроме упомянутого отрывка и прочитанного потом Рылеевым пролога к его трагедии «Хмельницкий», другого предмета разговора не было».

Ф. Глинка вспоминает о том, как он посещал Рылеева в начале декабря 1825 года: «Рылеев был болен сильно опухолью в горле и ни о чем не говорил со мною, как только о разных предначертаниях его поэм, также о трагедии «Богдан Хмельницкий», которую начал писать и намеревался объехать разные места Малороссии, где действовал сей гетман, — чтобы дать историческую правдоподобность своему сочинению».

«Пролог», состоящий почти из двухсот строк, написан большей частью нерифмованным пятистопным ямбом (в это же время Пушкин писал «Бориса Годунова» тем же размером). Рылеев обратился здесь к конкретному историческому материалу, а главное — по-новому взглянул на роль вождя в освободительной борьбе.

Тут сразу же выступает на сцену народ, та масса, которая и выдвинет потом «голову», гетмана (в «Прологе» Хмельницкий не появляется). Автор искусно строит живую сцену, открывая читателю истоки грядущего восстания казаков против польского владычества. Действие происходит на площади Чигирина. Польский подстароста Чашшцкий предоставил евреям-арендаторам право сбора доходов от православных церквей города. Добиваясь уплаты недоимок, он приказал арендаторам закрыть церкви — чтоб не могли бедняки ни детей крестить, ни молодых венчать, ни хоронить покойников до тех пор, пока не внесут всех требуемых денег; бедняки хотят расправиться с арендатором, но тот призывает поляков, — одного из бунтовщиков арестовывают. Оставшиеся негодуют.

1-й малороссиянин:

…Ну вот, еще один погиб.
Эх, брат Юрко, прогневали мы бога,
Всем на Руси пришельцы завладели,
В своей земле житья мы не находим.
Нет больше сил терпеть. Бегу отсель,
Бегу за Днепр к удалым запорожцам,
Чтоб притупить об кости дерзких ляхов
От деда мне доставшуюся саблю. Прощай.

За восемь-девять лет до «Тараса Бульбы» Гоголя Рылеев коснулся важного вопроса в борьбе украинцев с поляками — союза шляхты с еврейскими торговцами, хлынувшими на Украину со всех концов света. В их руках оказалась вся торговля. Наконец им даны были на откуп и церковные доходы. Жизнь крестьян становилась все более невыносимой, и они один за другим бежали «за Днепр», в Сечь…

Действие происходит в период насаждения брестской церковной унии 1596 года, по которой украинская православная церковь стала подчиняться римско-католической, хотя и с

сохранением родного языка. Уния дала возможность ставить церковными арендаторами иноверцев, — а это больно било по самолюбию казаков и крестьян. Взрыв оказался неизбежным.

В «Прологе» много живых, реалистических черт, — крестьяне говорят о проданных последних «пожитках»; один просит Янкеля разрешить священнику крестить его сына, другой — исповедать умирающую мать; молодая пара просит позволения обвенчаться. «Мне не слова, мне гроши ваши нужны», — отвечает еврей. Казак Свырыд угрожает ему:

Мы терпим, как быки, но как быки же
Рассвирепеть против врагов мы можем…

В думах и поэмах Рылеева еще не было столь приземленных, простых речей.

Рылеев искал в литературе новых путей, и — находил. Но у него уже не оставалось времени развить, разработать найденное.

В конце 1825 года (по свидетельству Пущина и Бестужева — в декабре) написал Рылеев одно из самых сильных своих стихотворений «Я ль буду в роковое время…», ходившее в списках под названием «Гражданин» и «К молодому русскому поколению»:

Я ль буду в роковое время
Позорить Гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся Славян?
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладною душой бросают хладный ***взор***
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

Вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым Рылеев говорил о долге политического борца перед народом, бичевал пороки своего поколения.

От этого стихотворения Рылеева тянется нить к «Думе» Лермонтова, обличающей молодое поколение за неспособность к действию, и — через Лермонтова — к «Поэту и гражданину» Некрасова.

Стихотворение Рылеева в дни перед декабрьским восстанием было на устах у многих

заговорщиков. Так, А.М. Булатов, отправляясь на Сенатскую площадь, рассказывал: «Прощаясь очень хладнокровно с моим братом Александром, имел несчастье похвастать брату моему, что если я буду в действии, то и у нас явятся Бруты и Риеги, а может быть, и превзойдут тех революционнстов… Имена сии я не так хорошо знаю по их деяниям, как по беспрестанным произношениям меньшого брата моего… Меньшой брат мой, начитавшись вольных стихов, поминутно твердил: «Не будет у нас ни Брута, ни Риеги».

Мичман Беляев 1-й, по его словам, знал стихотворение Рылеева наизусть. Мичман Дивов свидетельствовал: «Вскоре после смерти государя приходит ко мне лейтенант Акулов и между разговорами сказал мне: вот ваши сочинители свободных стихов твердят: «Я ль буду в роковое время позорить гражданина сан», — а как пришло роковое время, то они и замолкли».

Стихотворение Рылеева оказалось действенным и для последующих поколений русских революционеров.

Рылеев и А. Бестужев начиная с 1824 года все более, подчиняли работу Вольного общества любителей российской словесности интересам Северного общества. При поддержке Ф. Глинки они создали так называемый Домашний комитет, который собирался постоянно на квартире Рылеева.

К 1825 году в Вольном обществе наметилось разделение на два крыла — радикальное и умеренное. Радикалы через альманах «Полярная Звезда» смыкались с Северным обществом. Умеренные начали группироваться вокруг задуманных как «чисто художественные» «Северных Цветов». Эта обстановка сохранялась только до 14 декабря 1825 года. После поражения декабристов гражданские установки «Полярной Звезды» приняли именно «Северные Цветы».

В 1824 и 1825 годах на квартире Рылеева состоялся ряд собраний Вольного общества, руководимых Домашним комитетом в составе Ф. Глинки, Н. Кутузова, О. Сомова, И. Аничкова, А. Никитина, Корниловича, Рылеева, А. и Н. Бестужевых. На эти заседания приходили и члены Северного общества. Мыслью Рылеева было сделать Вольное общество рупором пропаганды идей русского освободительного движения. К 1825 году руководящая роль в Вольном обществе перешла к декабристам — Глинке, Рылееву и Бестужевым.

Нетрудно вообразить, что представляла собой квартира скромного служащего Российско-Американской компании в последние месяцы 1825 года: заседания Думы, «Русские завтраки», литературные вечера, постоянные встречи и беседы Рылеева со старыми и новыми членами Декабристской организации, издательские дела. Может быть, были и тайные собрания масонской ложи…

В середине ноября 1825 года Рылеев выступил в «Сыне Отечества» со статьей «Несколько мыслей о поэзии» (подзаголовок ее — «Отрывок из письма к NN»; существует предположение, что NN — Пушкин). В этой статье много самобытного, но вместе с тем чувствуется в ней влияние критических работ Вяземского, который в 1820-е годы был ведущим теоретиком русского романтизма. Рылеев и Вяземский сливают в одно целое два вопроса — о народности литературы и о романтизме.

Вяземский продолжал быть оппозиционером, его критика и поэзия 1820-х годов во многом отвечали требованиям декабристов. В 1825 году Рылеев и Бестужев возлагали на него большие надежды как на одного из ведущих авторов «Полярной Звезды».

Отношение Рылеева к Вяземскому в 1825 году хорошо показывает его письмо, написанное в феврале, в тот период, когда в Москве заканчивались печатанием «Думы» и «Войнаровский»; за которые Вяземский воевал с московской цензурой. У Вяземского только что произошло несчастье — умер ребенок. В письме к нему Рылеев развивает ту же идею, что и в стихотворении «Вере Николаевне Столыпиной»: «Чувствую вполне и по опыту (вспомним о смерти годовалого сына Рылеева. — *В.А.),* как велика должна быть горесть ваша, но делать нечего: жизнь наша есть железная цепь беспрестанных неприятностей и лишений… Твердость — обязанность каждого, и вы, князь… как отец семейства, как просвещенный гражданин и писатель, обязаны, призвав ее в помощь, посвятить себя снова на пользу общую, должны снова разить порок к обличать невежество своими ювенадовскими сатирами… Давайте нам сатиры, сатиры и сатиры».

Рылеев благодарит Вяземского «за участие в издании книг» его, за новые стихи для «Полярной Звезды», переданные Рылееву через Оболенского. Передает Вяземскому поклон от «Грибоеда» (то есть Грибоедова).

В Петербурге Вяземский, когда приезжал туда из Москвы, бывал у Рылеева, приглашал его и

к себе. Сын Вяземского Павел вспоминал впоследствии, что он видел Рылеева у отца и даже прозвал его по-французски «Voila la chose» (вуали ля шоз — то есть «вот так штука!») по его обычному присловью.

…В 1825 году, в сентябре, произошло событие, которое взволновало весь Петербург — состоялась дуэль между подпоручиком Семеновского полка, двоюродным братом Рылеева, Константином Черновым и флигель-адъютантом Владимиром Новосильцевым. Оба они были смертельно ранены и скончались. Чернов был декабрист — член Северного общества.

Молодой и красивый адъютант, богатый аристократ, родственник знатной семьи графов Орловых увлекся сестрой Чернова Екатериной, — он решил жениться, в августе 1824 года была совершена помолвка, однако — без ведома матери Новосильцева (его отца уже не было в живых). Спесивая барыня была возмущена выбором сына и не пожелала иметь в невестках незнатную дворянку с лужицким отчеством Пахомовна. Новосильцев поехал в Москву, как он сказал невесте, на три недели, с тем чтобы добиться согласия матери на свой брак. Но, видно, и сам он раздумал жениться. Время шло, он не подавал невесте никаких вестей о себе. В декабре 1824 года братья Черновы — Константин и Сергей — приехали в Москву и застали здесь Рылеева, который сообщил жене: «Представь себе, я встретил здесь Черновых… они приехали сюда стреляться с Новосильцевым, и уже чуть не было дуэли; наконец, все кончилось миром… Скоро будет свадьба».

Однако прошло еще несколько месяцев, а до свадьбы дело не доходило, Новосильцев лавировал — то давая клятвенное обещание жениться, то посылая Константину Чернову вызов на дуэль, якобы за распространение слухов о том, что он принуждает его жениться на своей сестре. Рылеев принял участие в деле Черновых, вступившихся за честь сестры. Как писал А. Бестужев — «он хлопотал теперь о дуэли Чернова и, слава богу, смастерил хорошо. Принудил Новосильцева ехать в Могилев к отцу невесты для изъяснения». Новосильцев обязался ехать к отцу Екатерины Черновой — генерал-майору 1-й армии. Но в это самое время генерал-майор известил сыновей, что фельдмаршал граф Сакен по просьбе Новосильцевой, под угрозой больших неприятностей заставил его послать Новосильцеву письменный отказ.

Константин Чернов 8 сентября 1825 года сделал Новосильцеву вызов. Секундантами Чернова были полковник Герман и Рылеев, Новосильцева — ротмистр Реад и подпоручик Шипов. Условия дуэли были самые тяжелые: дистанция восемь шагов с расходом по пяти; раненый, если он сохранил заряд, может стрелять; сохранивший последний выстрел имеет право подойти к барьеру и подозвать к барьеру противника. 10 сентября в 6 часов утра Чернов и Новосильцев выстрелили одновременно… Чернова, тяжело раненного в голову, Рылеев отвез на его квартиру в Семеновские казармы; Новосильцева, смертельно Раненного в бок, перенесли в ближайший трактир, где он и скончался.

Страдания Чернова продолжались около двух недель. Рылеев все это время дежурил у его постели. Умирающего навещали собратья по Северному обществу. Приходили и те, кто не был знаком с Черновым, например — князь Оболенский. «По близкой дружбе с Кондратием Федоровичем Рылеевым, — вспоминал он, — я и многие другие приходили к Чернову, чтобы выразить ему сочувствие к поступку благородному, через который он вступился за честь сестры… Вхожу в небольшую переднюю, меня встретил Кондратий Федорович; я вошел, и, признаюсь, совершенно потерялся от сильного чувства, возбужденного видом юноши, так рано обреченного на смерть».

22 сентября Чернов скончался. Рылеев составил записку о дуэли, очевидно — для петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича. Считалось, что Рылеев — главная пружина в этом деле. «Рылеев, заклятый враг аристократов, — писал один мемуарист, — начал

раздувать пламя, — и кончилось тем, что Чернов вызвал Новосильцева». Характерна преддуэльная записка Чернова, декабриста, который видел в этом конфликте социальную подоплеку: «Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души».

Похороны Чернова на Смоленском кладбище приняли характер декабристской демонстрации. «Ты, я думаю, слышал уже о великолепных похоронах Чернова, — писал Штейнгель Загоскину. — Они были в каком-то новом, доселе небывалом духе общественности. Более двухсот карет провожало, по этому суди о числе провожавших пешком». «Многие и многие собрались утром назначенного для похорон дня ко гробу безмолвного уже Чернова, и товарищи вынесли его и понесли в церковь, — писал Оболенский, — длинной вереницей тянулись и знакомые и незнакомые… Трудно сказать, какое множество провожало гроб до Смоленского кладбища; все, что мыслило, чувствовало, соединилось здесь в безмолвной процессии и безмолвно выражало сочувствие тому, кто собою выразил идею общую, которую всякий сознавал сознательно и бессознательно: защиту слабого против сильного, скромного против гордого».

Александр Бестужев, указывая на толпы людей, провожающие погибшего, «с радостным видом» говорил Батенькову, что «напрасно полагают, будто бы у нас еще общего мнения». Батеньков вспоминал, что эти похороны Бестужев «представлял в виде демократического торжества». Над могилой Бестужев произнес слова из Евангелия: «Наш брат Лазарь умер».

На похоронах Кюхельбекер собирался прочесть стихотворение Рылеева, написанное в день смерти Чернова, но Завалишин помешал ему сделать это. Иначе — могло бы возникнуть целое политическое дело, которое оказалось бы очень не ко времени для декабристов.

Некоторые исследователи считают, что стихотворение «На смерть Чернова» написано Кюхельбекером.

Как произведение Кюхельбекера напечатал его в своей «Полярной Звезде» за 1859 год Герцен. Однако уже издатель первого собрания сочинений Рылеева П.А. Ефремов (1872) оспорил авторство Кюхельбекера, так как располагал черновым автографом Рылеева, доказывающим, что поэт не переписывал, а сочинял это стихотворение, работал над текстом.

Это стихотворение — еще одна рылеевская «художественная прокламация», необыкновенной силы выпад против угнетателей:

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым.
Нет, не отечества сыны
Питомцы пришлецов презренных:
Мы чужды их семей надменных;
Они от нас отчуждены.
Там говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь;
Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и честью и Черновым.
На наших дев, на наших жен
Дерзнет ли вновь любимец счастья
Взор бросить полный сладострастья —
Падет, перуном поражен.

И прах твой будет в посмеянье,
И гроб твой будет в стыд и срам.
Клянемся дщерям и сестрам:
Смерть, гибель, кровь за поруганье!

А ты, брат наших ты сердец,
Герой, столь рано охладелый!
Взнесись в небесные пределы!
Завиден, славен твой конец!
Ликуй: ты избран русским богом
Всем нам в священный образец;
Тебе дан праведный венец,
Ты будешь чести нам залогом.

Чернов выдвинут автором как русский герой, как патриот, как «священный образец» беспощадной борьбы с «питомцами пришлецов презренных», с временщиками, тиранами и «семьями надменными» — то есть оторвавшимися от народа надутыми аристократами.

6

В декабре 1824 года Рылеев «открылся как заговорщик» Николаю Бестужеву и принял его в Северное общество.

Николай Бестужев — старший брат Бестужева-Марлинского — окончил в 1809 году Морской кадетский корпус, был там преподавателем, потом участвовал в плаваниях: в Копенгаген (1815 году — по этому поводу написал книгу «Записки о Голландии», изданную в 1821 году) и во Францию (1817, 1824). В 1822 году ему было официально поручено писать историю русского флота. Бестужев — ученый (он печатает в периодике статьи по физике, экономике, он член Вольного экономического общества), художник (рисует акварелью, участвует в организации Общества поощрения художников и борется за. утверждение русского национального искусства), писатель — он много переводил (Томаса Мора, Байрона, Вальтера Скотта, Вашингтона Ирвинга и других писателей), сочинял рассказы, повести, басни, стихи, критические статьи, вел путевые дневники. Вяземский считал даже, что Николай Бестужев более талантлив как прозаик, чем его брат Александр. Николай Бестужев помещал свои произведения в «Сыне Отечества», «Благонамеренном», «Полярной Звезде», «Соревнователе просвещения и благотворения», выпустил несколько книг, был членом Вольного общества любителей российской словесности. В начале 1825 года он был назначен директором Адмиралтейского музея и, по сути, первым начал приводить его в порядок (там все было свалено в самом неприглядном виде). С декабря 1824 года Бестужев — капитан-лейтенант флота.

Словом, это был человек разносторонне образованный, наделенный многими талантами, деятельный, серьезный. В Северном обществе он стал одной из самых заметных фигур: вместе с Рылеевым возглавил в нем республиканское — главное в конце 1825 года — течение.

Знакомы они были уже давно. Все братья БестуЖевы часто бывали у Рылеева, навещал их и он — в их доме на 7-й линии Васильевского острова, где жили они все вместе — четыре брата и три сестры с матерью. В последний раз Рылеев обедал здесь 13 декабря 1825 года.

Николай Бестужев стал беззаветным приверженцем Рылеева. Благодаря ему в рылеевскую отрасль влились такие замечательные люди, как Торсон, его давний товарищ, капитан-лейтенант флота.

Будучи еще молодыми офицерами, они жили в Кронштадте на одной квартире. «По переводе Торсона главным адъютантом к морскому министру Антону Васильевичу Моллеру и брат вскоре переведен был в Петербург — в должность историографа и начальника морского музея, — пишет Михаил Бестужев. — Следовательно, жили в одном городе, виделись часто, поступили почти одновременно в Тайное общество, вместе погибли, вместе жили в каземате, в Селенгинске, и, наконец, Торсон и умер на руках брата». Михаил Бестужев, служивший в Кронштадте под началом Торсона, пишет, что он «был рыцарь без страха и упрека на его служебном и частном поприще жизни».

Торсон участвовал в боевых действиях флота в 1812 и 1813 годах, был ранен. В 1819 году он отправился с экспедицией Беллинсгаузена к Южному полюсу, один из открытых островов был назван именем Торсона, но после 14 декабря переименован в остров Высокий (с 1966 года он снова — остров Торсона). В океане, во время своей вахты спас шлюп «Восток» от гибели, вовремя заметив не обозначенные на карте рифы. В 1823 году под руководством Торсона и по его техническим идеям был переоборудован в Кронштадте фрегат «Эмгейтен». Император Александр I и великий князь Николай осмотрели его. «Все были поражены небывалым устройством, изящною отделкою и видом корабля», — пишет М. Бестужев. Но награду получил не Торсон, а его начальство.

Торсон задолго до вступления в тайное общество мечтал о переустройстве правления в России, он страдал оттого, что у нас все идет прахом при начальниках, не знающих своего дела. Например, он с горечью видел, что на Кронштадтском рейде гниют и пропадают боевые корабли, а это грозило оставить Петербург без защиты в случае войны.

В середине лета 1825 года Рылеев предложил Торсону принять руководство над отраслью Северного общества в Кронштадте. Однако Торсон еще не убедился в необходимости военного переворота (он считал, что императора можно убедить ограничить свою власть и принять конституцию) и — отказался. Однако Рылеев возлагал на него большие надежды. Он давал ему читать конституционный проект Муравьева. В этом проекте Муравьев «отбирал» у императора звания, большой двор и ограничивал его доходы, — Торсон в своем критическом замечании на этот проект отметил, что можно оставить царю возможность жить в прежней роскоши, но необходимо лишить его всякой власти.

Рылеев держит Торсона в курсе всех дел Северного общества. Он показывает ему проекты манифеста заговорщиков к русскому народу; обсуждает с ним план вывоза царской семьи за границу. Михаила Бестужева принял в общество Торсон.

Во время следствия на вопрос, почему он вступил в тайное общество, Торсон ответил, что «имел желание видеть отечество мое водимым законами, ограждающими собственность и лицо каждого». Позднее он дополнит этот ответ: «Видя различные злоупотребления и недоступность правительства к исправлению оных законным порядком, действуя частным лицом, я убедился в необходимости действовать обществом».

На совещаниях у Рылеева Торсон познакомился с Оболенским, Батеньковым, Репиным, Якубовичем и другими членами Северного общества. В последний раз Торсон видел Рылеева за четыре дня до восстания.

В начале 1825 года Рылеев познакомился с еще одним морским офицером — лейтенантом 8-го флотского экипажа Дмитрием Иринарховичем Завалишиным, которому едва исполнился тогда двадцать один год.

Окончив Морской кадетский корпус, уже в шестнадцать лет Завалишин стал там же преподавать астрономию, высшую математику, механику и морскую тактику. В 1822 году он отправился с экспедицией Лазарева в кругосветное путешествие. Из Англии он написал Александру I письмо о несоблюдении на практике идей Священного союза, — уже из Америки Завалишин был отозван в Россию и через Сибирь вернулся в Петербург. Он прибыл как раз к ноябрьскому наводнению 1824 года — во время этого бедствия он выказал незаурядную храбрость, руководя одной из спасательных команд.

Письмо Завалишина рассматривалось особым комитетом, составленным из Аракчеева, Шишкова, Мордвинова и Нессельроде. В этот же комитет передал он и составленный им обширный проект преобразования русских колоний в Америке. В то же время Завалишин подал на имя императора свой проект борьбы со злоупотреблениями властей в Европе, он предлагал образовать некий «вселенский Орден Восстановления», общество международного характера с центром в Калифорнии.

Графа Мордвинова заинтересовал завалишинский проект преобразования русской Америки, и он направил молодого человека с рекомендательным письмом к правителю дел Российско-Американской компании Рылееву Завалишин был очень дельный, знающий человек, но Рылеев не мог не заметить в нем некоторой хвастливости, самонадеянности и склонности к мистификациям. Эта сторона натуры Завалишина отчетливо выразилась в его позднейших записках. «Я не мог уделять времени на занятия делами Р.-А. Компании, — пишет он, например, — и только… уступая просьбам Мордвинова, я посетил главное управление. Бывшие тогда директоры Прокофьев, Кусов и Северин были, как говорили они, до того поражены и

восхищены точным знанием моим всех дел и нужд Компании и ясным указанием истинной пользы ее, что просили меня, чтобы я смотрел на себя как на четвертого директора и чтобы заседал в присутствии управления, принимая участие в обсуждении всех дел».

Однако, как бы ни любовался Завалишин собой в записках, Российско-Американская компания на общем собрании акционеров обсудила его проект преобразования колоний и вошла в правительство с просьбой назначить Завалишина правителем колоний в Америке на семь лет. Александр I не отказал, но медлил с решением. О причинах этой нерешительности императора Завалишин пишет в том же «хлестаковском» ключе: «Государь отвечал… что готов открыть мне все карьеры в России, но что отпустить меня в колонии не может из опасения чтобы я какими-нибудь попытками привести в исполнение обширные свои замыслы не вовлек Россию в столкновение с Англиею или Соединенными Штатами».

Однажды, когда Рылеев и Заваишин были вместе у Мордвинова, старый сенатор-либерал, по словам Завалишина, сказал о нем (Завалишине) Рылееву: «В его идеях заключается великая будущность, а может быть, и вся будущность». «Бойкая особа». - пренебрежительно отозвался о Завалишине Александр Бестужев. Рылеев, однако, обнаружил в Завалишине прежде всего «ум, познания и свободный образ мыслей», а поэтому и «старался сблизиться с ним, в надежде приобрести в нем полезного обществу члена».

В Завалишине словно два человека сидело. Один рассуждал о неустройствах в России, другой занимался самыми странными мистификациями. Весь этот «вселенский Орден Восстановления» он выдумал, но Рылеева пытался убедить, что он был принят в это общество в Англии, что оно имеет отрасли во всех государствах Европы и Америки (в том числе и в России) и добивается «освобождения всего мира» (!). Он сфабриковал и устав Ордена Восстановления. «Сей Устав, — пишет Рылеев, — был составлен так, что его можно было толковать и в пользу неограниченной власти и в пользу свободы народов». Двусмысленность этого устава, пишет Рылеев, «заставила меня быть с Завалишиным осторожнее». Рылеев намекнул Завалишину, что в России тайное общество существует, но что принять в него Завалишина можно будет лишь тогда, когда он откроет, кто из русских принадлежит к Ордену Восстановления. Завалишин «замялся», ответил, что ему нужно бы «подумать». Думал он, естественно, слишком долго. Рылеев советовался в отношении Завалишина с Бестужевыми, Одоевским, писал о нем Трубецкому в Киев. В общем все свелось к тому, что Рылеев Завалишина в общество не принял. Тем не менее Завалишин среди морских офицеров выдавал себя за члена Северного общества. Рылеев, со своей стороны, отчасти поверил в существование Ордена Восстановления — он решил не выпускать Завалишина из виду, надеясь открыть русских членов этой организации и ее истинные цели.

Н. Бестужев полагал, что орден — выдумка, но отметил, что «Завалишин, считая и наше общество более значащим, нежели оно в самом деле было, хотел придать себе важности в глазах наших подобным вымыслом».

После восстания 14 декабря Завалишин был арестован. В своих мемуарах он рисует себя опять-таки самым главным декабристом: «Я первенствовал и в общих собраниях, если принять в соображение, что не принимая ни звания директора, ни председателя совещаний, я оканчивал всегда тем, что направлял совещания на предметы, которые считал существенными, и руководил совещаниями… И при этом влияние мое росло и в общих совещаниях до того быстро, что возбудило наконец зависть в самом Рылееве, особенно при виде и внешних успехов моих».

Конечно, Завалишин ни на одном совещании не был. Кстати, в числе совещавшихся он называет Федора Глинку, но тот не принадлежал к Северному обществу и не принимал участия в его работе, хотя и знал о его существовании.

Странны записки Завалишина — в них много интересного, зорко, подмеченного о политическом и хозяйственном состоянии России 1820-х годов, немало блестящих выводов, но в

то же время в них бездна «ячества», беспардонного вранья, вроде того, что он подсказывал Рылееву замыслы его произведений и даже участвовал в написании некоторых его стихотворений и поэм.

2 июня 1825 года Рылеев с Александром Одоевским, Александром Бестужевым и Вильгельмом Кюхельбекером выехал в Кронштадт, — внешним поводом поездки было приглашение служившего там Петра Бестужева в местный театр, настоящим же — выяснить, насколько правы Торсон и Николай Бестужев, говорившие, что Кронштадт не годится на роль «острова Леон» (этот остров был начальной базой испанских революционеров в 1821 году). Рылеев приглашал в эту поездку и Завалишина, но тот, по-видимому, опоздал к пятичасовому пароходу и прибыл в Кронштадт позже. Рылеев встретил его там в театре. Но, как ни наводил Завалишин разговор на политику, Рылеев все толковал о пьесе и актерах.

После двух поездок Рылеев пришел к выводу, что «всякое намерение в рассуждении флота должно оставить».

Однако — Завалишин по собственной инициативе вел в Кронштадте неустанную политическую пропаганду среди офицеров и скоро нашел моряков, готовых примкнуть к Северному обществу, например, братьев Беляевых и Арбузова.

В особенности революционно настроен был лейтенант Арбузов. Задолго до вступления в общество (был принят Н. Бестужевым в первых числах декабря 1825 года) он, как говорится в следственном заключении, «в беседах с мичманами Гвардейского экипажа, обращая все внимание их на Конституции и на либеральные сочинения, возбудил в них понятия, дотоле им неизвестные, старался каждое действие правительства видеть с Дурной стороны», что, наконец, «единой мыслью» его и мичманов «сделалось желание введения в России свободы и республиканского правления».

Еще не зная, что в Петербурге есть тайное общество, Арбузов говорил, что «надлежит составить особливый заговор, выбрав людей и назнача день и час для действия, а не дожидаться случая». Независимо от Северного общества Арбузов пришел к выводу, что во время переворота нужно захватить Сенат. На следствии Завалишин приводил слова Арбузова о том, что он с одной ротой мог бы взять Сенат, потому, мол, что он там «знает все переходы».

Однако Арбузов знал о Рылееве и еще в мае 1825 года просил своего сослуживца Михаила Кюхельбекера (брата В. К. Кюхельбекера), тогда также еще не члена Северного общества, познакомить его с ним.

В результате — среди офицеров морского Гвардейского экипажа возникла революционная группа, которая откликнулась на призыв Николая Бестужева в решительный день 14 декабря.

7

С Петром Григорьевичем Каховским Рылеев познакомился у Федора Глинки в начале 1825 года.

27-летний отставной кирасир был человеком одиноким и бедным — он владел каким-то очень незначительным поместьем в Смоленской губернии, а из родных его, очевидно, к этому времени никого не оставалось в живых. Во всяком случае — эта был единственный декабрист, за которого во время следствия и суда не хлопотал никто: никто не просил о свиданиях с ним, не писал ему. Беден он был настолько, что Рылеев однажды заплатил за него портному. Вместе с тем Каховский был самолюбив и дерзок. После отставки он побывал за границей, где посещал лекции в университетах. Он много читал, знал несколько языков, интересовался экономикой и политикой. «Чтение всего того, что было известным в свете по части политической, дало наклонность мыслям моим», — писал он.

В 1825 году Каховский собирался ехать в Грецию, чтобы принять участие в освободительной войне. В следственных делах Каховский аттестуется как человек «отчаянный, неистовый». Товарищи-декабристы так отзывались о нем: «пылкий и решительный» (Оболенский), «пылкий характер, готовый на самоотвержение»

(Рылеев); «готовый на обречение» (Штейнгель). А вот слова самого Каховского: «Я за первое благо считал не только жизнью — честью жертвовать пользе моего отечества. Умереть на плахе, быть растерзану и умереть в самую минуту наслаждения, не все ли равно? Но что может быть слаще, как умереть, принеся пользу?.. Увлеченный пламенной любовью к родине, страстью к свободе, я не видал преступления для блага общего. Для блага отечества я готов бы был и отца родного принести в жертву».

Вот как передает Рылеев историю своего знакомства с Каховским: «Приметив в нем образ мыслей совершенно республиканский и готовность на всякое самоотвержение, я после некоторого колебания решился его принять, что и исполнил, сказав, что цель общества есть введение самой свободной монархической конституции. Более я ему не сказал ничего: ни силы, ни средств, ни плана общества к достижению преднамерения оного. Пылкий характер его не мог тем удовлетвориться, и он при каждом свидании докучал мне своими нескромными вопросами».

Каховский стремился к немедленным действиям. Однажды — в начале 1825 года — он явился к Рылееву и сказал: «Послушай, Рылеев! Я пришел тебе сказать, что я решился убить царя. Объяви об этом Думе. Пусть она назначит мне срок».

«Я в смятении вскочил с софы, на которой лежал, — пишет Рылеев, — и сказал ему: «Что ты, сумасшедший! ты верно хочешь погубить Общество!» Засим старался я отклонить его от сего намерения, доказывая, сколь оное может быть пагубно для цели общества; но Каховский никакими моими доводами не убеждался и говорил, чтобы я насчет Общества не беспокоился, что он никого не выдаст, что он решился и намерение свое исполнит непременно».

Каховский не знал, что Северное общество не было еще готово к решительным действиям, ему казалось, что оно гораздо сильнее, чем это было на самом деле (такое мнение Рылеев намеренно поддерживал и в нем, и в других новопринятых членах). Рылеев поверил в решимость Каховского и испугался — несвоевременное Цареубийство может провалить все планы общества. Рылеев вынужден был пойти на хитрость.

«Я наконец решился прибегнуть к чувствам его, — пишет Рылеев. — Мне несколько раз удалось помочь ему в его нуждах. Я заметил, что он всегда тем сильно трогался и искренно любил меня, почему я и сказал ему: «Любезный Каховский! Подумай хорошенько о своем намерении. Схватят тебя; схватят и меня, потому что ты у меня часто бывал. Я Общества не

открою; но вспомни, что я отец семейства. За что ты хочешь погубить мою бедную жену и дочь?» — Каховский прослезился и сказал: «Ну, делать нечего. Ты убедил меня!» — «Дай же мне честное слово, — продолжал я, — что ты не исполнишь своего намерения». Он мне дал оное… В сентябре месяце он снова обратился к своему намерению и настоятельно требовал, чтобы я его представил членам Думы. Я решительно отказал ему в том и сказал, что я жестоко ошибся в нем и раскаиваюсь, приняв его в Общество. После сего мы расстались в сильном неудовольствии друг на друга».

Рылеев соблюдал правила конспирации. Каховский же не хотел быть рядовым заговорщиком и, как он полагал, исполнителем чужой воли. На этой почве между Рылеевым и Каховским возникло взаимное недоверие. «Ты принадлежишь к Обществу, — сказал ему Рылеев, — и хочешь действовать вопреки его видам». Рылеев принялся воспитывать Каховского — учить его скромному исполнению долга. Он советовал ему снова вступить в армию — чтобы вести агитацию среди солдат. Каховский послушался, подал прошение и даже сшил себе обмундирование пехотного офицера. Но его не приняли в полк.

Когда Каховский начинал какой-нибудь спор, Рылеев останавливал его, называя его «ходячей оппозицией». Однажды Каховский внес какое-то предложение, касающееся действий Общества. Рылеев строго оборвал его: «Пожалуйста, не мешайся, ты ничего более как рядовой в Обществе». Однако тут же смягчил слишком строгое замечание: «Да и от меня не много зависит; как определит Дума, так и будет».

Можно себе представить, как оскорблялся пылкий Каховский прямолинейными отповедями Рылеева.

И все же их связывало главное. Каховскому было твердо заявлено, что «если Общество решится начать действия свои покушением на жизнь государя, то никого, кроме него, не употребит к тому».

Через Каховского Рылеев осуществил и связь Северного общества с лейб-гвардии Гренадерским полком. Там служил товарищ Каховского — поручик Сутгоф, давно желавший «содействовать благу общему». По поручению Рылеева Каховский принял Сутгофа в члены Общества. Каховским же в этом полку были приняты прапорщики Палицын и Жеребцов, подпоручик Кожевников и поручик Панов (кроме того, Каховский вел агитацию в Измайловском полку, где принял в Северное общество двух офицеров — Глебова и Фока).

Сутгоф, человек решительный, тоже сердился, что планы Общества от него скрываются. «Нас, брат, баранами считают», — сказал он однажды Каховскому, когда Рылеев по обыкновению заперся в комнате с Оболенским, Николаем Бестужевым и Пущиным.

Рылеев не открывал новым членам и того немногого, что он мог бы им сказать, — решения руководителей Северного и Южного обществ выработать общую конституцию (на основе проектов Муравьева и Пестеля), слить общества в одно к апрелю 1826 года и в июле того же года поднять восстание. А пока — пропаганда в войсках, вербовка членов, то есть собирание сил…

Даже в показаниях Каховского на следствии чувствуется обида: «Рылеев все и от всех скрывал, всем распоряжался, все брал на себя… Он делал все по-своему… Нас всех и в частных разговорах заставлял молчать». Однажды во время прогулки с Александром Бестужевым Каховский сказал: «Я готов собой жертвовать отечеству, но ступенькой ему (Рылееву. — *В.А.)* или другому к возвышению не лягу». Бестужев передал это Рылееву, тот возмутился и сказал Каховскому, что он «весь во фразах». Произошла ссора, и Каховский, как он говорит, «отказался от Общества». Отказ был, конечно, не всерьез. Но споры и ссоры продолжались. Они прекратились только после получения известия о смерти Александра I. «Общество стало сильней действовать, — говорит Каховский, — я опять соединился с ним, не будучи в силах удержаться не участвовать в деле Отечества».

Подобно Каховскому задумал совершить цареубийство Александр Иванович Якубович.

Будучи молодым гвардейским офицером, в 1818 году он принял участие в дуэли Завадовского с Шереметевым (он был секундантом, другим секундантом был Грибоедов), и его в наказание за это перевели в Нижегородский драгунский полк, расположенный в Кахетии. Там он саблей добыл себе славу необыкновенного храбреца. В Грузии он вызвал на дуэль Грибоедова (были какие-то старые счеты) и прострелил ему руку.

В 1825 году в одной из схваток с черкесами Якубович был тяжело ранен в голову и приехал в Петербург лечиться — ему пришлось пережить несколько мучительных операций, при которых у него «вынули из раны раздробленные кости и куски свинцу».

Герой Кавказа, имевший мужественную осанку н огромные усы, носивший постоянно черную повязку па лбу, заставил говорить о себе весь Петербург. Он сам любил рассказывать о своих приключениях. Пробовал он и писать. В «Северной Пчеле» появился его очерк «Отрывки о Кавказе» с подписью «А.Я.». Может быть, он внял призыву своего друга Дениса Давыдова: «Куда бы хорошо сделали, если бы в свободные часы взяли на себя труд описать ваши наезды и поиски!» Пушкин спрашивал А. Бестужева: «Кстати: кто писал о горцах в «Пчеле»? Вот поэзия! не Якубович ли, герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе».

Рылеев говорит: «Задолго до приезда в Петербург Якубовича я уже слышал об нем. Тогда в публике много говорили о его подвигах против горцев и о его решительном характере. По приезде его сюда мы скоро сошлись, и я с первого свидания возымел намерение принять его в члены Общества, почему при первом удобном случае и открылся ему».

Якубович повел себя очень эффектно. «Я не люблю никаких тайных обществ, — сказал он. — По моему мнению, один решительный человек полезнее всех карбонаров и масонов. Я знаю, с кем я говорю, и потому не буду таиться. Я жестоко оскорблен царем! Вы, может, слышали». — Якубович достал из кармана полуистлевший приказ о переводе его из гвардии в армейский полк. «Вот пилюля, — продолжал он, — которую я восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения».

Он сорвал со лба повязку и показал еще не зажившую рану: «Эту рану можно было залечить и на Кавказе без ваших Арендтов и Буяльских; но я этого не захотел и обрадовался случаю хоть с гнилым черепом добраться до оскорбителя. И, наконец, я здесь! — и уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем; делайте что хотите! Созывайте ваш Великий Собор и дурачьтесь досыта!»

«Слова его, голос, движения, рана произвели сильное на меня впечатление, — говорит Рылеев, — которое, однако ж, я старался сокрыть от него».

Якубович сказал, что во время маневров гвардии в Петергофе он убьет императора. Рылеев, точно так же как и в случае с Каховским, всполошился, и на этот раз даже сильнее. В тот же день он уведомил о решении Якубовича членов Думы — Оболенского и Муравьева. Через Бриггена, уезжавшего в Киев, то же было передано Трубецкому. Рылееву было поручено убедить Якубовича в несвоевременности цареубийства.

Два часа в присутствии Одоевского и Александра Бестужева говорил Рылеев с Якубовичем, но тот на все его доводы отвечал, что «никто и ничто не отклонит его от сего намерения, что он восемь лет носит и лелеет оное в своей груди». Не зная, что делать дальше, Рылеев хотел даже вызвать Якубовича на дуэль. Но потом он придумал ловкий маневр — он объявил Якубовичу, что Общество согласно, что оно воспользуется убийством царя, но что этот акт нужно на время отложить, так как необходимы приготовления. Эта уловка Рылеева имела успех. Впрочем, и Якубовичу, очевидно, нужна была только благовидная причина, чтобы согласиться с Рылеевым. Он сказал, что отложит цареубийство на год.

Видимо, знакомство с Якубовичем натолкнуло Рылеева на мысль написать поэму из кавказского военного быта. Поэма не была написана, но в сохранившемся плане говорится о некоем романтическом герое, который «предназначал себе славное дело, в котором он должен погибнуть непременно и все цели свои приносит в жертву», который «живет только для цели своей; он ненавидит людей, но любит все человечество, обожает Россию и всем готов жертвовать ей».

…Осенью 1825 года руководство Северного общества переживало кризис. Никита Муравьев в сентябре уехал в длительный отпуск. Его место в Думе занял Александр Бестужев. Теперь Дума состояла из Бестужева, Рылеева и Оболенского. Но как раз осенью этого года Оболенского одолевали мучительные сомнения в необходимости революционного переворота. Бестужев был слабый теоретик. «Я солдат, — говорил он, — я гожусь не рассуждать, а действовать». Фактически руководство Северным обществом перешло к Рылееву. Несмотря на развитую им бурную деятельность, на распространение влияния Общества почти по всем полкам, Северное общество не достигло той степени готовности к выступлению, какая уже была в Южном.

В Киеве решительно и успешно действовал член Думы Северного общества князь Трубецкой. Будучи дежурным офицером штаба 4-го пехотного корпуса, он связался с руководителями Васильковской управы южан Сергеем Муравьевым-Апостолом и Михаилом Бестужевым-Рюминым. В киевской квартире Трубецкого происходили частые совещания декабристов. При его участии был выработан план военного переворота во время смотра войск в Белой Церкви летом 1826 года. После уничтожения на смотре царя южане намеревались взять Киев и отправить часть своих войск на Москву. Северному обществу предлагалось в это время совершить революцию в Петербурге — взять Сенат и прочие государственные учреждения, арестовать всех членов царской семьи и создать Временное правительство.

В октябре 1825 года Трубецкой вернулся в Петербург.

«Он объявил мне и Оболенскому, — говорил Рылеев, — что дела Южного общества в самом хорошем положении, что корпуса князя Щербатова и генерала Рота совершенно готовы, не исключая нижних чинов, на которых найдено прекрасное средство действовать чрез солдат старого Семеновского полка, и что ему поручено узнать, в каком положении Северное общество. Оболенский и я откровенно объявили, что наши дела в плохом положении, что мы ни на какое решительное действие не готовы… Он спрашивал меня еще, что может сделать Северное общество для содействия Южному. Я ему отвечал: «Совершенно ничего, если прочие члены Думы будут действовать по-прежнему; что я, пожалуй, готов с своею отраслью подняться, но что мы будем верные и бесполезные жертвы»… «А что Якубович?» — спросил Трубецкой. «Якубовича можно с цепи спустить, — отвечал я, — да что будет проку? Общество сим с самого начала вооружит противу себя все, ибо никто не поверит, чтобы он действовал сам собою». После сего Трубецкой замолчал».

Трубецкой — одна из самых значительных фигур в Северном обществе. В начале своей службы (он был небогатый и очень скромный офицер) в Семеновском полку Трубецкой подружился с Матвеем и Сергеем Муравьевыми-Апостолами, Александром Муравьевым, Сергеем Шиповым и Якушкиным — будущими декабристами. Вместе с ними проделал кампанию 1812 года, воевал в Европе в 1813 и 1814 годах. Якушкин вспоминал о Трубецком как о храбром человеке: «Под Бородином он простоял 14 часов под ядрами и картечью с таким же спокойствием, каким он сидит, играя в шахматы. Под Люценом, когда принц Евгений, пришедший от Лейпцига, из 40 орудий громил гвардейские полки, Трубецкому пришла мысль подшутить над Боком, известным трусом в Семеновском полку: он подошел к нему сзади и бросил в него ком земли; Бок с испугу упал. Под Кульмом две роты третьего батальона Семеновского полка, не имевшие в сумках ни одного патрона, были посланы под начальством

капитана Пущина, но с одним холодным оружием и громким русским ура прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Трубецкой, находившийся при одной из рот, несмотря на свистящие неприятельские пули, шел спокойно впереди солдат, размахивая шпагой над своей годовой».

Трубецкой был одним из основателей первых декабристских организаций — Союза Спасения и Союза Благоденствия, — он был одним из авторов устава Союза Благоденствия — «Зеленой книги». Как и все члены этого общества, он мечтал о конституционной монархии. Он был также одним из учредителей декабристского литературного общества «Зеленая лампа» — одной из отраслей Союза Благоденствия. Он принял в Союз Благоденствия Николая Тургенева («В нем я нахожу большую неутомимость в стремлении к добру», — сказал Тургенев о Трубецком). С 1821 года Трубецкой — член Думы Северного общества.

Политические взгляды Трубецкого были более либеральны, чем, например, Никиты Муравьева. Так, в своем экземпляре Конституции Муравьева к статье 2-й («Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления Для самого себя») он сделал характерное примечание: «Власть народа ограниченна, ибо и целый народ не имеет права гнести и одного гражданина». Свобода личности — один из главных принципов идеологии Трубецкого.

В дни междуцарствия Трубецкой не знал отдыха. «Совещания всегда назначались им, — говорит Рылеев, — и без него не делались. Он каждый день по два и по три Раза приезжал ко мне с разными известиями или советами, и когда я уведомлял его о каком-нибудь успехе по делам Общества, он жал мне руку, хвалил мою ревность и говорил, что он только и надеется на мою отрасль. Словом, он готовностью своею на переворот совершенно равнялся мне, но превосходил меня осторожностью».

Рылееву, особенно в ноябре и декабре 1825 года — часто приходилось бывать в роскошном особняке Лавалей на Английской набережной, где в нижнем этаже жил Трубецкой, женатый на дочери графа и графини Лаваль, — окна обширного кабинета Трубецкого выходила на Неву. 24 ноября Рылеев был в этом доме в числе гостей, званных на именины жены Трубецкого — Екатерины Ивановны (она была первая из жен декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь). На собраниях знаменитого литературного салона графини Лаваль Рылеев, вероятно, не бывал, но, конечно, знал о нем, — тут до своей ссылки — и после нее — бывал Пушкин, здесь Карамзин читал главы «Истории», декламировал свои стихи Козлов. У Лаваль играли приезжие знаменитые музыканты. Гости рассматривали обширную коллекцию картин, гравюр, собрание античной скульптуры. Была в доме и великолепная библиотека.

Итак, 24 ноября Рылеев был у Трубецкого. Посреди праздника они нашли время уединиться и поговорить о делах.

«Он сказал мне первый, — пишет Трубецкой, — что есть известие из Таганрога, что Александр отчаянно болен. 25-го я должен был выехать из Петербурга (снова в Киев. — *В.А.)* и остался единственно для того, чтоб знать, чем разрешится болезнь».

Уехать Трубецкому не пришлось.

27 ноября в Петербурге стало известно, что в Таганроге скончался император (он умер 19 ноября). Восемь суток скакал курьер…

8

Утром этого дня, как пишет Рылеев, «Якубович рано вбежал в комнату, в которой я лежал больной, и в сильном волнении с упреком сказал мне: «Царь умер! Это вы его вырвали у меня!» Вскочив с постели, я спросил Якубовича: «Кто сказал тебе?» Он, назвав мне не помню кого-то, прибавил: «Мне некогда; прощай!» — и ушел».

Вскоре приехал Трубецкой. Он известил Рылеева, что дворцовый караул, штат придворных чинов, петербургский гарнизон и правительственные учреждения присягнули новому императору — Константину I. Во время этого разговора пришли Николай Бестужев и Торсон с тем же известием. Позже пришли Бестужев Александр и Батеньков.

Трубецкой говорил, что войска присягнули Константину с готовностью, но что, впрочем, это не беда — нужно «приготовиться сколько возможно, дабы содействовать южным членам, если они подымутся, что очень может случиться, ибо они готовы воспользоваться каждым случаем».

Все присутствовавшие пришли к заключению, что настали обстоятельства чрезвычайные, «решительные».

«Видя, как обыкновенно бывает несогласие в мнениях, — показывает Рылеев, — я предложил Оболенскому избрать начальника и, отобрав от Бестужева и Каховского голоса в пользу Трубецкого, на другой день сказал о том Оболенскому, прибавив к тому и свой голос… С того дня Трубецкой был уже полновластный начальник наш; он или сам, или через меня, или через Оболенского делал распоряжения».

В тот же день — 27-го — между Николаем Бестужевым и Рылеевым произошел следующий разговор. «Где же Общество, — спрашивал Бестужев, думавший, что в Обществе есть важные государственные люди, — о котором столько рассказывал ты? Где же действователи, которым настала минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, какие их планы? Почему это Общество, ежели оно сильно, не знало о болезни царя, тогда как во дворце более недели получаются бюллетени об опасном его положении? Ежели есть какие намерения, скажи их нам, и мы приступим к исполнению — говори!»

Рылеев ответил, что конкретного плана действий пока нет, что число «наличных членов» в Петербурге действительно невелико, но, сказал он, «несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру; между тем я поеду сосать сведения, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и в войске».

Оболенский пишет, что после совещания 27-го числа, поздравляя друг друга с неожиданным для нас происшествием, мы сознались все в слабости наших сил и невозможности действовать сообразно цели нашей и растлись, не положив ничего решительного».

Однако это не совсем так.

Рылеев предложил Думе свой план и начал со своей отраслью немедленные действия. Он с братьями Бежевыми сначала пытался сочинять прокламации к войскам, чтоб тайно разбросать их в казармах, — признав это «неудобным», разорвали черновики и решили идти ночью втроем по городу, чтобы беседовать с каждым встреченным солдатом, с каждым часовым, передавая им, что их обманули, не показали им завещания покойного императора, в котором дается воля крестьянам и солдатская служба убавлена на десять лет.

«Нельзя представить жадности, с какой слушали нас солдаты, — пишет Бестужев, — нельзя изъяснить быстроты, с какой разнеслись наши слова по войскам; на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом».

Такие же обходы поручил Рылеев Каховскому, Арбузову, Михаилу Бестужеву, Сутгофу,

Панову и другим членам общества.

«Я полагал полезным распустить слух, — показывает Рылеев, — будто в Сенате хранится духовное завещание покойного государя, в коем срок службы нижним чинам уменьшен десятью годами. Мнение сие как Трубецким, так и всеми другими членами единогласно было принято».

Два дня походов по городу в сырую и ветреную погоду уложили Рылеева в постель — у него сделалась сильная ангина («жаба»). Но дел по Обществу он не бросил. «Мало-помалу число наше увеличилось, — пишет Н. Бестужев, — члены съезжались отовсюду, и болезнь Рылеева была предлогом беспрестанных собраний в его доме».

В эти дни Николай Бестужев сделал, как он рассказывает, нечаянное предсказание, которое ему было «прискорбно припомнить». Помогая Рылееву сменить повязку на шее, снять «мушку» (пластырь), он «зацепил неосторожно за рану», образовавшуюся от присохшего пластыря. Рылеев вскрикнул. «Как не стыдно тебе быть таким малодушным, — сказал Бестужев шутя, — и кричать от одного прикосновения, когда ты знаешь слою участь, знаешь, к чему тебе должно приучать свою шею»-

Пропаганда в полках продолжалась. И когда Рылеев однажды стал рассказывать Трубецкому об успехах агитаторов своей отрасли, диктатор заметил, что если в полку поднимется одна рота, то другие могут не последовать ее примеру. Рылеев ответил, что «достаточно одного решительного капитана для возмущения всех нижних чинов, по причине негодования их противу взыскательности начальства». Рылеев, в свою очередь, поинтересовался, какую силу полагает Трубецкой «достаточною для совершения наших намерений», на что Трубецкой отвечал: «Довольно одного полка». — «Так нечего и хлопотать, — воскликнул Рылеев. — Можно ручаться за три! А за два — наверное» (Рылеев имел в виду гвардейские Московский и Гренадерский полки, а также Гвардейский экипаж, которые и вышли 14 декабря на площадь).

Через несколько дней появились надежды, что можно будет поднять еще несколько полков: Измайловский, Финляндский и Егерский.

«Все без исключения решительно говорили, — замечает Рылеев, — что сами обстоятельства призывают общество к начатию действий и что не воспользоваться оными со столь значительною силою было б непростительное малодушие и даже преступление».

Тем временем в витринах магазинов были выставлены портреты нового императора — Константина I, похожего лицом на своего отца, Павла I. На Монетном дворе начали чеканку денег с изображением Константина. Его именем стали подписывать подорожные. Он, однако, в Петербург не ехал, оставаясь главнокомандующим в Варшаве, а великий князь Николай, которого гвардия ненавидела за грубость, перебрался из своего Аничкова дворца в Зимний. Пошли слухи об отречении Константина, создалась напряженная обстановка междуцарствия. Дело заключалось в том, что Константин был женат на дворянке не царской крови, а в таком случае, став императором, он не мог бы передать престол своим потомкам. Константин написал отречение еще при жизни Александра I, в 1823 году, но оно не было в свое время опубликовано и оказалось как бы в секрете. Это был безусловный промах Александра…

После смерти Александра генерал-губернатор Петербурга граф М.А. Милорадович, который в отсутствие императора командовал всей гвардией, отдал приказ о приведении к присяге Константину. Вынужден был присягнуть своему брату и Николай, тогда всего только бригадный генерал, — он было напомнил Милорадовичу об отречении Константина, но генерал-губернатор решительно заметил ему, что гвардия воспримет его попытку вступить на престол как узурпацию власти, будет восстание и неизвестно чем тогда все кончится…

Николай слал в Варшаву курьера за курьером — нужно было новое, гласное отречение Константина, так как ехать в Петербург и садиться на трон он решительно отказывался. Акты о

принесенной ему присяге он отправлял обратно. Николай метался в Зимнем дворце с чувством тревоги… У него на столе уже несколько дней лежали доносы Майбороды и Бошняка о Южном обществе. Чувствовал он, что и в Петербурге неспокойно. Он то и дело запрашивал Милорадовича, что делается в Петербурге по пресечению попыток революции.

Надо сказать, что Милорадович знал о существовании тайного общества (и не один год), — среди его друзей были Николай Тургенев и Федор Глинка. Когда Милорадович погиб от пули Каховского, Николай со злорадством вспоминал его слова о том, что все, мол, было «спокойно». Он не сомневался в симпатиях Милорадовича к освободительному движению, — и в самом деле, этот боевой, заслуженный генерал, герой 1812 года, еще при своей жизни отпустил многих своих дворовых и крестьян на волю (и именно благодаря беседам с таким антикрепостником, как Николай Тургенев), а умирая, завещал свободу всем своим крестьянам. Трудно в этом случае судить Каховского (а также и Оболенского, который ранил Милорадовича штыком). Но пуля его послана была не в друга Тургенева и Глинки и антикрепостника, а в генерал-губернатора, который явился на площадь как представитель вражеской стороны.

В дни междуцарствия ходили также слухи, что власть хочет захватить вдова Павла I — Мария Федоровна, имевшая резиденцию в Павловске.

…Рылеев был болен. Но он, как вспоминает его товарищ по Вольному обществу любителей российской словесности (ставший потом делопроизводителем Следственной комиссии), «воспламенял всех, подкреплял настойчивостью, давал приказания и наставления». Александр Бестужев говорит, что Рылеев «был главною пружиною предприятия; воспламеняя всех своим поэтическим воображением и подкрепляя настойчивостью».

Пущин писал из Москвы: «Случай удобен. Ежели мы ничего пе предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов». Оп (как и в прошлом году) берет «рождественский» двадцатичетырехдневный отпуск и едет в Петербург.

Положение Общества было сложным. Никто из членов его не сомневался, что в случае отречения Константина — необходимо выступить. Ну а если он не отречется? Тогда поднять гвардию будет невозможно. Во-первых, она уже присягнула ему. Во-вторых, насколько она не терпит Николая, настолько же ей симпатичен Константин, который умел ладить с офицерами.

В случае принятия Константином российского престола Трубецкой предлагал свернуть революционные действия и распустить Общество, «а самим, оставшись между собой друзьями, действовать каждому отдельно сообразно правил наших и чувствований сердца». При этом, считал он, надо стремиться занимать как можно более высокие посты в гвардии. Рылеев был согласен с этим. К плану Трубецкого он прибавил только, что надо обязать членов Общества, служащих в гвардии, не выходить в отставку и стараться не переходить в армейские полки.

В случае отречения Константина, говорил Трубецкой, «мы должны все способы употребить для достижения цели Общества» — то есть для установления в России республиканского образа правления.

Смутные дни междуцарствия очень выразительно описал Герцен: «Это было время белой горячки, правительственного бреда… Зачем Александр I, сделав акт такой важности, как замена меньшим братом старшего в престолонаследии, держал это под спудом, зачем скрыл от совета, от министров, от людей, окружавших его смертный одр в Таганроге? Зачем потом эта длинная история семейных учтивостей? — «Сделайте одолжение, вы вперед!» — «Нет-с, помилуйте, за вами!» Мария Федоровна в отчаянии проливает слезы. Михаил Павлович скачет на курьерских из Варшавы; Николай Павлович присягает Константину Павловичу, Константин Павлович присягает Николаю Павловичу. Все зовут цесаревича в Петербург, а тот руками и ногами уперся в Лазенках (предместье Варшавы, где располагалась резиденция Константина. — *В.А.)* — и ни с места. Первый, пришедший в себя, был Михаил Павлович: тот сел себе на станции между

Петербургом и Варшавой и пробыл, пока старшие доиграли свою игру».

8 декабря в Москву приехали Пущин и Одоевский. Одоевский едва только направился из Петербурга в отпуск (во Владимирскую губернию, где хотел навестить отца) — в Москве встретился с Пущиным, от него узнал о сложившихся обстоятельствах (пока единственно о смерти Александра I) и вместе с ним возвратился в Петербург. Перед отъездом из Москвы Пущин написал в Михайловское Пушкину, он звал его в Петербург. Звал, может быть, уже чувствуя близкую грозу…

9 декабря на совещании у Рылеева было принято окончательное решение, как сообщает Оболенский, готовить Общество к «действию в случае новой присяги».

10 декабря. Из Варшавы прибыл великий князь Михаил Павлович. Мария Федоровна объявила Николаю: «Ну, Николай, преклонитесь пред вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон».

Николай чувствовал себя все-таки неуверенно. «Город казался тих, — говорит он в своих записках, — так, по крайней мере, уверял граф Милорадович… Но в то же время бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел… Сборища их бывали у Рылеева». Даже после доносов Шервуда и Майбороды, как пишет Николай, «граф Милорадович… обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности».

10 декабря у Рылеева собрались Репин, Розен, Щепин-Ростовский и три брата Бестужевых — Александр, Николай и Михаил (Михаил в последнее время и жил на квартире Рылеева). Рылеев выздоравливал, но шея его была еще повязана теплым платком. На столе у него лежала книга Тимофея Мальгина, изданная в 1805 году: «Российский ратник или общая военная повесть: о государственных войнах, неприятельских нашествиях, уронах, бедствиях, победах и приобретениях, от древности до наших времен».

Розен рассказал в своих записках, что Рылеев его поразил: «Во взорах его выразительных глаз, всех чертах его лица виднелась восторженность к великому делу; речь его убедительная просто текла без всякой самонадеянности, без надменности, без фигурных фраз и возгласов».

В этот же день членам Северного общества стало известно об отречении Константина и о подготовке присяги Николаю I. Рылеев узнал об этом от Трубецкого. Решено было действовать. Нужно было добиться того, чтоб войска отказались присягать Николаю. Для этого был распущен слух, что Константин не отрекался, что Николай самовольно хочет захватить трон.

11 декабря. Якушкин пишет, что в тот день «на многолюдном совещании у Рылеева было решено… поднять гвардейские полки и привести их на Сенатскую площадь». На этом совещании выяснилось, что Измайловский и Финляндский полки малонадежны. Это поколебало решимость некоторых заговорщиков. Тогда Рылеев призвал всех дать честное слово явиться на площадь с тем числом войск, которое каждый может привести; в крайнем случае прийти хотя бы самому.

В этот же день Рылеев был у Оболенского, который вызвал кавалергардских офицеров Анненкова и Арцыбашева. Рылеев и Оболенский убеждали их принять участие в восстании и попытаться поднять полк, но «скрытно от Свистунова», ставленника Пестеля в Кавалергардском полку, на которого мало надеялись. Анненков и Арцыбашев отказались действовать. Тогда Трубецкой попытался воздействовать на Свистунова, предлагая ему «возмутить» солдат полка. И Свистунов отказался. Трубецкой поехал к командиру Семеновского полка Шипову, который был членом Союза Благоденствия и его давним товарищем, но после беседы с ним убедился, что он «передался совсем на сторону Николая».

11-го же числа Рылеев направил Сутгофа к полковнику Булатову, командиру 12-го Егерского полка, недавно принятому в Северное общество, с предложением помочь пропаганде

в Гренадерском полку, где Булатов служил ранее и где его любили солдаты. Булатов дал согласие и обещал на другой день быть у Рылеева.

Между тем в правительстве решено было заготовить манифест о присяге Николаю I, в котором излагалась бы вся история с отречением Константина. Присяга была назначена на понедельник — 14 декабря. Декабристы, со своей стороны, приняли решение выработать манифест, который Сенат должен обнародовать от себя — после успеха восстания. В следующие дни над текстом «Манифеста к русскому народу» работали Н. Бестужев, В. Штейигель, Г. Батеньков, И. Пущин. Основное участие принимали в нем Трубецкой и Рылеев.

9

«Послезавтра, поутру, я — или государь, или — без дыхания», — писал Николай I начальнику Главного штаба И.И. Дибичу 12 декабря. Утром этого дня он получил от Дибича из Таганрога донесение о тайном обществе, основанное на доносах Шервуда, Бошняка и Майбороды. Перед тем, 11 декабря, подтвердились подозрения Николая в том, что и Петербург представляет собою в последние дни пороховую бочку: поздно вечером к нему, предварительно написав ему письмо, явился молодой офицер — член Северного общества Яков Ростовцев, который служил вместе с Оболенским адъютантом начальника гвардейской пехоты генерала Бистрома. Он был близким другом Оболенского, хорошо знал многих декабристов, в том числе Бестужевых и Рылеева. Был он и литератором — он выпустил в 1823 году отдельным изданием свою трагедию в стихах «Персей» (сохранился экземпляр с дарственной надписью Рылееву); писал и печатал в периодике («Невском Зрителе», «Сыне Отечества», «Полярной Звезде») стихи. В 1825 году он сочинил трагедию в стихах «Князь Пожарский», которую читал как-то у Оболенского; в тот же вечер читал Рылеев свой «Пролог» к задуманной им трагедии о Хмельницком. Рылеев просил эту трагедию у Ростовцева для «Полярной Звезды», но тот передал ее Булгарину[9].

Н. Бестужев пишет: «12-го числа декабря, в субботу, явился у меня Рылеев. Вид его был беспокойный, он сообщил мне, что Оболенский выведал от Ростовцева, что сей последний имел разговор с Николаем, в котором объявил ему об умышляемом заговоре, о намерениях воспользоваться расположением солдат и упрашивал его для отвращения кровопролития или отказаться от престола, или подождать цесаревича для всенародного отказа. Оболенский заставил Ростовцева написать как письмо, писанное им до свидания, так и разговор с Николаем.

— Вот черновое изложение того и другого, — продолжал Рылеев, — собственной руки Ростовцева, прочти и скажи, что ты об этом думаешь!

Я прочитал. Там не было ничего упомянуто о существовании Общества, не названо ни одного лица, но говорилось о намерении воспротивиться вступлению на престол Николая, о могущем произойти кровопролитии…

— Уверен ли ты, — сказал я Рылееву, — что все, писанное в этом письме, и разговор совершенно согласны с правдою, и что в них ничего не убавлено против изустного показания Ростовцева?

— Оболенский ручается за правдивость этой бумаги, — сказал Рылеев».

Бестужев ответил, что, по его мнению, Ростовцев «хочет ставить свечу богу и сатане. Николаю он открывает заговор, пред нами умывает руки признанием, в котором, говорит он, нет ничего личного. Не менее того в этом признании он мог написать что ему угодно и скрыть то, что ему не надобно нам сказывать»[10].

Рылеев предположил, что если Ростовцев назвал людей, то полиция тотчас их «прибрала бы к рукам».

«— Николай боится сделать это, — отвечал Бестужев. — Опорная точка нашего заговора есть верность присяге Константину и нежелание присягать Николаю. Это намерение существует в войске, и, конечно, тайная полиция о том известила Николая, но как он сам еще не уверен, точно ли откажется от престола брат его, следовательно, арест людей, которые хотели остаться верными первой присяге, может показаться с дурной стороны Константину, ежели он вздумает принять корону.

— Итак, ты думаешь, что мы уже заявлены?

— Непременно, и будем взяты, ежели не теперь, то после присяги.

— Что же, ты полагаешь, нужно делать?

— Не показывать этого письма никому и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели на постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где мы и за что пропали.

Рылеев бросился ко мне на шею.

— Я уверен был, — сказал он с сильным движением, — что это будет твое мнение. Итак, с богом! Судьба наша решена! К сомнениям нашим, теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества!»

В этот день утром приезжал к Рылееву полковник Булатов — Рылеев пригласил его к себе на вечернее совещание и подарил ему свои книги — сборник «Думы» и «Войнаровского».

После Булатова приехал Михаил Пущин, капитан лейб-гвардии Коннопионерного эскадрона, младший брат Ивана Пущина. Рылеев с ним был знаком уже давно. Он встретил Пущина словами: «Если хочешь быть нашим, я скажу тебе наше намерение». Пущин согласился и тем самым стал членом Северного общества. Рылеев сказал ему, что «вся гвардия готова не присягать», спросил его, готов ли он будет действовать с эскадроном, если придется захватывать артиллерию; Пущин отвечал, что «готов делать, что другие будут делать».

12-го же была у Рылеева беседа с Батеньковым.

Гавриил Батеньков — участник войны 1812 года и походов 1813-1814-го. Вскоре после войны он вышел в отставку и поступил в корпус инженеров путей сообщения, долго служил в Сибири, где сблизился со Сперанским. Вместе со Сперанским он. был подчинен непосредственно Аракчееву как председателю Сибирского комитета. Аракчеев, заметив блестящие докладные бумаги Батенькова, вызвал его и назначил своим секретарем по военным поселениям (Аракчеев называл Батенькова «мой математик»), В Петербурге Батеньков жил в доме Сперанского. Он часто бывал в доме Российско-Американской компании, познакомился там со Штейнгелем, Бестужевыми, Рылеевым. На обедах у В.И. Прокофьева Рылеев беседовал с Батеньковым и в конце концов убедился, что он имеет «вольный» образ мыслей. Уже за несколько дней до восстания Рылеев, как он сказал А. Бестужеву, «приобрел» Батенькова «на свою сторону».

Помощь от Батенькова была, конечно, неоценимая, так как он был свой человек при Сперанском и Аракчееве.

Батеньков показывал, что у Рылеева 12 декабря «вообще говорили слишком вольно и дерзко, но каждый свое, громко и без всякой осторожности, хотя беспрестанно входил человек, подавая чай. И подумать нельзя было, что это заседание тайного общества».

Рылеев говорил, что «ежели мы долее будем спать, то не будем никогда свободными». Батеньков вспоминает, что Рылеев «завел мечты о России до Петра и сказал, наконец, что стоит повесить вечевой колокол, ибо народ в массе его не изменился, готов принять древние свои обычаи и бросить чужеземное». Батеньков говорил о том, что военные поселения «сильно негодуют и готовы возмутиться при первом случае», особенно новгородские. В случае неудачи восстания он предлагал революционным войскам отступить на Новгород, к военным поселениям, где их будет ждать верная помощь.

Штейнгель показывал, что «именно 12 числа, пришед к Рылееву, я застал Каховского с Николаем Бестужевым говорящих у окошка, и первый сказал: «С этими филантропами ничего не сделаешь; тут просто надобно резать, да и только». Штейнгель с удивлением передал это Рылееву, тот ответил: «Не беспокойся, он так только говорит. Я его уйму; он у меня в руках». Рылеев сообщил Штейнгелю о доносе Ростовцева, показал ему тот же черновик письма Ростовцева к Николаю. «Что вы теперь думаете, неужели действовать?» — спросил Штейнгель.

«Действовать непременно, — отвечал Рылеев. — Ростовцев всего, как видишь, не открыл, а мы сильны и отлагать не должно».

Члены Общества весь день и вечер — одни приходили к Рылееву, другие уходили.

12-го были Трубецкой, Оболенский, Коновницын, Одоевский, Арбузов, Репин, Корнилович, Пущины, Бестужевы.

Все говорили, выдвигали разные проекты.

«Князь Одоевский, с пылкостью юноши, — говорит Штейнгель, — твердил только: Умрем! Ах, как славно мы умрем!»

Среди общего разговора вдруг вошел Ростовцев. Все умолкли…

Ростовцев в своих воспоминаниях писал, что он произнес твердую речь к заговорщикам, убеждая их оставить свои замыслы, рассказал о своем визите к Николаю и прибавил, что никого не выдал. Он пишет, что Оболенский назвал его изменником и пригрозил ему смертью, но что Рылеев якобы «бросился» ему «на шею», говоря: «Ростовцев не виноват, что различного с нами образа мыслей… Он действовал по долгу своей совести». И что, мол, после этого и Оболенский его обнимал…

Штейнгель свидетельствует, что Рылеев считал необходимым убить Ростовцева — «для примера» — как доносчика и шпиона, но сдался на уговоры Штейнгеля и произнес «тоном более презрительным, нежели злобным»: «Ну черт с ним, пусть живет».

М. Бестужев рассказывает, что Оболенский, узнав об измене Ростовцева, дал ему пощечину (о том же и сам Оболенский говорил Цебрикову). Оболенский дал Ростовцеву и вторую оплеуху, когда тот 14-го возвращался из Измайловского полка, где он, как пишет М. Бестужев, «ораторствовал за Николая», однако безуспешно, так как солдаты избили его прикладами, и он бежал, потеряв шинель. Николай I спрятал его во дворце…

Измена Ростовцева путала многие планы декабристов — благодаря ей Николай созвал ночью командиров всех полков и приказал привести войска 14 декабря к присяге в необычно раннее время — еще до рассвета. На раннее утро назначена была и присяга Сената.

12-го же вечером снова явился к Рылееву Булатов. Рылеев познакомил его с Трубецким и Якубовичем; Якубович и Булатов были назначены помощниками к диктатору Трубецкому. «Нам остается мало времени рассуждать», — сказал Булатов.

Отозвав в сторону барона Розена, Рылеев спросил его, можно ли будет располагать 14-го 1-м и 2-м батальонами Финляндского полка. Розен высказал сомнение. Рылеев «с особенным выражением в лице и голосе» (как пишет Розен) сказал: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды».

Александр Бестужев, входя в кабинет Рылеева, указал на порог: «Переступаю через Рубикон, а рубикон значит руби все, что попало!»

Появился в этот день у Рылеева и Федор Глинка. После распада Союза Благоденствия он отошел от тайного общества, но был в курсе всех его дел. Когда он вошел, Рылеев сказал: «Будем, господа, продолжать; при Федоре Николаевиче, кажется, можно». Глинка, однако, увидев, что нечаянно попал на совещание, вышел и вызвал за собой Рылеева. «Ну, слышали? — сказал он. — Опять присяга на днях». — «Знаем, — ответил Рылеев, — и Общество непременно решило воспользоваться этим случаем». — «Смотрите, господа, — сказал Глинка, — чтобы крови не было». — «Не беспокойтесь; приняты все меры, чтобы дело обошлось без крови», — уверил его Рылеев.

К 12 декабря выяснилось, что гвардейская артиллерия твердо стоит на стороне Николая и, как сказал Трубецкой, в случае восстания «палить будет».

Вырабатывая новый план восстания, Пущин, Александр Бестужев, Оболенский, Трубецкой и Рылеев поставили главной задачей захват Зимнего дворца и арест, а если будет необходимость

— уничтожение царской семьи. Старый план Трубецкого, рассчитанный на переговоры с правительством, был отменен. Захват царской семьи поручен был Трубецким Якубовичу и Арбузову. Действие предполагалось начать следующим образом. Арбузов и Якубович во главе Гвардейского экипажа идут «поднимать» Измайловский полк и саперов, потом выходят на Сенатскую площадь (Рылеев и Н. Бестужев должны присоединиться к ним). А. Бестужев и М. Бестужев, а также князь Щепин-Ростовский ведут на Сенатскую Московский полк. Булатов и Сутгоф поднимают Гренадерский полк и ведут его также на площадь. Финляндский полк переходит Неву и присоединяется к прочим на Сенатской. Кроме того, Оболенский надеялся распропагандировать Конную артиллерию.

Трубецкой — уже после принятого решения — высказал сомнение в необходимости захвата Зимнего дворца. Он предположил, что может возникнуть свалка, резня и тогда царская семья погибнет, не дождавшись справедливого суда. Его поддержал Батеньков, сказавший, что «дворец должен быть священное место, что если солдат до него прикоснется, то уже ни черт его ни от чего не удержит». Рылеев и Оболенский сумели убедить Трубецкого и Батенькова в необходимости взятия дворца.

Надо в особенности отметить, что не только Рылеев и члены его отрасли допускали убийство Николая и всей его семьи, но и Трубецкой, несмотря на всю его осторожность. 6 мая 1826 года на очной ставке с Рылеевым Трубецкой признался в «умысле» на цареубийство, что и он допускал в случае необходимости «принесение на жертву» царской семьи. Батеньков же назвал себя на следствии «солдатом Рылеева».

У Рылеева был таинственный дар убеждать простыми словами, речью без красноречия.

Завалишин передает следующие его слова: «Мы мало того что не признаем законным настоящее правительство, мы считаем его изменившим и враждебным своему народу, а потому действия против него не только не считаем незаконными, но глядим на них, как на обязательные для каждого русского, как если бы пришлось действовать против неприятеля, силою или хитростью вторгнувшегося в страну».

Оболенский говорит, что Рылеев в эти дни «употреблял всю силу духа на исполнение предначертанного намерения — воспользоваться переменою царствования для государственного переворота».

…Пушкин, тяготясь Михайловским заключением, строит планы побега в «чужие кран». Узнав о смерти Александра I, он собирается под видом крепостного помещицы Осиновой ехать в Петербург, но остается, — ему пришла мысль, что новый царь по обыкновению объявит прощение изгнанникам. Но 12 декабря приходит письмо Пущина, который зовет его в Петербург…

Пушкин, весь взбудораженный, собирается мчаться в Петербург, — конечно, тайно от властей, — а в Петербурге остановиться у Рылеева («Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него запастись сведениями», — пишет друг Пушкина С.А. Соболевский).

Столь же внезапно, как выехал, Пушкин возвращается назад.

Что было бы, если б Пушкин приехал к Рылееву? «Он бухнулся бы в кипяток мятежа у Рылеева, в ночь с 13 на 14 декабря», — отвечает нам на этот вопрос Вяземский.

10

13 декабря Николай подписал манифест о своем вступлении на престол (и пометил его 12-м числом).

В этот день Николай собрал в Зимнем дворце членов Государственного совета, занял председательское кресло и сказал: «Я выполняю волю брата Константина Павловича». После этого он встал и стоя прочитал свой манифест. Стояли и члены совета. По окончании чтения все поклонились Николаю…

13 декабря — канун восстания.

Для Рылеева это — день сверхчеловеческого напряжения. Действуют все — члены Думы Северного общества Оболенский и Александр Бестужев, председатель Московской управы Иван Пущин, диктатор Трубецкой. Но роль руководителя в день перед решительным выступлением твердо берет в свои руки Рылеев.

Вечером 12-го и рано утром 13 декабря Рылеев побывал у полковника Финляндского полка Моллера, члена Северного общества. Вечером Моллер был «в наилучшем расположении» (как пишет Н. Бестужев); утром Рылеев его не застал и послал искать его Николая Бестужева. Бестужев с Торсоном наконец нашли его, но он был уже не тот. «При первом вопросе о его намерениях он вспыхнул, — пишет Бестужев, — сказал, что не намерен служить орудием и игрушкой других в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах, и, не слушая наших убеждений, ушел».

Утром же Рылеев приехал к Бестужевым на Васильевский остров, накануне вернулась из деревни мать и три сестры Бестужевых. Рылеев их поздравил с приездом. Он был приглашен к обеду и обещал приехать. Затем Рылеев отвез Николая Бестужева к Торсону, а сам отправился к Трубецкому на Английскую набережную. Вскоре туда же приехали И. Пущин, Оболенский, Корнилович и Батеньков. Здесь, очевидно, обсуждались план восстания и манифест, над которым шла работа уже несколько дней. От Трубецкого Рылеев снова приехал к Бестужевым, где был уже и Торсон, и остался обедать. Потом Рылеев с Николаем Бестужевым ездили к Репину и привезли его к Бестужевым. Репин рассказал о положении в Финляндском полку — утешительного было мало: Моллер и Тулубьев изменили; один только Розен надежен. Рылеев просил Репина приложить все усилия к тому, чтобы сорвать утреннюю присягу в полку.

Днем Рылеев был дома, к нему приехали Оболенский, Иван Пущин, Каховский, Александр Бестужев. Ненадолго зашел Штейнгель. Даже Ростовцев заглянул…

«Я спросил у Рылеева, — пишет Оболенский, — какой же план действий, — он объявил мне, что Трубецкой нам сообщит, но что собраться должно на площади всем с тою ротою, которая выйдет первая».

После недолгого разговора Пущин и Рылеев надели шинели, собираясь ехать к Трубецкому. Все начали расходиться. Уже почти у дверей Рылеев в раздумье остановился, потом порывисто обнял Каховского и воскликнул: «Любезный друг! Ты сир на сей земле; ты должен собою жертвовать для Общества: убей завтра императора». Бестужев, Пущин и Оболенский тоже бросились обнимать Каховского. Каховский спросил, каким же образом это надо выполнить. Оболенский посоветовал ему надеть лейб-гренадерский мундир и проникнуть в Зимний дворец. Каховский нашел, что это план ненадежный, — успеют схватить. Тогда кто-то из присутствовавших предложил ему завтра ждать выхода императора у крыльца. Рылеев заметил, что можно убить царя и на площади. Каховский с сомнением покачал головой. «Если не убить Николая, — сказал Рылеев, — может последовать междоусобная война».

Рылеев, сказав это, не открыл всего своего плана. На следствии он признался, что ему

«часто приходило на Ум, что для прочного введения нового порядка вещей необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного императора не только не произведет никакой пользы, но, напротив, может быть пагубно для самой цели Общества, что оно разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии и что все это совокупно, неминуемо породит междоусобие и все ужасы народной революции. С истреблением же всей императорской фамилии, я думал, что поневоле все партии должны будут соединиться». Рылеев прибавил к этому, что «сего преступного мнения, сколько могу припомнить, я никому не открывал».

…Затем Рылеев и Пущин были у Трубецкого. Вечером у Рылеева было последнее перед восстанием собрание.

Батеньков, Корнилович и обер-прокурор Сената Краснокутский (тоже декабрист) привезли известие о назначении на 14-е — на завтра — необычно ранней переприсяги: они обедали у Сперанского, после обеда Сперанский совещался с ними в своем кабинете при закрытых дверях.

Запискам Завалишина трудно верить, но, может быть, и правдиво его сообщение о том, что 14-го «утром, прежде еще, нежели началось движение, Корнилович был послан к Сперанскому объявить ему о предстоящем перевороте и испросить его согласия на назначение его в число регентства. «С ума вы сошли, — отвечал Сперанский, — разве делают такие предложения преждевременно! Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне».

Итак — 13 декабря, канун восстания.

«Шумно и бурливо совещание накануне 14-го в квартире Рылеева, — вспоминал Михаил Бестужев. — Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения и распоряжения, слова без дел, за которые многие дорого поплатились… Чаще других слышались хвастливые возгласы Якубовича и Щепина-Ростовского… Зато как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к родине, — физиогномия его оживлялась, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава, и тогда, бывало, не устанешь любоваться им.

Так и в этот роковой вечер, решавший туманный вопрос: «To be, or not to be» («Быть или не быть». — *В.А.),* его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями. Я любовался им, сидя в стороне, подле Сутгофа, с которым мы беседовали… К нам подошел Рылеев и, взяв обеими своими руками руку каждого из нас, сказал:

— Мир вам, люди дела, а не слова! Вы не беснуетесь, как Щепин или Якубович, но уверен, что сделаете свое дело».

Батеньков сказал, что необходимо занять Петропавловскую крепость — ее пушки как раз напротив Зимнего дворца. Рылеев поддержал эту мысль, заметив, что лейб-гренадерам (он посмотрел на Булатова) это будет очень легко сделать.

— Надобно разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и идти ко дворцу, — с жаром говорил Якубович.

Это предложение сразу было всеми отвергнуто.

Батеньков сказал, что для сбора народа надо бы «в барабаны приударить», — этого будет достаточно.

Трубецкой считал, что нужно обдумать все — возможность победы и возможность проигрыша. А что, если неуспех? Ведь это вполне вероятно. Рылеев утвердительно качнул головой. Но, когда Трубецкой пошел дальше, начал говорить, что, может быть, не стоит слишком ретиво уговаривать солдат идти на площадь, что восстание вообще можно и отложить, что ему

следовало бы снова поехать в Киев и решительно переговорить с южанами, — тут Рылеев нахмурился и перебил речь диктатора:

— Нет. Теперь уже так оставить нельзя. Мы слишком далеко зашли. Может быть, завтра нас всех возьмут.

— Так других, что ли, губить для спасения себя? — сказал Трубецкой с неудовольствием.

— Да! Для истории, — отрубил Александр Бестужев.

— Так вы за этим-то гонитесь? — сказал Трубецкой.

— Мы на смерть обречены, — сказал Рылеев. — Я становлюсь в роту Арбузова солдатом.

В Трубецком проснулся старый воин. Отбросив сомнения, он стал вслух раздумывать.

— Умереть за свободу — почетно. Готов и я на это. Однако — не попытаться ли обойтись без кровопролития? Не вывести ли солдат из казарм без патронов?

— Что ж, можно и с холодным оружием справиться, — усмехнувшись, сказал Арбузов.

— А как по вас залп дадут? — воскликнул Александр Бестужев.

Некоторые декабристы Трубецкого поддержали. Но Щепин-Ростовский и Михаил Бестужев не согласились выводить солдат без патронов. В результате на следующий день половина восставших войск оказалась на Сенатской без боевых зарядов.

Три подпоручика лейб-гвардии Измайловского полка («коренного» в гвардии) — Кожевников, Андреев и Малютин (последний — племянник Рылеева) — говорили, что «солдаты полка их совершенно готовы отринуть вторичную присягу».

В десять часов вечера Рылеев и Пущин приехали к Николаю Бестужеву, который не мог быть на совещании у Рылеева. Здесь уже находились Репин, Торсон и Батеньков. Рылеев, пишет Батеньков, «объявил нам… что в завтрашний день, при принятии присяги, должно поднимать войска, на которые есть надежда, и как бы пи были малы силы, с которыми выйдут на площадь, идти с ними немедленно во дворец.

— Надобно навести первый удар, — сказал он, — а там замешательство даст новый случай к действию: итак, брат ли твой Михаил с своею ротою, или Арбузов, или Сутгоф — первый, кто придет на площадь, должен тотчас идти брать дворец.

Здесь Репин заметил Рылееву, что дворец слишком велик и выходов в нем множество, чтобы занять его одною ротою, что, наконец, Преображенский батальон, помещенный возле дворца, может в ту же минуту быть введен туда через Эрмитаж и что отважившаяся рота будет в слишком опасном положении, тогда как и без сего успех неверен, чтобы воспрепятствовать уходу царской фамилии.

— Если же, — прибавил он, — это необходимо, то недурно бы достать план дворца и по оному расположить действия, чтобы воспользоваться с выгодою малым числом.

— Мы не думаем, — сказал Рылеев, — чтобы могли кончить все действия одним занятием дворца, но довольно того, ежели Николай и царская фамилия уедут оттуда, и замешательство оставит его партию без головы. Тогда вся гвардия пристанет к нам, и самые нерешительные должны будут склониться на нашу сторону. Повторяю, что успех революции заключается в одном слове: дерзайте!

В бумагах Трубецкого сохранились тезисы «Манифеста к русскому народу», который предполагалось обнародовать после восстания от имени Сената. Манифест этот должна была вручить Сенату революционная делегация в составе Пущина и Рылеева.

В последние декабрьские дни над текстом манифеста работали несколько человек, — кроме Трубецкого и Рылеева — Пущин, Н. Бестужев, Штейнгель, Батеньков Штейнгель занимался этим даже 14 декабря, уже во время восстания. Ни одного полного текста этого Документа не сохранилось. Все было уничтожено. Батеньков на следствии отказался воспроизводить свой текст. Относительно тезисов, найденных у Трубецкого, он заявил на

следствии: «Это была программа 14-го, которую мы составили вместе с Рылеевым».

Манифест, будь он обнародован, твердо установил бы принципы будущего правления, давая руководящую нить Учредительному собранию — или Великому Собору (по терминологии Рылеева).

После революции управление страной должно было осуществляться Временным правительством, а потом — выборными органами. В состав Временного правительства декабристы намеревались ввести Сперанского, Мордвинова, Ермолова. От тайного общества — как революционный контролер — туда должен был войти Батеньков.

Тезисы манифеста объективно провозглашали республиканский строй, хотя само это слово (республика) в нем отсутствует. Он объявлял «уничтожение бывшего правления», «уничтожение права собственности, распространяемого на людей», «равенство всех сословий перед законом», «право всякому гражданину заниматься чем он хочет», «уничтожение монополий», «уничтожение рекрутства и военных поселений», «убавление срока службы военной для нижних чинов», «гласность судов», «уравнение прав всех сословий», «учреждение порядка избрания выборных в палату представителей народных».

Декабристы намеревались передать Великому Собору и свой конституционный проект именно как проект чтобы выборные от всех сословий могли на его основе свободно выработать свои законоположения.

Итак — вечером 13 декабря диктатором Северного общества Трубецким после долгих прений был утвержден следующий план действий: вывести войска, какие буд$_{е т}$ возможно, на Сенатскую площадь, принудить сенаторов низложить правительство; первая же из частей, явившаяся на площадь, должна пойти и взять Зимний дворец. Если же поднимутся Гвардейский экипаж и Измайловский полк, то Арбузов и Якубович должны вести их также в Зимний дворец. Без шума должно захватить и поместить под надежную охрану царскую семью. Каховский же, действуя как бы лично от себя, должен будет уничтожить Николая I. Лейб-гренадеры во главе с полковником Булатовым должны взять Петропавловскую крепость и навести на Зимний заряженные пушки.

Всего несколько часов оставалось до решительного момента.

Не спал Николай, полный страха, неуверенности.

Не сомкнул глаз в эту ночь и Рылеев, у которого уверенности в победе также не было, но который шел на гибель с сознанием полной правоты своего дела.

11

«Наконец наступило 14 декабря, роковой день! — восклицает в своих записках Николай I. — Я встал рано и, одевшись, принял генерала Воинова, потом вышел в залу… где собраны были все генералы и полковые командиры гвардии… Прочитал им духовную покойного императора Александра и акт отречения Константина Павловича. Засим… приказал ехать по своим командам и привесть к присяге….

Вскоре засим прибыл ко мне граф Милорадович с новыми уверениями совершенного спокойствия. Засим был я у матушки, где его снова видел, и воротился к себе…

Спустя несколько минут после сего явился ко мне генерал-майор Нейдгарт, начальник штаба гвардейского корпуса, и, взойдя ко мне совершенно в расстройстве, сказал:

— Ваше величество! Московский полк в полном восстании; Шеншин и Фредерикс тяжело ранены, и мятежники идут к Сенату…

Меня весть сия поразила как громом, ибо с первой минуты я не видел в сем первом ослушании действия одного сомнения, которого всегда опасался: но, зная существование заговора, узнал в сем первое его доказательство».

Так началось утро 14 декабря 1825 года для нового самодержца.

Он еще ничего не слышал о Рылееве.

Рылеев ночью — между двенадцатью и часом — посылает Александра Бестужева и Якубовича в Гвардейский экипаж. Отправляет записку Булатову с просьбой пойти ночью же к лейб-гренадерам. Сам едет в Финляндский полк. Около 5 часов утра у Рылеева появился Оболенский — они условились о дальнейших действиях.

После его ухода Рылеев посылает Булатову вторую записку — напоминание, что он должен быть у лейб-гренадеров не позднее 7 часов утра. Около 6 утра к Александру Бестужеву (он жил в одной из комнат квартиры Рылеева) пришел Якубович и сказал, что он «передумал» идти к морякам. Это сильно путало план восстания. Бестужев объявил об измене Якубовича Рылееву. После этого у Якубовича — в его квартире на Гороховой — был Булатов. Узнав, что Якубович отказался поднимать моряков, он явился к Рылееву и сказал, что если войск будет мало, то он «себя марать» не станет — нужны, мол, артиллерия, кавалерия… Рылеев сказал ему, что он в таком случае только «маска» революционера.

Штейнгель, всю ночь работавший над манифестом, спустился к Рылееву сверху (он жил у Прокофьева), чтоб прочесть написанное. «Мне хотелось, — говорит Штейнгель, — показать Рылееву, что чем-нибудь да полезен им мог быть».

В 7 часов утра у Рылеева собрались Трубецкой, И. Пущин, Каховский, Оболенский. Каховский был тут же послан вместо Булатова к лейб-гренадерам; он должен был соединиться там с Сутгофом и действовать вместе с ним. Вместо Якубовича решено было послать в Гвардейский корпус Н. Бестужева.

В начале восьмого прибыл Репин, он сообщил, что «в Финляндском полку офицеров потребовали к полковому командиру и что они присягают особо от солдат».

Неожиданно зашел Ростовцев, при общем настороженном молчании он сказал, что большая часть гвардии уже присягнула. Едва проговорив эти слова, он исчез.

Оболенский поехал по казармам гвардейских полков, чтобы узнать обстановку.

К Рылееву в это время прибыл Николай Бестужев. Он должен был ехать в Гвардейский экипаж, где уже успешно действовал Арбузов.

— Я же, — сказал Рылеев, — с своей стороны, еду в Финляндский и лейб-гренадерский полки, и если кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с

ружьем в руках.

— Как, во фраке?

— Да, а может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.

— Я тебе это не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало.

Рылеев задумался.

— В самом деле, это слишком романически, — сказал он, — будем действовать просто, без затей…

Бестужев рассказывает, что в то время, как они хотели выйти на улицу, «жена его выбежала к нам… и, заливаясь слезами, едва могла выговорить:

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его, я знаю, что он идет на погибель».

Рылеев старался успокоить жену.

«Она не слушала нас, — продолжает Бестужев, — но в это время дикий, горестный и испытующий взгляд больших черных ее глаз попеременно устремлялся на обоих, — я не мог вынести этого взгляда и смутился. Рылеев приметно был в замешательстве. Вдруг она отчаянным голосом вскрикнула:

— Настенька, проси отца за себя и за меня! Маленькая девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних объятий и убежал».

Рассыльный по делам «Полярной Звезды», Агап Иванович, вспоминал, что «утром 14 декабря часу в восьмом Кондратий Федорович ушел из дому в старой енотовой шубе, простой курчавенькой фуражке и неформенном платье. Никакого оружия при нем не было».

Рылеев заехал за Пущиным. Они отправились в полки. По дороге встретили Батенькова и сказали ему, что надо быть на площади.

«14-го декабря прежде присяги был я у ворот Московского полка вместе с Пущиным, но в роты не входили мы… Приезжали же узнать, что делается. Потом проезжали мы мимо Измайловского полка к казармам экипажа», — пишет Рылеев.

Это показание тут же уточнено: «Офицерам разных полков, принадлежавшим к Обществу, я передавал план Трубецкого и приказание не допускать солдат к присяге, стараться увлечь их за собою на Сенатскую площадь и там ожидать приказаний князя Трубецкого».

Рылеев и Пущин едут на Сенатскую площадь — там пусто. Рассвет еще не наступил. Холодно. Метет снег. Окна Сената темны. Сенаторы уже присягнули Николаю и разъехались… некому будет предъявлять революционный манифест…

Рылеев вернулся домой.

Дома его ждал еще один удар: пришел Михаил Пущин и объявил, что он не может привести на площадь Коннопионерный эскадрон.

В 9 часов утра Рылеев отправил Александра Бестужева в Московский полк, — тот заехал сначала к Якубовичу и попытался уговорить его действовать — Якубович не поддался на уговоры и остался дома.

В это же время Трубецкой вызвал к себе Рылеева и Пущина и объявил, что он теперь не может считать свой план действительным, поскольку в казармах спокойно, Сенат присягнул, а Зимний дворец еще не взят. О внезапности переворота теперь и речи быть не может. Теперь, в случае восстания, может начаться кровопролитие, будут ненужные жертвы, а на успех надежды мало…

У Трубецкого был в руках свежеотпечатанный царский манифест.

— Присяга, судя по всему, пройдет благополучно, — сказал он.

— Однако ж вы будете на площади, если будет что-нибудь? — спросил его Пущин.

— Да что ж, если две какие-нибудь роты выйдут, что ж может быть? — развел руками Трубецкой.

— Мы на вас надеемся, — строго сказал Пущин. Трубецкой встретил печальный взгляд Рылеева, крякнул от смущения и понурил голову. Рылеев и Пущин вышли…

От Трубецкого Рылеев и Пущин шли пешком через Сенатскую площадь. И опять никого… Они потоптались возле конной статуи Петра. Прошлись по Адмиралтейскому бульвару. Вышли на Дворцовую площадь. Никого… Везде тихо.

Уже было около 11 часов утра.

Они не торопясь шли по набережной Мойки. И вдруг у Синего моста встретился им Якубович, в парадной форме, в шляпе с белым султаном. Он сказал, что Михаил и Александр Бестужевы, а также князь Щепин-Ростовский и он, Якубович, вывели на Сенатскую площадь две роты московцев. Когда полк шел по Гороховой, мимо квартиры Якубовича, он выбежал навстречу, подняв свою шляпу на конце сабли, — Михаил Бестужев передал ему, как старшему по чину, командование. На Сенатской площади полк построен в каре между зданием Сената и памятником Петру.

— А что же вы здесь? — спросил Пущин.

— У меня разболелась голова, и я иду домой, — ответил Якубович. — Но я скоро вернусь!

Дома Рылеев застал Штейнгеля. Тот спросил, что теперь делать с манифестом, не уничтожить ли, — кажется, он теперь не нужен… Рылеев попросил его все же пока манифест сохранять… Пока. Может, еще пригодится.

Рылеев взял солдатский подсумок с перевязью, надел его прямо на сюртук и через несколько минут был уже на Сенатской площади.

«Я нашел Кондратия Федоровича там, — пишет Оболенский, — он надел солдатскую сумку и перевязь и готовился стать в ряды войск».

В первые мгновения Рылеев поверил в самый счастливый исход дела, — что вот сейчас со всех сторон начнут появляться революционные полки — Измайловский, Финляндский, Гренадерский, Гвардейский экипаж… Что Трубецкой выйдет перед фронтом и отдаст нужные приказания… Поэтому, слагая с себя всякую роль руководителя, Рылеев решает слиться с солдатской массой, стать солдатом революции.

Может быть, вспомнился ему пример Дмитрия Донского, вставшего в ряды пеших ратников во время Куликовской битвы…

Но время шло. Трубецкого не было. Уже начали появляться полки, верные императору. У манежа Конной гвардии были выстроены семеновцы. У дома князя Лобанова — кавалергарды. Батальон павловских гренадер у Крюкова канала запер Галерную улицу. Рота преображенцев блокировала Исаакиевский мост, соединявший Сенатскую площадь с Васильевским островом.

Около часу дня московцы ружейным огнем отбили атаку Конной гвардии.

Биографы Рылеева писали всегда, что он пробыл на Сенатской площади чуть ли не первые только минуты восстания, а потом то ли отправился разыскивать Трубецкого, то ли просто исчез неизвестно куда. Тщательное изучение источников дает совсем другую картину.

Рылеев решил, что необходимо поторопить лейб-гренадеров, и отправился к ним в казармы. На пути ему встретился Корнилович, который сказал, что Сутгоф со своей ротой уже идет на площадь. Рылеев вернулся и снова встал в солдатский строй.

Залпы московцев услышаны были в казармах Гвардейского экипажа. Петр Бестужев закричал: «Ребята. что вы стоите? Слышите стрельбу? Это наших бьют!» Николай Бестужев

скомандовал: «За мной! На площадь!» — и побежал впереди экипажа, — он увлек около 1100 матросов. В это же время 1-я фузелерная рота лейб-гренадеров под командой Сутгофа перешла Неву, прорвала строй конногвардейцев и примкнула к московцам, которые встретили их громким «ура!». На Исаакиевском мосту уже стояли три с половиной роты Финляндского полка, ожидающие команды идти на соединение с восставшими. Гвардейский экипаж прорвал заслон павловцев на Галерной улице, вышел на площадь и встал колонной к атаке между московцами и строящимся Исаакиевским собором. «Когда я пришел на площадь с гвардейским экипажем, уже было поздно, — пишет Н. Бестужев. — Рылеев приветствовал меня первым целованием свободы и после некоторых объяснений отвел меня в сторону и сказал:

— Предсказание наше сбывается, последние минуты наши близки, но это минуты пашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.

Это были последние слова Рылеева, которые мне были сказаны».

Рылеев до прибытия Бестужева с моряками видел, как собирались вокруг площади толпы народа, как рабочие, строившие Исаакиевский собор, кидали поленья в свиту царя. Московцы дали залп по подъехавшему Николаю I («Пули просвистели мне чрез голову, — говорит он в своих записках, — и, к счастию, никого из нас не ранило»).

Рылеев участвовал в отбитии первой атаки конногвардейцев. Он видел, как в Милорадовича, подскакавшего на лошади к каре и пытавшегося уговорить солдат разойтись, выстрелил Каховский, — лошадь понесла смертельно раненного генерала прочь… Это было около 12 часов дня. В начале второго часа дня перед московцами появилась пышная духовная делегация — митрополиты Серафим и Евгений, одетые в бархат, в митрах, с поднятыми крестами, — их сопровождали два дьякона в расшитых золотом парчовых стихарях. Серафим повел речь о законности присяги Николаю, о ненужности и греховности братоубийства… «Какой ты митрополит, — кричали ему солдаты, — когда на двух неделях двум императорам присягнул… Ты изменник, ты дезертир… Не верим вам, подите прочь!.. Это дело не ваше: мы знаем, что делаем». Каховский потребовал, чтобы митрополит покинул площадь. «Христианин ли ты? Поцелуй хотя крест», — сказал Серафим. Каховский поцеловал крест.

В это время послышались возгласы «ура!» — это с Невы шли лейб-гренадеры, а с Галерной — моряки. Митрополиты бросились бежать, карета их осталась возле Невы, там была свалка — лейб-гренадеры пробивались сквозь заслон.

Трубецкого все не было.

И Рылеев не выдержал: он бросился за угол Сената, па Английскую набережную — в дом Лавалей, где жил Трубецкой. Окна кабинета Трубецкого выходят на Неву — ему видно, должно быть, что через Неву перешли лейб-гренадеры, что на мосту стоит Финляндский полк; не может он не слышать — это ведь в двух шагах! — выстрелов, шума, криков… Оказалось, что Трубецкого нет дома…

Рылеев вернулся на площадь.

Нет, не время еще быть простым солдатом, — нужно делать распоряжения. У восставших нет кавалерии. Может быть, отказ Михаила Пущина — временная, минутная слабость? Может быть, он все-таки решится и приведет своих коннопионеров?

«Несмотря на высказанное мною накануне дня присяги, — говорит в своих записках М. Пущин, — Рылеев, не знаю почему, все еще полагал, что я с эскадроном приму участие в восстании, и пока мы ожидали начальника дивизии, который должен был приводить нас к присяге, послал ко мне сперва генерального штаба офицера Палицына, что Московский полк на Сенатской площади, потом Коновницына, что туда же прибыл Лейб-гвардии гренадерский и Гвардейский экипаж».

Тем временем коннопионеры были приведены к присяге и отправлены на Сенатскую

площадь, но уже против восставших.

Михаил Пущин от волнения почувствовал себя дурно, сказался больным и остался дома — все-таки не хотел он вести эскадрон против хотя бы брата Ивана, находившегося вместе с Рылеевым среди мятежных войск.

Наконец Рылеев сам бросился на квартиру к Пущину. Тот лежал в постели.

— Присягнули ли вы? — спросил Рылеев.

— Да, — отвечал мнимый больной слабым голосом.

— Вы не исполнили принятых на себя обязательств, — сказал Рылеев. — Объявляю вам, что от этого почти все потеряно.

Рылеев много раз покидал площадь, пробирался сквозь окружающие ее войска и толпы народа и потом возвращался назад.

Невозможно в точности проследить, где он побывал в течение того времени, когда восставшие войска находились на площади.

Розен пишет, что «Рылеев как угорелый бросался во все казармы, ко всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался назад с пустыми руками… Он деятельнее всех других собирал силы со всех сторон… искал отдельных лиц… Он только не мог принять начальства над войском, не полагаясь на свое умение распоряжаться, и еще накануне избрал для себя обязанность рядового».

Около трех часов дня прибыли на Сенатскую площадь еще 900 лейб-гренадеров — под командой поручика Панова — они пробились сквозь заграждение правительственных войск и выстроились колонной к атаке ближе к Неве. За ними следом появилась артиллерия — 36 орудий. Четыре из них были выдвинуты против восставших — одно от Конногвардейского манежа и три со стороны Адмиралтейского бульвара.

Около десяти конных атак предшествовало выстрелам картечью (шесть атак Конной гвардии генерала А.Ф. Орлова и атаки Кавалергардского и Коннопионерного полков).

Рылеев не мог этого не видеть.

Возвращаясь к площади после трех часов дня, он уже не смог пробраться к своим. Он был, очевидно, в толпе народа, когда раздались орудийные залпы. Он видел страшное действие картечи…

Он почти уверен был, что Бестужевы, Пущин, Кюхельбекер, Корнилович и другие его соратники погибли, — площадь была устлана трупами, восставшие в беспорядке отступали на лед Невы, по Английской набережной, по Галерной улице, — но и там настигала их картечь. Рылееву казалось, что и сам он убит, растерзан, втоптан в кровавый снег…

Потом Рылеев узнал, что ни один из бывших под огнем тридцати декабристов не был ни убит, ни даже ранен. У Пущина шуба оказалась во многих местах пробитой картечью, но сам он не был даже оцарапан. Словно кто-то отводил от них пули…

Все они были как бы сохранены судьбой не только для будущих страданий — в крепостях, на следствии, в Сибири, на Кавказе, но и для того огромного и благотворного влияния на русское общество, которое они оказывали — каждый — до самой своей смерти.

Пока Рылеев добрался до дома — а идти было совсем недалеко, — его несколько раз сбивали с ног бегущие мужики и солдаты; он падал в грязный снег, поднимался и шел дальше. Дома жена посмотрела в его искаженное душевной мукой лицо и залилась слезами. Он, не сняв грязной и порванной шубы, стал ходить по комнате взад и вперед. У столика, возле окна, на своем обычном месте, уже сидел Каховский, усталый, но с довольно невозмутимым видом.

Вскоре появился Штейнгель. Пришли Пущин и Ор-жицкий. Каховский начал рассказывать о своих действиях: как он разговаривал с митрополитом, стрелял в Милорадовича и Стюрлера, как ранил кинжалом свитского офицера. Он вынул кинжал и протянул Штейнгелю: «Вы

спасетесь, а мы погибнем, возьмите на память обо мне этот кинжал». Штейнгель взял кинжал и поцеловал Каховского.

Пущин рассказал, как все побежали от картечи, как его в Галерной втолнули в какую-то лавочку. «Я упал, — сказал он, — и сам не понимаю, как меня не убили».

Около семи часов вошел Батеньков с вопросом: «Ну что?» Тогда Пущин, «возвысив голос и подняв руки, с тоном сильной укоризны» (как пишет Штейнгель) перебил его:

— Ну что вы, подполковник, вы-то что?! Батеньков, ничего не ответив, исчез.

— Делать нечего, — сказал Пущин. — Пойти скорее домой, по крайней мере, успокоить своих, что я жив еще.

Среди разговора Рылеев обратился к Оржицкому с просьбой съездить в Киев, отыскать Сергея Муравьева-Апостола и сказать ему, что они полагали нужным действовать, но что все пропало, так как им изменили Якубович и Трубецкой.

«Тронутый его положением, — пишет Оржицкий, — обещал ему не оставить его семейства».

Рылеев поминутно заходил к жене. Возвращался — перебирал свои бумаги, многие рвал и бросал в огонь камина. Часть бумаг сложил в папку и тщательно перевязал ее.

Спросил — не видел ли кто Александра Бестужева, не убит ли он. Что-то домой не возвращается…

Около восьми вечера зашел Булгарин. Не слушая его разговоров (Булгарин начал было что-то говорить о «пяти ранах» Милорадовича), Рылеев взял папку и вышел в переднюю; Булгарин последовал за ним.

— Тебе здесь не место, — сказал Рылеев. — Ты будешь жив, ступай домой! Я погиб! Прощай! Не оставляй жены моей и ребенка.

Рылеев протянул Булгарину папку с просьбой сохранить ее. В ней были неизданные стихи («На смерть Чернова» и другие).

В это время в Зимнем дворце был допрошен взятый прямо на Сенатской площади Сутгоф. Сутгоф назвал Рылеева, Одоевского и Александра Бестужева.

Генерал-адъютант Левашов записал: «Рылеев имеет жительство у Синего мосту в доме Американской компании, и, по-видимому, у него заговор делался».

Николай приказал доставить Рылеева во дворец.

В дом Российско-Американской компании был отправлен флигель-адъютант Дурново — он был когда-то другом семьи Муравьевых, М.Ф. Орлова, да и после 14 декабря не стал карьеристом, — он уклонился от царских милостей и погиб в действующей армии в 1828 году при штурме Шумлы. Однако ему пришлось арестовывать не только Рылеева, но и своего приятеля со времен 1812 года — Михаила Орлова.

Ожидая Рылеева, Николай I продолжал писать письмо к брату Константину, начатое в этот вечер (оно будет окончено 16 декабря): «Дорогой, дорогой Константин! Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценою, боже мой! Ценою крови моих подданных… У нас имеется доказательство, что делом руководил некто Рылеев, статский, у которого происходили тайные собрания, и что много ему подобных состоят членами этой шайки; но я надеюсь, что нам удастся вовремя захватить их».

Дурново застал Рылеева уже в постели — объявил ему, что прибыл «по приказанию самого государя», и приказал собраться как можно быстрее. Пока Рылеев одевался, Дурново взял бумаги в его кабинете, из тех, какие Рылеев счел возможным оставить на этот случай.

Дурново, Рылеев и конвой — шестеро солдат-семеновцев — сели в сани. Мойка, Невский проспект, Дворцовая площадь… То и дело навстречу — конные пикеты. На перекрестках костры, возле них солдаты с ружьями…

«В это мгновение ко мне привели Рылеева, — записал, продолжая свое письмо, Николай. — Это — поимка из наиболее важных!»

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

В генерал-адъютантской комнате Зимнего дворца, куда Рылеева привели в половине двенадцатого ночи, сидели барон Толь и граф Бенкендорф. Оба они — в блестящих мундирах. Рылеев — в черном фраке, черном жилете и черном шейном платке — выглядел траурно. К тому же черные глаза его смотрели строго и печально, щеки впали. Только два арестованных декабриста успели до него пройти через эту комнату — Сутгоф и Щепин-Ростовский, оба военные.

Рылеев был спокоен. Скорбь о провале заветного дела сковала его словно лед. На генерал-адъютантов Толя и Бенкендорфа он смотрел с холодным равнодушием. Что им нужно узнать? Им ведь все известно — Ростовцев позаботился об этом. Нет, Рылеев не мог ошибиться на этот счет. После всеобщей присяги Николаю он, Рылеев, и его друзья по Северному обществу и без восстания оказались бы тут. А Ростовцев, Трубецкой, Якубович… В случае успеха восстания они — предателями счел их Рылеев — были бы судимы судом революционным.

По признанию делопроизводителя Следственной комиссии Боровкова, Николаи имел сведения о членах Северного общества, но не хотел начинать царствование с арестов (они последовали бы после); он надеялся начать его и без крови. Бестужевы, Каховский, сам Рылеев именно о том и говорили своим соратникам, что лучше быть взятым с оружием, в борьбе, чем сгинуть незаметно, быть тайно исторгнутым из общества, да так, что никто и не узнает, за какие дела…

Рылеев понял, что ему предстоит долгая и тяжелая борьба, что его не ждет ничего, кроме гибели. Нет, смерти он не боялся. Его пугало другое. Наверняка Николай и все эти Толи и Бенкендорфы будут стараться представить восстание Северного общества бессмысленным бунтом кучки злодеев…

После краткой беседы (ему было объявлено, что только чистосердечные признания могут облегчить его участь) Рылеева усадили за отдельный столик, на котором были чистая бумага, чернила и перо. Нужно было писать показания. Он взял перо. Толь и Бенкендорф не спускали с него глаз. Трудно было Рылееву ни в чем не ошибиться. Но уже в этом первом своем показании наметил он кое-какие линии своей тактики — еще семьдесят семь раз за семь месяцев крепостного заключения придется ему писать вот на таких нумерованных листах. В конце концов, когда следствие уже окончится, председатель комиссии отметит в донесении Николаю: «Рылеев не во всем сознаётся».

Рылеев мог себе представить, кого назвал Ростовцев. Рылеева, конечно. Своего друга — князя Оболенского. Двух Бестужевых — Александра и Николая. Пущина, Каховского, Одоевского, Сутгофа, Никиту Муравьева, Трубецкого, Кюхельбекера. Отрицать принадлежность их к Обществу не имеет смысла. О цели Общества — из-за чего вышли на площадь — нет нужды распространяться сразу — это слишком важная вещь, — нужно время, чтоб обдумать ответ…

«Положено было выйти на площадь и требовать Константина Павловича, — пишет Рылеев, — как императора, которому уже присягали, или, по крайней мере, его приезда в Петербург, полагая по разным слухам, что его задержали поляки». Вот как! Поляки! Никаких таких слухов не было… Были другие — что Константин арестован Николаем и т. п.

В середине своего показания Рылеев клеймит Трубецкого: «Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади. Он не явился, и, по моему мнению, это главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный дань случились… Опыт показал, что мы мечтали, полагаясь на таких людей, каков князь Трубецкой».

Это не для следствия, а для себя. Рылеев жалуется — и кому! — на то, что по вине

Трубецкого революция не удалась…

Трубецкой желает, вероятно, устраниться, очиститься… Нет, придется и ему взять на себя немалый груз: «Страшась, чтобы подобные же люди не затеяли чего-нибудь подобного на Юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует Общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных».

Ничего этого «пояснять» следствию было не нужно — Майборода, Шервуд и Бошняк уже сделали это. Николай знал про тайное общество «около Киева». Но пусть изменник Трубецкой повертится! Пусть предатель и переметчик (так казалось разгоряченному воображению Рылеева) попробует доказать, что он «чист».

Рылеев не просит пощады. Наоборот, он дает понять, что он — глава восставших («посещали меня многие мои знакомые»; именно у него говорили «единогласно» члены Общества, а потом «все совокупно» решили «не присягать» и «выйти на площадь и требовать»). И как глава, как главный виновник, он просит «одной милости — пощадить молодых людей, вовлеченных в Общество». И тут же необдуманно призывает (и кого!) «вспомнить, что дух времени — такая сила, пред которою они не в состоянии были устоять». Дух времени! То есть железная логика истории.

Барон Толь прочитал все это. Он решил показать Рылееву, кем считает следствие как его самого, так и его единомышленников.

— Не вздор ли затевает молодость? — сказал он. — Не достаточны ли для нее примеры новейших времен, когда революции затевают для собственных расчетов?

Рылеев не стал спорить. Как пишет Толь, он «весьма холодно отвечал: невзирая на то, что вам всех виновных выдал, я вам скажу, что я для счастия России полагаю конституционное правление самым выгоднейшим и остаюсь при сем мнении».

Толь возразил: «С нашим образованием выйдет это совершенная анархия», — и тут же спохватился: «дух времени» и его с толку сбил, — значит с «хорошим», как скажем в Англии, «образованием» неплохо б было, а? — без самодержавия! Рылеев усмехнулся.

Допрос был окончен.

Но Рылеева ждала большая неожиданность — в соседней комнате, куда его вывел Толь, он увидел императора, который стоял, расставив ноги в блестящих ботфортах. Рылеев встретился с ним взглядом.

Какую тактику избрал царь в разговоре со своим главным врагом, мы не знаем. Ясно одно — он понял с первой же минуты, что Рылеева нельзя запугать. Вызови в нем злость, оскорби его — он замкнется. Грозить ему смертью бесполезно. Кандалами — того менее…

Очевидно, после нескольких осторожных фраз Николай нашел подходящую к этому случаю роль — нет, он не грозный, карающий монарх, он — первый гражданин Российской империи, человек, отец семейства.

В книге П.Е. Щеголева о Каховском (1919) — в главе с выразительным названием «Маски императора» — есть точная характеристика царя в период следствия над декабристами: «Первые дни, первые месяцы своего царствования император всероссийский Николай Первый всю энергию, все способности своего духа употребил на розыски по делу декабристов. Всю жизнь в нем крепко и прочно сидел сыщик и следователь… Ни один из выбранных им следователей не мог и сравниться с ним. Действительно, Николай Павлович мог гордиться тем, что материал, который лег в основу следствия, был добыт им и только им на первых же допросах. Без отдыха, без сна он допрашивал в кабинете своего дворца арестованных, вынуждал признания… За ничтожнейшими исключениями, все декабристы перебывали в кабинете дворца перед ясными очами своего царя и следователя. Первые сообщения по делу каждый из них делал ему или генералу, сидевшему перед кабинетом, снимавшему допросы и тотчас же

докладывавшему их государю. Иногда государь слушал эти допросы, стоя за портьерами своего кабинета.

Одного за другим свозили в Петербург со всех концов России замешанных в деле и доставляли в Зимний дворец. Напряженно волнуясь, ждал их в своем кабинете царь и подбирал маски, каждый раз новые для нового лица. Для одних он был грозным монархом, которого оскорбил его же верноподданный, для других — таким же гражданином отечества, как и арестованный, стоявший перед ним; для третьих — старым солдатом, страдающим за честь мундира; для четвертых — монархом, готовым произнести конституционные заветы; для пятых — русским, плачущим над бедствиями отчизны и страшно жаждущим исправления всех зол. А он на самом деле не был ни тем, ни другим, ни третьим: он просто боялся за свое существование и неутомимо искал всех нитей заговора с тем, чтобы все эти нити с корнем вырвать и успокоиться».

Это был актер с отличными внешними данными. Декабрист Гангеблов пишет, что во время бесед с арестованными успешности дознаний «много, конечно, помогала и самая наружность государя, его величавая осанка, античные черты лица, особливо его взгляд: когда Николай Павлович находился в спокойном, милостивом расположении духа, его глаза выражали обаятельную доброту и ласковость; но когда он был в гневе, те же глаза метали молнии».

Рылеева Николай решил взять «добром», с самого начала памятуя, что это — лютейший враг его, недостойный иного наказания, кроме смерти. Он не сломил Рылеева. Но на милости его сердце Рылеева не могло не отозваться, тем более что он на них никак не рассчитывал. Что ж, добро есть добро, в особенности переписка с женой из такого места, где люди годами не слышат голоса, не видят клочка бумаги. А чистое белье из дому — это ли не благо…

Беседа длилась недолго. Всего несколько минут. В полночь Рылеев был отправлен в крепость с предписанием императора коменданту, генералу от инфантерии Александру Яковлевичу Сукину: «Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский равелин, но не связывая рук; без всякого сообщения с другими; дать ему и бумагу для письма и что будет писать ко мне собственноручно — приносить ежедневно. Николай».

Многих декабристов заковывали в ручные и ножные кандалы. Многие попадали в такие страшные казематы с мокрицами, что одиночка Алексеевскою равелина показалась бы им человеческим жильем…

Одноногий генерал Сукин, старый служака, относившийся ко всем заключенным с ровным и неизменным уважением, передал Рылеева плац-майору — полковнику Егору Михайловичу Подушкину, невысокому и плотному человеку с лицом застарелого пьяницы, и тот, завязав Рылееву глаза черным платком, повел его в Алексеевский равелин, где после тщательного обыска сдал его начальнику равелина майору Лилиенанкеру, дряхлому и тощему шведу. Швед отвел его в камеру № 17 и со словами «Божья милость всех нас спасет» запер дверь и удалился.

2

Алексеевский равелин — секретная тюрьма, предназначенная для наиболее важных преступников. Одноэтажное здание в виде треугольника, с крошечным садиком внутри: две березки, куст черной смородины, травка, дорожка для прогулок в несколько шагов… Окна большинства камер упираются в стену. Некоторые выходят на Неву, например, там, где находились сначала Пестель, а потом Лорер.

В камере — кровать с тюфяком, двумя подушками и шерстяным одеялом, стол, жесткий стул-кресло, деревянная кадка-параша. Печь топится из коридора. Через глазок в двери караульный может обозреть все небольшое пространство камеры, однако за печью есть темный уголок. Стены выкрашены желтой краской, потолок побелен — ремонт, как видно, был совсем недавно.

Кормили в Алексеевском равелине лучше, чем в «большой крепости», даже ложки были серебряные (однако ножи и вилки и здесь не полагались). Конечно, по особому распоряжению, любого арестанта в равелине могли посадить на хлеб и воду (как, например, Михаила Бестужева).

У Рылеева здесь был обед из четырех-пяти блюд, разрешено было ему и вино виноградное.

В Алексеевском равелине сидели: в № 13 — Сергей Муравьев-Апостол, № 14 — Михаил Бестужев, № 15 — Николай Бестужев, № 16 — Александр Одоевский. № 17, где находился Рылеев, был крайний. Оболенский сидел здесь же в особой камере — «офицерской».

«Мало-помалу, — пишет Николай Бестужев, — мы с братом восстановили сношения посредством выдуманной им азбуки звуками в стену; мы объяснялись свободно. Я хотел переговорить с Рылеевым, но все мои попытки дать понятие о нашей азбуке Одоевскому, между нами сидевшему, были безуспешны… Это препятствие много повредило нашему делу».

За все семь месяцев заключения в равелине Рылееву удалось повидать только Николая Бестужева (не считая двенадцати очных ставок с декабристами в мае 1826 года в присутствии членов Следственной комиссии). Однажды Рылеев шел на прогулку; в тот миг, когда он проходил мимо камеры № 15, дверь ее отворилась — это ефрейтор выносил посуду. «Мы увидели друг друга, — вспоминает Бестужев, — этого довольно было, чтоб вытолкнуть ефрейтора, броситься друг другу на шею и поцеловаться после столь долгой разлуки. Такой случай был эпохою в Алексеевской равелине, где тайна и молчание, где подслушивание и надзор не отступают ни на минуту от несчастных жертв, заживо туда похороненных».

Утром в каждую камеру заходил Лилиенанкер, в зеленом сюртуке с красным воротом и такими же обшлагами. «Согнувшись, с заложенными за спину руками, — пишет Лорер, — с открытым ртом, где торчали еще два желтых огромных зуба, шел он прямо на вас, с единственным вопросом: «Как ваше здоровье?» — и, не дожидаясь никакого ответа, выходил».

Он приносил Рылееву нумерованную бумагу, «вопросные пункты» Следственной комиссии.

Роль прислуги у Рылеева и других заключенных равелина выполнял солдат Никита Нефедьев. Он подавал умываться, приносил еду, убирал посуду. Это был маленького роста человек «с выражением на лице неизъяснимой доброты», — как пишет Михаил Бестужев. Он шепотом разговаривал с арестантами, жалел их, старался услужить чем-нибудь. Но декабристы его услужливостью пользовались осторожно, так как его легко было погубить. Однажды в ответ на какую-то просьбу Михаила Бестужева он сказал: «Пожалуй, можно. Но за это нашего брата гоняют сквозь строй». И все же — «можно»!

Когда арестанты спрашивали Нефедьева, как его имя, он отвечал: «Зачем, ваше высокоблагородие, вам знать мое имя. Я человек мертвый».

«Я готов был упасть на колени перед таким нравственным величием одного из ничтожных существ русского доброго элемента, — пишет Михаил Бестужев, — даже не развращенного тюремным воспитанием».

Позже — в 1830 или 1831 году, — когда в крепости сидели польские революционеры, «они его не пощадили», пишет Бестужев. Нефедьев взялся выполнить какую-то просьбу, был пойман, наказан шомполами и умер в госпитале.

Каким-то образом, вероятно через Нефедьева, Рылеев узнал, что в «офицерской» камере сидит князь Евгений Оболенский. 21 января 1826 года, в день Святого Евгения, Рылеев попросил Нефедьева передать Оболенскому крошечный обрывок бумаги со стихами — это было поздравление с днем именин:

Прими, прими, святый Евгений,
Дань благодарную певца,
И слово пламенных хвалений,
И слезы, катящи с лица.
Отныне день твой до могилы
Пребудет свят душе моей:
В сей день твой соимянник милый
Освобожден был от цепей.

«При чтении этих немногих строк радость моя была неизъяснима, — говорит Оболенский. — Теплая душа Кондратия Федоровича не переставала любить горячо, искренно». Оболенский не нашел способа ответить Рылееву.

Через несколько месяцев, уже в июне, Никита Нефедьев принес Оболенскому два кленовых листа и положил в дальний угол, куда не проникал взгляд часового. «Я спешу к заветному углу, — пишет Оболенский, — подымаю листья и читаю:

Мне тошно здесь, как на чужбине,
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст криле мне голубине,
Да полечу и почию.
Весь мир как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон.
Творец! ты мне прибежище и сила,
Вонми мой вопль, услышь мой стон:
Приникни на мое моленье,
Вонми смирению души,
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши.

Кто поймет сочувствие душ… тот поймет и то, что я почувствовал при чтении этих строк. То, что мыслил, чувствовал Кондратий Федорович, сделалось моим».

Оболенский не мог не заметить, что это стихотворение, в котором использованы мотивы пятьдесят четвертого псалма, напоминает «Исповедь Наливайки», где вожак народного

восстания берет на себя «грех жестокий, грех ужасный» ради того, «чтоб только русскому народу вновь возвратить его свободу», — и он готов «на душу принять» ради того же «грехи татар, грехи жидов, отступничество униатов, все преступления сарматов». Неволя для него — ад, свобода — рай.

В первом своем показании Рылеев пишет: «Я прошу одной милости — пощадить молодых людей, вовлеченных в Общество». И в первом письме к Николаю I из крепости: «Прошу об одной милости: будь милосерд к моим товарищам: они все люди с отличными дарованиями и с прекрасными чувствами». В стихотворении, написанном на кленовых листьях, — к Творцу: «Пошли друзьям моим спасенье». Он хотел бы погибнуть один за всех. Искупить их «грех ужасный», пусть и мнимый.

Это послание Рылеева к Оболенскому — одно из самых трагических стихотворений в русской поэзии.

«Его вопиющий голос вполне отразился в моей душе», — говорит Оболенский.

На клочке оберточной бумаги, иглой, в течение двух дней накалывал Оболенский свой ответ Рылееву, — это была какая-то молитва в прозе.

Рылеев ответил кратким, страстным письмом: «Любезный друг! Какой бесценный дар прислал ты мне! Сей дар чрез тебя, как чрез ближайшего моего друга, прислал мне сам Спаситель… Я ему вчера молился со слезами. О, какая была эта молитва, какие были эти слезы — и благодарности, и обетов, и сокрушения, и желаний за тебя, за моих друзей, за моих врагов, за мою добрую жену, за мою бедную малютку, словом — за весь мир!»

Затем Рылеев прислал Оболенскому еще одно — уже последнее свое — стихотворение, в котором говорит, что «блажен, в ком дух над плотью властелин», и которое кончает словами: «И, как орел, на небо рвусь душой, но плотью увлекаюсь долу». Рылеев знал, что он погибнет. И, укрепившись, сколько возможно, душой, он не мог уничтожить в себе жажды жизни.

— Что, Рылеев здоров? — спросил как-то Михаил Бестужев Никиту Нефедьева.

— Здоров, — отвечал солдат едва слышно. — Но грустит… Такой бледный. Уж больно бумагами мучат.

Куранты на башне Петропавловского собора каждый час дня и ночи вызванивали «God save the king» — «Боже, спаси короля», — английский гимн.

У Рылеева в камере почти всю ночь горела свеча.

Он писал на нумерованных листах бумаги — в Следственную комиссию, Николаю I, жене…

19 декабря 1825 года Наталья Михайловна Рылеева писала Николаю: «Всемилостивейший Государь!., убитая горестию, с единственною малолетною дочерью припадаю к августейшим стопам твоим… повелите начальству объявить мне: где он, и допускать меня к нему, если он здесь».

19 же декабря Рылеев пишет жене из камеры Алексеевского равелина: «Уведомляю тебя, друг мой, что я здоров. Ради бога, будь покойна… Настиньку благословляю. Уведомь меня о своем и ее здоровье».

Через день пришел ответ. «Третьего дня обрадовал меня бог: император прислал твою записку и вслед за тем 2000 р. и позволение посылать тебе белье… При сем посылаю тебе две рубашки, двое чулок, два платка, полотенце». Еще через несколько дней Наталья Михайловна сообщила мужу: «Добродетельнейшая императрица Александра Федоровна прислала мне 22-го числа, то есть в именины Настиньки, тысячу рублей».

Царь и его супруга шлют деньги жене своего врага. Это, конечно, не «милость», не дань сердобольных душ, а уловка, «хитрость и подлог», как скажет об этом Николай Бестужев. Для царя это тонкий следовательский прием. Вместе с тем — актерский жест — не только перед Рылеевым и его женой (а также и перед общественным мнением), но и перед собственной

супругой, которая, вероятно, не совсем понимала, что означает в данном случае ее «благотворительность». Она, кажется, и в самом деле считала Николая добрейшим и даже сентиментальным существом.

Николай разрешит Рылееву и свидание с женой — так и будет Рылеев долгие месяцы ждать его, боясь, что царь передумает…

Николай был следователем; был он и почтмейстером для Рылеева (равно как и для всех других декабристов): он прочитывал письма, цензуровал их — вычеркивал то, что считал криминальным. Отправлял со своим собственным почтальоном — из числа надежных чиновников или офицеров. Какие же письма мог писать в таком положении узник?

3

Следственный комитет был учрежден 17 декабря. Как бы ни шло следствие — для Рылеева был самим царем предопределен смертный приговор. «С вожаками и зачинщиками заговора будет поступлено без жалости, без пощады, — писал император. — Закон изречет кару, и не для них воспользуюсь я правом помилования. Я буду непреклонен; я обязан дать этот урок России и Европе». Какой урок? Да такой, что, мол, самодержавие священно и непоколебимо и что, например, во Франции оно слишком плохо держало себя. Оно должно держать себя само — так, как ныне в России. Как он, император Николай, — верхом, в неизвестность, под пули мятежников! А потом — картечью их… И затем для бунтовщиков — крепость, суд, строгое, но заслуженное наказание. Монарх — воин. Монарх — судья. Он может не спать ночей и быть всевидящим…

Николай замыслил показать восставших декабристов кучкой заговорщиков, «злодеев» (хотя он очень скоро убедился в обширности этого революционного движения).

Рылеев предвидел это. Он не мог допустить, чтобы дело его жизни было вырвано из истории, чтобы не осталось примера для будущих поколений, которые могли бы учиться на всем — на подвигах их и на их ошибках (между прочим, точно так же думал Пестель). «Рылеев старался перед Комитетом выставить Общество и дела оного гораздо важнее, нежели они были в самом деле, — пишет Николай Бестужев. — Он хотел придать весу всем нашим поступкам и для того часто делал такие показания, о таких вещах, которые никогда не существовали. Согласно с нашею мыслью, чтобы знали, чего хотело наше Общество, он открыл многие вещи, которые открывать бы не надлежало. Со всем тем, это не были ни ложные показания на лица, ни какие-нибудь уловки для своего оправдания; напротив, он, принимая все на свой счет, выставлял себя причиною всего, в чем могли упрекнуть Общество. Сверх того, Комитет употреблял все непозволительные средства: вначале обещали прощение; впоследствии, когда все было открыто и когда не для чего было щадить подсудимых, присовокупились угрозы, даже стращали пыткою. Комитет налагал дань на родственные связи, на дружбу; все хитрости и подлоги были употреблены… Позволены были свидания, переписка, все было употреблено, чтобы заставить раскрыться Рылеева».

Формально Рылеев был только одним из членов Думы Северного общества — наряду с Оболенским, Муравьевым, Трубецким, Александром Бестужевым. На самом деле он был главой революционного движения в Петербурге. Царь это, конечно, понял. Затем, в ходе следствия, фигура Рылеева — как руководителя и вдохновителя декабристов — все более укрупнялась.

23 декабря в Комендантский дом Петропавловской крепости — на первое заседание Следственной комиссии — был вызван Трубецкой.

24 декабря — Рылеев. Его привели с завязанными глазами. В большом зале Комендантского дома сняли повязку. Тут он увидел эту комиссию в полном составе.

Это были: великий князь Михаил Павлович (1798–1849); Александр Иванович Чернышев (1785–1857), генерал-адъютант, за участие в следствии над декабристами возведенный Николаем в графское достоинство; князь Александр Николаевич Голицын (1773–1844), бывший министр народного просвещения; генерал-адъютант Василий Васильевич Левашов (1783–1848); граф Александр Христофорович Бенкендорф (1783–1844), шеф жандармов, начальник III отделения императорской канцелярии; барон Иван Иванович Дибич (1785–1831), начальник Главного штаба гвардии; Владимир Федорович Адлерберг (1791–1884), граф, флигель-адъютант; военный министр Александр Иванович Татищев (1762–1833); Павел Васильевич Голенищев-Кутузов (1772–1843), петербургский генерал-губернатор, сменивший на этом посту

Милорадовича; Алексей Николаевич Потапов (1772–1847), дежурный генерал Главного штаба. Канцелярской частью заведовали Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864), племянник Державина, друг Жуковского и братьев Тургеневых, и литератор Александр Дмитриевич Боровков, знакомый Рылеева по Вольному обществу любителей российской словесности.

Рылеев стоял перед покрытым красным сукном столом в виде буквы П, обращенной к нему концами. На каждой стороне стола пылало по тройному шандалу. Люстра со свечами сверкала под потолком. На стене поблескивал маслом огромный портрет стоящего во весь рост Александра I.

От обильного света у Рылеева заломило глаза.

…Председателем комиссии был великий князь Михаил Павлович. Позже председательствовать стал Татищев.

Назначение Михаила Павловича в комиссию вызвало удивление в обществе: потерпевший — сам же и следователь, судья! «Назначение великого князя председателем Следственного комитета, — писал Вяземский, — было бы большою политическою несообразностью, если существовало бы у нас политическое соображение, политическое приличие. Дело это не могло подлежать ведомству его суда, ибо он был по званию своему, по родству — пристрастное лицо. Движение 14 декабря было устремлено столько же против него, сколько и против брата».

Декабрист Поджио писал о том же: «Михаил Павлович!.. Он, неслыханное дело, был… судья в собственном своем деле!»

Поджио метко охарактеризовал и некоторых других членов комиссии: «Военный министр граф Татищев. Если выбор для такого места должен был пасть на человека, вовсе чуждого к исследованию дела, то, конечно, лучшего назначения для этой цели не могло и быть. Всегда безмолвный, углубленный в свои министерские дела, он равнодушно смотрел на нас… Александр Николаевич Голицын, человек квазидуховный и выдвинутый из опалы, — он должен был заглаживать грехи старого усердия грехами нового. Дибич, всегда военный, как он это воображал… заявлял всегда свое присутствие, ударяя не на центр, который находился в крепости, а во фланг дела, раскинутого по России. Так он допытывался всегда об участии Николая Николаевича Раевского и Ермолова, лавры которых лишали его сна… Александр Христофорович Бенкендорф — плоть и кость династическая — не способен был отделять долг привязанности личной от долга к родине, хотя для него и чужой. Павел Васильевич Кутузов, бывший забулдыга и, что еще ужаснее или достойнее, как хотите, заговорщик и на этот раз успешный в убийстве отца, должен был, конечно, оправдываться, заявлять себя поборником его сына… (Голенищев-Кутузов был одним из убийц Павла I. — *В.А.)* Чернышев! Достаточно одного этого имени, чтобы обесславить, опозорить все это следственное дело. Один он его и вел, и направлял, и усложнял, и растягивал, насколько его скверной, злобной душе было угодно! Нет хитрости, нет коварства, нет самой утонченной подлости, прикрытой маскою то поддельного участия, то грозного усугубления участий, которых бы не употреблял без устали этот непрестанный деятель для достижения своей цели».

Чернышев — самовлюбленный щеголь, красавчик, румянившийся, как женщина, и носивший кудрявый черный парик. Допрашивая, он качался в креслах, крутя то нафабренный ус, то позолоченный жгут аксельбанта. Лорер пишет, что Чернышев всегда сидел «на конце стола, чтоб ближе быть к подсудимым… докладчик и le grande faiseur (главный интриган. — *В.А.)* всего дела». Чернышов звонил в колокольчик — и Подушкин приводил арестанта. Потом звонил снова — Подушин арестанта уводил.

Семнадцать раз побывал Рылеев в этом зале.

Великий князь Михаил и Дибич на этих допросах присутствовали редко. Татищев неизменно дремал, сложив руки на животе. Вопросы задавали Бенкендорф, Левашов и

Чернышов. Первые два — спокойно. Чернышов — кипятился, набрасывался с угрозами, возвышал голос до крика, а то иронизировал, старался унизить допрашиваемого.

Однако многие декабристы смотрели на него с откровенным презрением.

Рылеев глядел поверх его кудрявой головы и отвечал медленно, глухим голосом, как бы сам с собою разговаривая или как бы диктуя писарю. Секретарь — Андрей Ивановский (приятель Федора Глинки, член Вольного общества любителей российской словесности) — записывал: «… и я сказал: «До созвания Великого Собора надобно же быть какому-нибудь правлению», — и потом спросил: «Кто оное будет составлять?» — то Трубецкой отвечал: «Надобно принудить Сенат назначить Временную Правительственную Думу и стараться, чтобы в нее попали люди, уважаемые в России, как, например, Мордвинов или Сперанский, а к ним в правители дел назначить подполковника Батенькова».

…Капитанам или ротным начальникам поручил князь Трубецкой распустить между солдатами слух, что цесаревич от престолу не отказался, что, присягнув недавно одному государю, присягать чрез несколько дней другому грех. Сверх того сказать, что в Сенате есть духовная покойного государя, в которой солдатам завещано 12 лет службы, и потом, в день присяги, подав собою пример, стараться вывести каждый кто сколько успеет из казарм и привести их на Сенатскую площадь».

Трубецкой был избран диктатором — за него отдал свой голос и Рылеев. Поэтому он и говорил о нем как о главном распорядителе. По любому вопросу последнее слово было за Трубецким, по крайней мере должно была быть.

К концу следствия стало ясно, что негласным революционным диктатором был Рылеев. И если бы Трубецкой не скрывался, а прямо сказал, что он отказывается руководить действиями мятежных войск на площади, — все пошло бы по-иному.

Вот какое мнение о Рылееве составилось у Боровкова: «Рылеев был пружиною возмущения; он воспламенял всех своим воображением… давал приказания и наставления, как не допускать солдат до присяги и как поступать на площади. Рылеев действовал не из личных видов, а по внутреннему убеждению в ожидаемой пользе для отечества, предполагая, что с переменою образа правления прекратятся беспорядки и злоупотребления, возмущавшие его душу».

24 апреля 1826 года Рылеев заявил комиссии: «Признаюсь чистосердечно, что я сам себя почитаю главнейшим виновником происшествия 14 декабря… Словом, если нужна казнь для блага России, то я один ее заслуживаю».

Рылеев сознательно добивается смертного приговора, После крушения своих революционных надежд он считает свою жизнь конченой. И вовсе не нечаянно он сделал тогда же, 24 апреля, признание, ставшее для него роковым: «Мне самому часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка вещей необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного императора не только не произведет никакой пользы, но, напротив, может быть пагубно для самой цели общества, что оно разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии и что все это совокупно — неминуемо породит междоусобие и все ужасы народной революции. С истреблением же всей императорской фамилии, я думал, что поневоле все партии должны будут соединиться».

Можно представить, какое впечатление это произвело на Николая I.

25 апреля он написал матери: «Рылеев открыл вчера весь свой план относительно 14-го и сознался, что он действительно намеревался всех нас убить».

Затем — в течение мая — последовал ряд очных ставок Рылеева: с Трубецким, Каховским, Бриггеном, Арбузовым, Торсоном, Завалишиным, Александром Бестужевым, Батеньковым и другими декабристами.

«Вид Рылеева сделал на меня печальное впечатление, — вспоминал Трубецкой, — он был

бледен чрезвычайно и очень похудел: вероятно, мой вид сделал на него подобное же впечатление… По соглашении предмета, по которому была у нас очная ставка, князь А.Н. Голицын вступил с Рылеевым и со мной в частный разговор и продолжал его некоторое время в таком тоне, как будто мы были в гостиной, даже с приятным видом и улыбкой… Разговор князя Голицына касался различных предположений Рылеева, Пестеля, моих относительно временного правления, в случае, если б попытка наша удалась».

Голицын мог позволить себе светский разговор — следствие практически окончилось, итоги уже подведены. С Рылеевым ему хотелось еще и потому поговорить, что у них не так давно было общее дело, — и Голицын и Рылеев приложили немало усилий к делу освобождения от крепостной зависимости Никитенко — талантливого крестьянского юноши.

Уже кипели хлопоты по составлению Верховного уголовного суда (о чем декабристы, в том числе и Рылеев, и не подозревали). 28 апреля Николай писал матери: «Теперь я распоряжусь составлением манифеста об учреждении суда». Манифест этот и все проекты, связанные с подготовкой суда, царь поручил Сперанскому. К 10 мая Сперанский составил записку об итогах следствия. 15 мая Николай отдал секретное распоряжение — об изъятии из бумаг следствия всех тех мест, где излагаются основные требования декабристов: об отмене крепостного права и наделении крестьян землей, убавлении срока солдатской службы, а также о замысле поднять против тирании военные поселения. Николай сознательно пытался фальсифицировать историю. Он хотел представить декабристов разбойниками, убийцами, разрушителями, не имевшими никакой положительной программы, не думавшими о благе России. Доклад Сперанского, написанный по идеям Николая, был утвержден Следственной комиссией и императором и «по высочайшему повелению» издан в начале июня брошюрой на русском и французском языках.

Царь не ошибся, выбрав Сперанского для составления этой фальшивки, — он знал о связях Сперанского с декабристами, о том, что они думали назначить его — наряду с Мордвиновым и Ермоловым — в члены Временного правительства. Чтобы не выдать себя сочувственным отношением к декабристам, Сперанский потрудился «на совесть» — разработав процессуальную сторону будущего суда, он подвей прочный юридический фундамент под смертный приговор вождям восстания, собрал пункты и статьи из старых российских указов и законов, описал все прецеденты. Стоя на краю гибели, Сперанский губил других, спасая себя. Этот крупнейший из государственных деятелей начала XIX века, популярный в либеральных кругах, поднимавшийся высоко, побывавший и в опале, конечно, пал очень низко. Он понимал это. И только дочь его слышала, как по ночам он рыдал в своем кабинете.

В брошюре, призванной оповестить о восстании 14 декабря 1825 года весь свет, говорится о декабризме как о «заразе, извне привнесенной», что восставшими — «скопищем кровожадных цареубийц» — руководили «влияние моды», «суетное любопытство», «виды личной корысти». Конституционные проекты Муравьева и Пестеля только упомянуты, о содержании их не говорится ничего, но они названы «безрассудными» и «невежественными»; восстание названо «покушением людей, умышлявших обесславить имя русское».

Однако сами декабристы на следствии постоянно указывали на самобытность своих идей, на то, что не влияния извне, не революция во Франции определяли их программу. Поджио выразил мысли всех своих товарищей, сказав, что «все дело наше есть наше: имеющее отпечаток, совершенно отличительный от всех прочих, могущих входить в сравнение с нашим».

Декабристы обращались к русской истории — истоков стремления к свободе искали там. Так, всю Древнюю Русь они видели в свете республиканско-вечевой утопии. «История великого Новгорода, — сказал па следствии Пестель, — меня также утверждала в республиканском образе мыслей». Александр Бестужев пишет царю, что декабристы решились произвести переворот, основываясь «вообще на правах народных и в особенности на затерянных русских».

Бестужев говорит, что нельзя отрицать «право народа во время междуцарствия избирать себе правителя или правительство».

Каховский напоминал, что еще при Алексее Михайловиче «существовали в важных государственных делах великие соборы, в которых участвовали различные сословия государства».

«Именно 1812 год, а вовсе не заграничный поход создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто русским», — пишет Матвей Муравьев-Апостол.

Они вспоминали «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, цитировали на следствии вольнолюбивые стихи Пушкина, Рылеева…

Да, Рылеев своей поэзией также создавал декабризм — такие вещи, как «Исповедь Наливайки» и «Я ль буду в роковое время…», а также песни, созданные им вместе с Бестужевым, обостряли воинствующий гражданский дух лучших людей русского общества. Не где-нибудь в Европе, а на собраниях у Рылеева, слушая его страстные, хотя и не весьма искусные, речи, набирались молодые офицеры революционных идей, направленных против всяческой тирании. Их вдохновляли патриотические «Думы» и «Войнаровский», а вместе с ними и пример самого Рылеева: Поэт и Гражданин на их глазах слились воедино. Люди универсального образования, разных талантов — писатели, художники, историки, инженеры, экономисты, юристы, военные специалисты (часто несколько талантов соединялось в одном лице) — никак не могли быть «невеждами» в своих раздумьях о будущем России или просто последователями чужих теорий…

1 июня император подписал манифест об учреждении Верховного уголовного суда — «для суждения злоумышленников, открывшихся 14 декабря 1825 года» — и разработанные Сперанским «Статьи обряда в заседаниях Верховного уголовного суда».

Особым указом был определен состав суда — 18 членов Государственного совета, 36 — Сената, 3 — Синода (два митрополита и архиепископ), 15 высших военных и гражданских чинов. Председателем был назначен Петр Васильевич Лопухин (1753–1827), петербургский губернатор. Генерал-прокурором — министр юстиции Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский.

Весь этот представительный суд был не более как ширмой, за которой скрывалась единоличная воля самодержца, инсценировка суда. До самого момента объявления приговора члены суда не видели ни одного из 121 подсудимого — в нарушение существовавших правил их не вызывали в суд для допроса. Не вызывались и свидетели. Декабристы не знали, что их уже судят. Когда утром 12 июня им был объявлен приговор, они с изумлением спрашивали друг друга: «Как, разве нас судили?» Ответ был: «Уже осудили».

Подсудимых разделили на одиннадцать разрядов. Вне разрядов оставили пятерых.

В процессе суда декабристов вызывали в тот же Комендантский дом, где они с удивлением видели на месте бывших членов Следственной комиссии других лиц.

Рылеева вызвали в первых числах июня. Предъявили ему его собственные показания:

— Вашей ли руки эти бумаги?

— Да.

— Добровольно ли они вами подписаны?

— Да.

— Были ли вам даны очные ставки?

— Да.

— Вот подписка, заготовленная в соответствующем смысле относительно поставленных трех вопросных пунктов. Прочтите и подпишите.

— Для чего это?

— Государю угодно проверить беспристрастие действий Следственного комитета.

В начале июля Верховный уголовный суд вынес приговор — тридцать шесть декабристов осудил на смертную казнь, остальных — в Сибирь на каторгу, на поселение, в солдаты, с лишением всех прав.

Против смертной казни подал голос только Мордвинов. Сперанский же потребовал для главных заговорщиков, поставленных вне разрядов, особо мучительной казни — четвертования… Тридцать один человек был приговорен к отсечению головы (Трубецкой, Оболенский, В. Кюхельбекер, Якубович, А. Бестужев, Муравьев, Сутгоф, Николай Тургенев и другие).

9 июля царю был подан текст приговора. Над внеразрядными он еще раздумывал. Отсечение головы сразу заменил — всем — «вечной каторгой».

10 июля Николай писал матери, Марии Федоровне: «Я отстраняю от себя всякий смертный приговор, и участь этих пяти, наиболее презренных, предоставляю решению Суда; эти пятеро: Пестель, Рылеев, Каховский, Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин».

Николай вошел в свою роль и решил играть ее до конца.

12 июля он писал брату Михаилу: «Осуждены на смерть *не мной* (подчеркнуто Николаем. — *В.А.),* а по воле Верховного суда, которому я предоставил их участь, пять человек».

Дибич передал председателю суда следующее распоряжение царя: «Его величество никак не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряженную». Верховный уголовный суд в окончательном приговоре постановил: «Сообразуясь с высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленным смягчением казней и наказаний… Верховный уголовный суд… приговорил вместо мучительной смертной казни четвертованием, Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михаиле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной, сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить» — это был точный перевод на русский язык с иезуитского слов Николая о непролитии крови.

Николай вникал во все детали следствия и суда. И детали казни он тоже продумал сам. О часе казни он пишет Дибичу: «Я считаю в 4 часа утра, так чтобы от 3 до 4 часов могла закончиться обедня и их можно б было причастить» (11 июля). В специальной записке он установил порядок этой расправы: «В кронверке занять караул. Войскам быть в 3 часа. Сначала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамен. Конвойным оставаться за ними, считая по два на одного. Когда все будет на месте, то командовать «на караул» и пробить одно колено похода. Потом господам генералам, командующим эскадронами и артиллерией, прочесть приговор, после чего пробить 2-е колено похода и командовать «на плечо»; тогда профосам сорвать мундир, кресты и переломить шпаги, что потом и бросить в приготовленный костер. Когда приговор исполнится, то ввести их тем же порядком в кронверк, тогда взвести присужденных к смерти на вал, при коих быть священнику с крестом. Тогда ударить тот же бой, как для гонения сквозь строй, докуда все не кончится, после чего зайти по отделениям направо и пройти мимо и распустить по домам».

С одной стороны — дотошный план казни, с другой — маска душевного смятения…

Очевидно, царь действительно ввел свою жену в заблуждение насчет своего «милосердия». 12 июля она писала: «Сегодня канун ужасных казней… О, если бы кто-нибудь знал, как колебался Николай! Я молилась за спасение душ тех, кто будет повешен».

12 июля — около часу ночи — Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский были доставлены в Комендантский дом. Члены Верховного уголовного суда сидели за тем же, давно уже знакомым декабристам столом. Незнакомый Рылееву молодой чиновник

хорошо поставленным голосом — не без самолюбования — прочел сначала первый приговор суда, раздел первый: «Государственные преступники, осуждаемые к смертной казни четвертованием». Первым по списку шел Пестель. Затем — Рылеев… Как во сне, слушал Рылеев слова приговора, ему вынесенного:

— Умышлял на цареубийство, назначал к совершению оного лица; умышлял на лишение свободы, на изгнание и на истребление императорской фамилии и приуготовляя к тому средства, усилил деятельность Северного общества, управлял оным, приуготовлял способы к бунту, составлял планы, заставлял сочинять Манифест о разрушении правительства, сам сочинял и распространял возмутительные песни и стихи и принимал членов, приуготовлял главные средства к мятежу нижних чинов чрез их начальников посредством разных обольщений и во время мятежа сам приходил на площадь.

Затем был прочитан приговор окончательный, в котором по воле царя четвертование было заменено повешением.

Члены суда — более семидесяти человек — молча смотрели на осужденных. Сколько глаз — холодных и враждебных, иные как бы испытуют душу приговоренного — устрашилась ли…

«Когда Рылееву объявили приговор, он выслушал его спокойно, без малейшего признака смущения на лице», — сообщает в своем дневнике П.Г. Дивов.

Из Комендантского дома Рылеев был отвезен уже не в Алексеевский равелин, а в Кронверкскую куртину — береговое сооружение, в казамат № 14.

До казни оставались сутки.

4

Еще в декабре 1825 года, после первых показаний, Рылееву было разрешено свидание с женой. Однако осуществление его Николай все откладывал и откладывал. Прошли долгие месяцы, уже закончилось следствие, начался суд… Ожидание со дня на день встречи с женой и дочерью стало для Рылеева пыткой.

30 декабря 1825 года Наталья Михайловна пишет мужу: «Быть может, ты говоришь, мой друг, будет позволено с тобою видеться. Я несколько раз читала; не верю глазам, что ты пишешь, нет, это мечта; я, кажется, не доживу этой минуты».

4 января 1826 года Рылеев пишет жене: «Увидеться с тобою надеюсь скоро. Государь обещал».

Наталья Михайловна 7 января: «Между страхом и надеждою жду решительной минуты».

Рылеев 14 января: «Жди решительной минуты с надеждою на благость всемогущего и милосердие государя. Думаю, что минута сия недалека».

21 января: «Из того, что я не писал к тебе в последнем письме о нашем свидании, которое мне обещано, ты заключила, что я должно быть болен. Я и теперь больше ничего не могу тебе написать касательно сего, как только то, что я надеюсь скоро увидеться с тобой».

В феврале Рылеев уже не говорит в своих письмах к жене о свидании.

17 марта Наталья Михайловна пишет: «Надеялась по письмам твоим, что скоро буду видаться и посоветуюсь с тобою, мой друг, но и по сю пору нет свидания. Что делать!»

Между 17 и 20 марта Рылеев пишет: «О свидании нашем опять не могу тебе более ничего сказать, как только: надейся и моли бога».

В таких же пытках ожидания прошли апрель и май.

В эти месяцы Рылеев много занимался своими имущественными делами. В каждом письме его к жене было множество поручений: о продаже заложенного имения («Полагаю я необходимостью деревню продать и, уплатив долги, остальную сумму положить в банк, дабы процентами с оной ты могла воспитать нашу малютку и помогать себе»), об отдаче сводной сестре Анне Федоровне отцовского дома в Киеве, об уплате большого долга портному (571 р. за себя и 295 за Каховского, которому нечем было платить) и другим лицам, а с другой стороны — о взыскании денег, одолженных Рылеевым, в том числе с книгопродавцев за отданные им на комиссию книги Рылеева, о возвращении акций в Российско-Американскую компанию, книг, взятых на прочтение в библиотеке Смирдина… Рылеев выдал жене доверенность па ведение всех дел и помогал ей, вникая в каждую мелочь. Дела оказались довольно запутанными.

Иногда в письмах жены были приписки шестилетней дочери Рылеева — Настеньки. Так, 18 мая она приписала: «Любезный папенька, целую вашу ручку; приезжайте поскорее, я по вас скучилась; поедемте к бабиньке». Наталья Михайловна сообщает мужу, что у Настеньки «большая охота писать и рисовать: все занимается этим». 24 мая Рылеев пишет: «Настиньку целую за приписку. Вчера ей минуло шесть лет. Мне ни разу не довелось дня этого провести с нею». Рылеев раздумывал: если разрешат свидание — брать ли жене с собой Настеньку? «Лучше откажусь от сладкого утешения видеть ее, если она от свидания со мною расстроит свое здоровье; она так слаба». Мать уверила Настеньку, что ее отец — в отъезде, в Москве, и скоро вернется…

Однажды среди деловых советов Рылеев написал жене: «Как ты найдешь лучшим, так и распоряжайся. Мне ничего не нужно». Ответ Натальи Михайловны на эти слова и устыдил и обрадовал Рылеева. «Ты пишешь, мой друг, — говорит она, — распоряжайся — мне ничего не нужно! Как жестоко сказано! Неужели ты можешь думать, что я могу существовать без тебя? Где

бы судьба ни привела тебя быть, я всюду следую за тобой. Нет, одна смерть может разорвать священную связь супружества».

Это были слова *декабристки* — они ставят Наталью Михайловну Рылееву в один ряд с теми замечательными женщинами, которые поехали за своими мужьями в Сибирь, в добровольную ссылку. Каким высоким светом озарили они тем самым декабризм! Своим поступком они развеяли в прах измышления Николая и его приспешников о «кучке злодеев и убийц».

Если бы Рылеев не был казнен, нет сомнений, его жена последовала бы за ним хоть на край света и посвятила бы ему всю свою жизнь. «Я знаю чистую душу твою», — писала она ему в крепость. «Ты никогда не желал зла не только нам, но и посторонним; всегда делал добро», — говорит она мужу.

9 июня 1826 года дежурный генерал Главного штаба Потапов известил Наталью Михайловну о том, что свидание с мужем ей наконец разрешено. Оно состоялось в этот же день.

В одной коляске поехали Наталья Михайловна с Настенькой, дальний родственник Рылеева — молодой человек — Дмитрий Кропотов со своей бабушкой Прасковьей Васильевной, рассыльный Рылеева Агап Иванович и слуга Петр, он же кучер.

«Рылеева с дочерью приняты были в квартире Сукина, — вспоминает Агап Иванович. — Здесь дочку раздевали и осматривали, как говорится, до нитки. Потом они отведены были на крепостной двор, окруженные солдатами с ружьями и примкнутыми штыками, обращенными к ним. Я стоял сзади. Кондратия Федоровича также вывели, также окруженного солдатами, скрещенные штыки которых были направлены на него. Несмотря на то, что Рылеев оброс в крепости бородой, дочка узнала его, когда на руках, через двойной ряд солдат, передали ее отцу. «Папаша, у тебя волосы выросли» — были ее слова. Через двойную клетку солдат переговаривались муж и жена. На это свидание дано было не более четверти часа… «Береги Настеньку, себя не потеряй» — были прощальные слова мужа».

Рылеев снял с пальца и отдал жене свое обручальное кольцо — золотое, очень тонкое…

Он заметил, что Настенька очень худа.

Он был так сильно взволнован встречей, что слезы катились у него из глаз.

Присутствовавший при этом генерал Сукин угрюмо молчал.

Затем Рылеева увели в камеру. Он сразу появился у окна, за железной решеткой, и поднял вверх соединенные руки, слегка потрясая ими.

Наталья Михайловна и Настенька медленно удалялись по двору, беспрестанно оглядываясь на окно и заливаясь слезами. Экипаж стоял поблизости от ворот Алексеевского равелина, у палисадника. «Кучер Петр, сняв свою шляпу, громко рыдал и причитывал, как это водится в деревнях, по умершем», — вспоминал Д. Кропотов.

Наконец все сели в экипаж, и он выехал в Иоанновские ворота.

Только 21 июня Рылеев смог написать очередное письмо жене, так он был потрясен встречей.

12 июля, в тот день, когда декабристам был объявлен приговор, в Петербурге разнесся слух о том, что на следующий день будет «исполнение решения». Родственники декабристов начали особенно усиленные хлопоты. Наталья Михайловна в сопровождении Агапа Ивановича ездила по разным начальникам, прося о втором свидании с мужем. «Мы воротились без всякого успеха», — говорит Агап Иванович. О том, что Рылеев приговорен к смертной казни, Наталья Михайловна не знала.

…В Кронверкской куртине большая камера была разгорожена дощатыми стенами на крошечные чуланчики, — в них-то и были помещены пятеро смертников. Отсюда для них оставался только один выход — к виселице… Сквозь перегородки было слышно все. Сергей Муравьев-Апостол переговаривался с Бестужевым-Рюминым, убеждал его не падать духом, а

встретить смерть с твердостью, не унижая себя перед толпой, которая будет окружать его, встретить смерть как мученику за правое дело России, утомленной деспотизмом, и в последнюю минуту иметь в памяти справедливый приговор потомства.

Шум шагов по коридору заглушал голос Муравьева-Апостола. Его мужественным словам внимал и Рылеев. Декабрист Цебриков, также сидевший в это время в одной из клетушек, передает, что солдаты-часовые плакали.

Многое было слышно в Кронверкской куртине, — тут не так глухо, как в «большой» крепости. Стучат топоры плотников на дворе. Откуда-то доносится печальный женский голос:

...Ты прости, наш соловей, —
Голосистый соловей;
Тебя больше не слыхать,
Нас тебе уж не пленять...
...Твоя воля отнята,
Крепко клетка заперта...

В полночь, за несколько часов до казни, побывал у приговоренных к смерти священник Петр Николаевич Мысловский, протоиерей Казанского собора, назначенный во время следствия «увещателем подсудимых» в Петропавловской крепости. Не всем декабристам он понравился — не нашли с ним общего языка Лунин, Басаргин, Муханов, Завалишин. Однако некоторые увидели в нем отзывчивого, честного человека, который не только исполнял свою должность, но сумел стать помощником для заключенных. Лорер, Трубецкой, Якушкин, Оболенский и во время ссылки продолжали переписку с Мысловским. «Он сделался впоследствии, — пишет Лорер, — утешителем, ангелом-хранителем наших матерей, сестер и детей, сообщая им известия о нас». Когда 15 июля 1826 года на Сенатской площади проводилось «очистительное молебствие», Мысловский, оставшись в Казанском соборе, надел черную рясу и отслужил панихиду по пяти усопшим, — это с его стороны было огромным риском. Якушкин писал, что одна дама «зашла помолиться в Казанский собор и удивилась, увидав Мысловского в черном облачении и услышав имена Сергея, Павла, Петра, Михаила, Кондратия».

«Мне нет дела, — говорил Мысловский, — какой вы веры; я знаю только, что вы страдаете». «Не думайте, — сказал он Лореру, — что я агент правительства… Мне нет дела до ваших политических убеждений». «До самой кончины своей он сохранил свое благорасположение к изгнанникам», — пишет Трубецкой.

…На столике у Рылеева — кружка воды, булка, бумага и перо. В последние свои часы он писал письмо жене: «Бог и государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертию позорною… Я просил нашего священника посещать тебя. Слушай советов его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности моей, или лучше сказать на память, потому что возблагодарить его может только один бог за то благодеяние, которое он оказал мне своими беседами».

Копии предсмертного письма Рылеева распространились в обществе. 7 августа 1826 года Вяземский писал жене: «Посылаю тебе копию с письма Рылеева к жене. Какое возвышенное спокойствие!»

«В каземате, последнюю ночь, получил он позволение писать к жене своей, — вспоминает Розен. — Он начал, отрывался от письма, молился, продолжал писать. С рассветом вошел к нему плац-майор (здесь уже не Подушкин, а Трусов. — *В.А.)* со сторожем (солдатом Соколовым. — *В.А.),* с кандалами и объявил, что через полчаса надо идти: он сел дописать письмо, просил,

чтобы между тем надевали железы на ноги. Соколов был поражен его спокойным видом и голосом. Он съел кусочек булки, запил водою, благословил тюремщика, благословил во все стороны соотчичей, и друга и недруга, и сказал: «Я готов идти!»

«Я не спал, — вспоминает Оболенский, — нам велено было одеваться. Я слышал шаги, слышал шепот… Прошло несколько времени, слышу звук цепей; дверь отворилась на противоположной стороне коридора. Цепи тяжело зазвенели, слышу протяжный голос друга неизменного, Кондратия Федоровича Рылеева: «Простите, простите, братья!» — и мерные шаги удалились к концу коридора. Я бросился к окошку. Начинало светать».

«В два часа ночи в последний раз прозвенели цепи, — пишет Розен. — Пятерых Мучеников повели вешать в ров Кронверкской куртины. Сергей Муравьев-Апостол дорогою сказал громко провожавшему священнику, что вы ведете пять разбойников на Голгофу — и «которые, — отвечал священник, — будут одесную Отца». Рылеев, подходя к виселице, произнес: «Рылеев умирает как злодей, да помянет его Россия!»

Рассвет настал хмурый, сырой.

Рылеев вышел чисто одетый — в сюртуке, хорошо выбритый. Кандалы поддерживал продернутым через одно звено носовым платком. Остальные также перед выходом привели себя в порядок. Кроме Каховского, который не стал даже причесываться.

Их повели сначала к обедне в Петропавловский собор.

Затем в сопровождении Мысловского, полицеймейстера Чихачева и взвода гренадеров Павловского полка — к эшафоту.

Мысловский запомнил слова Пестеля, который, увидев виселицу, сказал: «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно было бы нас расстрелять».

Мысловский обратился с утешениями к Рылееву. Тот взял его руку и положил себе на сердце: «Слышишь, отец, оно не бьется сильнее прежнего».

Перед тем как их привели на место, на площади, в виду приготовленной виселицы — перекладины на двух столбах, была совершена гражданская казнь над всеми остальными декабристами. Им снова прочли приговор, затем ломали над их головами шпаги, с военных срывали мундиры и бросали в костры.

В этих кострах — их было четыре — еще тлели мундиры и эполеты, рдели раскалившиеся ордена, когда сюда пришли пятеро смертников.

С них сорвали верхнюю одежду, бросили ее в огонь, надели на них белые балахоны и каждому привязали кожаный нагрудник с надписью — белым по черному. У Рылеева: «Преступник Кондрат Рылеев».

Инженер Матушкин с подручными возился у виселицы — там не все было готово. Палач и его помощник, выписанные то ли из Швеции, то ли из Финляндии, налаживали петли. Виселица оказалась слишком высокой — послали в Училище торгового мореплавания за скамьями. Пока их везли, пятеро осужденных сидели на траве и беседовали. Сорвав травинки, кинули жребий, кому идти первым, кому вторым и так далее — на казнь. На скамьи они взошли в том порядке, какой выпал по жеребьевке. Им надели на шеи петли, а сверху надвинули на глаза колпаки. Тут Рылеев спокойно заметил, что надо бы связать руки. Палачи спохватились и исполнили это.

Барабаны били мерную дробь.

В молчании стояли солдаты.

Верхом па лошадях наблюдали за экзекуцией генерал-губернатор Голенищев-Кутузов, генерал-адъютанты Чернышев и Бенкендорф. Были тут также обер-полицеймейстер Княжнин, флигель-адъютант Дурново, несколько военных и полицейских офицеров.

На берегу — у стен крепости — толпились петербургские жители. Много народу собралось

и на Троицком мосту — там были барон Дельвиг, Николай Греч, родственники многих декабристов. Оттуда хорошо была видна огромная виселица. Не было в толпе равнодушного лица — все плакали.

Веревки оказались разной толщины и плохого качества.

Когда палач нажал на рычаг, скамьи и помост провалились в яму. Пестель и Каховский повисли, а три веревки оборвались — Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Рылеев с грохотом (они ведь были в кандалах) обрушились в ту же яму — вслед за досками и скамьями. Бестужев-Рюмин от удара о доски потерял сознание. Рылеев расшиб себе голову — кровь заливала ему лицо.

Кто-то из солдат заметил: «Знать, бог не хочет их смерти».

Да и обычай был на всем свете, исстари: сорвался висельник — его счастье, — и дважды не вешали.

— Вешать, вешать их скорее! — бешено заорал Голенищев-Кутузов. Палачи выволокли из ямы несчастных.

Рылеев поднялся на ноги, посмотрел в глаза Кутузову. В полной тишине раздались его медленные слова:

— Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях.

— Вешайте их скорее снова! — крикнул Кутузов. Даже Бенкендорф не выдержал — пал ничком на шею своей лошади и в таком положении оставался до конца этой расправы.

— Подлый опричник тирана! — крикнул в ответ Рылеев. — Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз!

— Проклятая земля, где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни вешать, — сказал Сергей Муравьев-Апостол.

Бестужев-Рюмин не мог держаться на ногах, — на помост во второй раз его подняли палачи. На них снова накинули петли…

— Прощаю и разрешаю! — закричал Мысловский, подняв крест, но тут же зашатался и упал без чувств. Когда он очнулся — все было кончено.

3

Супруга Николая I, Александра Федоровна, записала в понедельник 13 июля: «Что это была за ночь! Мне все время мерещились мертвецы… В 7 часов Николая разбудили. Двумя письмами Кутузов и Дибич доносили, что все прошло без каких-либо беспорядков… Мой бедный Николай так много перестрадал за эти дни!»

В донесении Голенищева-Кутузова было сказано: «Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое и именно: Рылеев, Каховский и Муравьев (Каховский здесь ошибочно назван вместо Бестужева-Рюмина. — *В.А.)* сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть».

«Благодарю бога, — писал Николай Дибичу, — что все окончилось благополучно… Прошу вас, любезный друг, быть сегодня как можно осторожнее и прошу передать Бенкендорфу, чтобы он удвоил свою бдительность и внимание; тот же приказ следует отдать и по войскам».

В тот же день был составлен и отпечатан царский манифест, в котором говорилось, что «преступники восприяли достойную их казнь; Отечество очищено от следствий заразы» и что «не в свойствах, не в нравах российских был сей умысел», который-де составлен был «горстию извергов». «Все состояния да соединятся в доверии к правительству», — взывал Николай I.

В то время как происходила казнь, в 14-м номере Кронверкской куртины, где провел свои последние часы Рылеев, находился декабрист Розен, приговоренный к лишению чинов и дворянства и к десяти годам каторжных работ.

«Я вступил туда, — пишет Розен о 14-м номере, — как в место освященное; молился за него, за жену его, за дочь Настеньку: тут писал он последнее, всем известное письмо… Из оловянной кружки пил я не допитую им воду».

Спустя две недели Наталья Михайловна Рылеева получила следующее уведомление от коменданта Петропавловской крепости: «Во исполнение — сообщенного мне князем Александром Николаевичем Голицыным высочайшего повеления, препровождая при сем к вам оставшиеся после Кондратья Федоровича Рылеева деньги пятьсот тридцать пять рублей ассигнациями, имею честь быть с истинным почтением, милостивая государыня, ваш покорный слуга А. Сукин».

Где похоронен Рылеев — неизвестно. Где-то на острове Голодае, что теперь остров Декабристов. В сквере, рядом с улицей Каховского, поставлен памятный камень, на котором выбиты имена пятерых мучеников за свободу России.

Один из ближайших соратников Рылеева поэт В.К. Кюхельбекер в первую годовщину его гибели написал стихотворение, где вкладывает в уста «тени Рылеева» такие знаменательные слова:

…Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!

…В.И. Ленин, разделив освободительное движение в России на три этапа, соответствовавших трем главным классам общества (дворяне, разночинцы, пролетарии), отметил, что «самыми выдающимися деятелями дворянского периода были декабристы и

Герцен»[11].

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Рылеев был поэтом общественной жизни своего времени. Хотя он и сказал о себе: «Я не Поэт, а Гражданин», — но нельзя не признать в нем столько же поэта, как и гражданина. Страстно бросившись на политическое поприще, с незапятнанной чистотой сердца, мысли и деятельности, он стремился высказать в своих поэтических произведениях чувства правды, права, чести, свободы, любви к родине и народу, святой ненависти ко всякому насилию. В этом отличительная черта его направления… Его влияние на тогдашнюю литературу было огромно. Юношество читало его нарасхват. Его стихи оно знало наизусть… Петля задушила это дарование» (Н. П. Огарев).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К.Ф. РЫЛЕЕВА

1795, 18 сентября — Родился в семье подполковника Федора Андреевича Рылеева и его жены Анастасии Матвеевны, урожд. Эссен.

1800 — Анастасия Матвеевна Рылеева порывает с мужем и поселяется в приобретенном ею имении Батово Петербургской губернии Софийского уезда. Сын Кондратий живет с ней.

1801, 12 января — Зачислен в приготовительный класс Первого кадетского корпуса в Петербурге.

1814, 1 февраля — Выпущен прапорщиком в конную роту № 1 Первой резервной артиллерийской бригады, которая вела боевые действия во Франции.

1814, конец февраля — Рота Рылеева направлена в Дрезден, в распоряжение саксонского генерал-губернатора князя Репнина.

1814, ноябрь — Рылеев со своей ротой возвратился в Россию и остановился в городе Несвиж Слуцкого уезда Минской губернии.

1815, 12 апреля — В период наполеоновских Ста Дней артиллерийская рота Рылеева направляется во Францию, но не принимает участия в военных действиях.

1815, сентябрь — Рылеев в Париже. Здесь он написал «Письма из Парижа».

1815, осень — Рылеев со своей ротой находится в Виленской губернии.

1817, февраль — Конноартиллерийская батарея, переименованная из 1-й в 11-ю, прибыла в город Мценск Орловской губернии.

1817, апрель — Батарея перемещена в Острогожский уезд Воронежской губернии. Рылеев поселяется в слободе Подгорное.

1819, январь — Указ о том, что «прапорщик Рылеев увольняется от службы подпоручиком по домашним обстоятельствам».

1819, 22 января — Состоялась свадьба Рылеева с Натальей Михайловной Тевяшовой, дочерью помещика, жившего в слободе Подгорное.

1819 — В Подгорном Рылеев написал сатиру на Аракчеева — «К временщику».

1819, 23 августа — Рылеев с женой выехал в Батово, к матери.

1819, сентябрь -1820, февраль — Рылеев в Петербурге, знакомится с многими литераторами (А. Измайловым, Кюхельбекером, Дельвигом, Гречем, Гнедичем, Пушкиным), с издателями журнала «Невский Зритель», с книгопродавцем Олениным.

1820, февраль — октябрь — В Подгорном. 23 мая у Рылеевых родилась дочь Анастасия. В течение весны и лета напечатаны несколько мелких стихотворных произведений Рылеева в журнале А. Е. Измайлова «Благонамеренный».

1820, октябрь — Рылеев приезжает в Петербург без семьи, как раз после возмущения гвардейского Семеновского полка. Весь Петербург встревожен.

1820, осень — Вступает в масонскую ложу «Пламенеющей Звезды».

1820, декабрь — Вышел номер журнала «Невский Зритель» с сатирой Рылеева «К временщику». Рылеев намеревается стать соиздателем этого журнала.

1821, 24 января — Дворянство Петербургского уезда избрало Рылеева заседателем Петербургской уголовной палаты.

1821, 25 апреля — Избран членом-сотрудником Вольного общества любителей российской словесности.

1821, конец мая — начало октября — В Подгорном. Там в это время написаны первые

думы.

1821, июнь — Рылеев послал на суд Гнедичу первую думу — «Курбский».

1821, сентябрь — Нанимает в Петербурге, на 16-й линии Васильевского острова дом, где поселяется с женой, дочерью и сводной сестрой Анной Федоровной.

1821, 28 ноября — За думу «Смерть Ермака» переименован из члена-сотрудника в действительные члены Вольного общества любителей российской словесности.

1822, апрель — Рылеев дважды выступает в Петербургской уголовной палате в защиту крестьян Гостилицкой вотчины графа Разумовского.

1822, июнь — июль — В Острогожске, Харькове и Киеве.

1822, 30 ноября — Цензурное разрешение на выход в свет альманаха «Полярная Звезда» на 1823 год.

1820–1822 — Состоит в масонской ложе «Пламенеющей Звезды».

1823, начало года — И. И. Пущий принимает Рылеева в Северное общество.

1823, 5 апреля — Рылеев принят в действительные члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

1823, 22 мая — публичное заседание Вольного общества любителей российской словесности в доме Державина; здесь В. Туманский декламировал отрывок из новой поэмы Рылеева «Войнаровский».

1823, сентябрь — У Рылеевых родился сын Александр.

1823, 20 декабря — Цензурное разрешение на выпуск альманаха «Полярная Звезда» на 1824 год.

1823 — Написана ода «Гражданское мужество»; работа над поэмой «Войнаровский».

1824, январь — Рылеев поступает на службу в Российско-Американскую компанию правителем дел.

1824, 20 февраля — Бестужев и Рылеев дали обед участникам «Полярной Звезды» в доме Бестужевых на Васильевском острове.

1824, весна — Рылеев с семьей переезжает на новую квартиру в дом Российско-Американской компании — № 72 на набережной Мойки.

1824, конец февраля — Дуэль Рылеева с прапорщиком К.Я. Шаховским.

1824, март — Беседа Рылеева с приехавшим в Петербург П.И. Пестелем.

1824, 2 июня — Смерть матери Рылеева.

1824, 6 сентября — Смерть сына Рылеева.

1824, конец сентября — Рылеев с женой и дочерью выехали в слободу Подгорное.

1824, начало декабря — Рылеев проездом из Острогожского уезда в Петербург останавливается в Москве, где встречается с декабристами, хлопочет об издании «Дум» и «Войнаровского».

1824, середина декабря — Рылеев в Петербурге, в котором только начали наводить порядок после опустошительного наводнения, при котором пострадала и квартира Рылеева.

1824, декабрь — Рылеев избран в Думу Северного общества.

1824 — Работа над поэмой «Наливайко»; ода «На смерть Бейрона» и другие стихи.

1825, январь — Первое письмо Рылеева к Пушкину в Михайловское (отправленное с И. И. Пущиным).

1825, 8 января — Цензурное разрешение на выход в свет поэмы «Войнаровский».

1825, 20 января — Цензурное разрешение на выход в свет альманаха «Полярная Звезда» на 1825 год.

1825, март — Вышли в свет «Думы» и «Войнаровский», изданные в Москве, и альманах «Полярная Звезда» на 1825 год.

1825, май — Поездка в Кронштадт.

1825, 10 сентября — Участвует секундантом в дуэли своего двоюродного брата К.П. Чернова с флигель-адъютантом В. Новосильцевым.

1825, сентябрь — Рылеев пишет стихотворение «На смерть Чернова».

1825, ноябрь — Вторая поездка Рылеева в Кронштадт.

1825, 19 ноября — Смерть Александра I в Таганроге.

1825, 10 декабря — Великий князь Константин отказался от престола в пользу Николая. Совещание у Рылеева, решение сорвать присягу Николаю I и совершить переворот.

1825, 11 декабря — Многолюдное собрание декабристов у Рылеева; решение поднять гвардейские полки и привести их в день новой присяги на Сенатскую площадь.

1825, 12 декабря — Рылеев узнает об измене Ростовцева; решение о захвате Зимнего дворца и в случае необходимости — уничтожении царской семьи.

1825, 13 декабря — Николай I написал манифест о своем вступлении на престол. Ряд совещаний декабристов — у Бестужевых, у Трубецкого, у Рылеева. Выработка окончательного плана восстания и манифеста «К русскому народу».

1825, 14 декабря — Ночью и утром последние организационные хлопоты Рылеева — разъезды по гвардейским казармам, встречи с декабристами. Около 11 часов утра на Сенатской площади появились две роты Московского полка. Рылеев на площади. Почти до трех часов дня он то отлучался с площади (ходил в казармы, искал Трубецкого, пытался убедить Михаила Пущина вывести Коннопионерный эскадрон и т. д.), то возвращался обратно. После трех он уже не мог пробраться к своим сквозь заграждение. Расстрел восставших картечью он видел из толпы, окружавшей площадь.

1825, 14 декабря, в начале 12-го часа ночи — Рылеев арестован и доставлен в Зимний дворец, где с него был снят первый допрос сначала Толем и Бенкендорфом, потом самим Николаем. Ровно в полночь за Рылеевым замкнулась дверь камеры № 17 в Алексеевской равелине Петропавловской крепости.

1826, январь — май — Ответы Рылеева на «вопросные пункты» Следственной комиссии, очные ставки, письма к Николаю I, к жене Наталье Михайловне.

1826, 9 июня — Свидание Рылеева с женой и дочерью в крепости.

1826, 12 июля — Рылееву объявлен смертный приговор.

1826, 13 июля — Рылеев, а также Пестель, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин повешены на площади Кронверкской куртины.

1826, 25 июля — Комендант Петропавловской крепости «препроводил» Наталье Михайловне Рылеевой оставшиеся после смерти мужа 535 рублей.

1826 — стихи Рылеева, обращенные к Оболенскому; предсмертное письмо Рылеева к жене, разошедшееся в копиях среди петербургского общества.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения и переписка К.Ф. Рылеева. Издание его дочери под ред. П.А. Ефремова. Спб., тип. И.И. Глазунова, 1872 (2-е изд. 1874).

Рылеев К.Ф. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма. М., «Худ. литература», 1956.

Рылеев К. Ф. Поли. собр. соч. М. — Л., Academia, 1934.

Рылеев К.Ф. Поли. собр. стихотвор. «Библиотека поэта», большая серия. Л., «Советский писатель», 1971.

Рылеев К.Ф. Думы. М., «Наука», 1975 (серия «Литературные памятники»).

«Русский вестник», т. 80, кн. III. М., 1869 (Дм. Кропотов. Несколько сведений о Рылееве).

«Русский архив», кн. VI. М., 1890 (Сиротинин А.Н. К.Ф. Рылеев. Биографический очерк).

Пушкин и его современники. Вып. III. Спб., 1905 (Сиповский В.В. Пушкин и Рылеев).

Котляревский И. Рылеев. Спб., 1908.

Маслов В.И. Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912.

Восстание декабристов (документы). Т. I. М. — Л., 1925.

Клевенский М. К.Ф. Рылеев. М.,-Л., ГИЗ, 1925 («Биографическая библиотека»).

Тынянова Лидия. Рылеев (повесть). М.-Л., 1926.

Цейтлин А. К.Ф. Рылеев. М., Гослитмузей, 1945.

Нейман Б. К.Ф. Рылеев. М., Гослитиздат, 1946.

Пигарев Кирилл. Жизнь Рылеева. М., «Советский писатель», 1947.

Базанов В. Г. Поэты-декабристы. К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, А.И. Одоевский. М. — Л., АН СССР, 1950.

Аксенов К. Северное общество декабристов. Л., 1951.

«Звенья». Том IX. М., 1951 (Нечаев В. Батово, усадьба Рылеева и другие биографические материалы).

Очерки из истории движения декабристов. М., Госполитиздат, 1954 (Лебедев Н. М. «Отрасль» Рылеева в Северном обществе декабристов).

«Литературное наследство», т. 59 (в двух книгах). М., АН СССР, 1954 (биографические материалы).

Цейтлин А. Г. Творчество Рылеева. М., АН СССР, 1955.

«Полярная Звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М. — Л., «Наука», 1960 (серия «Литературные памятники»).

«Вопросы истории», № 7, 1969 (Рабкина Н.А. Дочь К.Ф. Рылеева).

Удодов Б. Т. Рылеев в Воронежском крае. Воронеж, 1971.

Писатели-декабристы в воспоминаниях совтземенников. В двух томах. М., «Художественная литература», 1980 (серия литературных мемуаров).

---

notes

Примечания

1

Все даты в книге даны по старому стилю.

2

Росияны — теперь г. Расейняй: Ретово (Ротово) — г. Ретавас Литовской ССР.

3

Отмечу здесь, что в бумагах П.И. Пестеля сохранился словарь терминов, имевших иностранное происхождение, с заменой их русскими Пестель предлагает замены: конституция — государственный устав; аристократия — вельможедержавие; тирания — зловластие; генерал — воевода; теория — умозрение; республика — общедержавие; кабинет министров — правительствующая дума и т. д.

4

Это, кстати говоря, объясняет столь удачное сплетение античности и древнерусскости в языке перевода «Илиады» Гомера, сделанного Гнедичем, который стоял в отношении «слога» на позициях Шишкова и Глинки.

5

Наш современник писатель Д. Балашов посвятил свой исторический роман «Великий стол» (Петрозаводск, 1979) истории соперничества Твери и Москвы. Забытый подвиг Михаила Тверского возрожден в этой книге с большой художественной силой.

Что это была милость в своем роде немалая, доказывает следующая записка сенатора Н.С. Мордвинова, поданная правительству в 1824 году («Об уничтожении кнута в России»): «Россия сохранила у себя кнут, орудие, бывшее в употреблении при пытках, одно название которого поражает ужасом русский народ и дает повод народам иностранным заключить, что Россия находится еще в диком состоянии… Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, метает по воздуху кровавые брызги и потоками крови обливает тело человека; мучение, лютейшее из всех известных, ибо все другие, сколь бы болезненны они ни были, всегда менее бывают продолжительны, тогда как для 20 ударов кнутом нужен целый час, и когда известно, что, при многочисленности ударов, мучение несчастного преступника, иногда невинного, продолжается от восходящего до заходящего солнца… При наказании кнутом многие из зрителей плачут, многие дают наказанному милостыню, многие, если не все, трепещут, негодуют на жестокость мучения. Кнут… не долженствовал бы быть орудием исправительного наказания. Он был и есть орудие мучения, которое доныне было частым и особым зрелищем для русского народа и которое потому только существовало, что высшие правительственные лица никогда не присутствовали при этих бесчеловечных и предосудительных для века нашего истязаниях… Исполнение приговора и мера наказания останутся всегда в руках и воле палача, который ста ударами сделает наказание легким, десятью — жестоким и увечным, если не смертельным. Как сила наказания зависит от палача, то обыкновенно он торгуется с присужденным к нему, и требования его всегда бывают велики. Есть примеры, что платили ему до десяти тысяч рублей, чтобы не изувечить или сделать наказание менее мучительным… Адмирал Мордвинов предполагает уничтожить навсегда кнут». Однако надежды Мордвинова не оправдались. В уголовном процессе по поводу убийства любовницы Аракчеева Настасьи Минкиной-Шумской, жестоко обращавшейся с дворовыми, в конце 1825 года около двадцати человек были наказаны кнутом — получили от 45 до 175 ударов каждый. Трое от этой экзекуции умерли.

Любопытно, что еще в 1817 году был учрежден Комитет об отмене наказания кнутом под председательством… Аракчеева. Кнут в России как орудие наказания был отменен лишь в 1845 году.

7

Рылеев ошибался. Пестель говорил тогда же, в 1824 году, Александру Поджио, что не сможет войти во Временное правительство. «Я не хочу быть уличен в личных видах, — говорил он, — к тому же, у меня имя не русское; все это «вв. ладно».

8

Бестужев говорил, что в России «есть критика, а нет литературы»; Пушкин возражал: «Литература кое-какая у нас есть, а критики — нет». Возник также спор и по поводу «чванства» Пушкина «шестисотлетним дворянством».

9

Я.И. Ростовцев (1803–1880) в 1849 году входил в Следственную комиссию по делу петрашевцев, допрашивал Ф.М. Достоевского. При Александре II — один из виднейших деятелей крестьянской реформы 1861 года.

10

Н. Шильдер, автор капитальных монографий об Александре I и Николае I, имевший доступ в дворцовые архивы, оставил пометки на книге М. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» (1857); против того места, где Корф приводит слова Николая Ростовцеву — «Может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их… И не называй!» — Шильдер пишет: «Как бы не так!»

11

Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 93.